

891

3-79

~~23~~ 23

23196

II



...еще не управлявшим до войны, перешли к  
но с «земледельческим союзом» и «широкими бур-  
истами». Эта стратегия обанкротившейся бур-  
инии увенчалась успехом. Так как недовольство масс  
спело еще вылиться в определенную революцион-  
программу, то «широкие социалисты» и Земледель-  
ий Союз сумели сыграть роль отдушины. И дей-  
ствительно, эта коалиция, болевшее большинство которой со-  
ставляли левые партии, благополучно управляла целю  
и задержала взрыв народного негодования.

Прежде всех из «левых» пошатнулись «широ-  
алисты». Городские рабочие массы, непосредствен-  
нствовавшие все бедствия и более восприимчивые  
ном отношении, первыми перешли под ван-  
мулистической партии и выработали револю-  
сознание. Они быстро покинули «широ-  
дов», после чего последние стали  
зии, и она удалила их от власти.  
«широких социалистов» в настоящие  
тический труд  
ающимися  
уужде

12/10

3858  
2.



IV-89/21

331

108

10.7

10.7

108



891  
17-91

РУССКАЯ  
КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

OR

О ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ

3 А. С. ПУШКИНА.

ХРОНОЛОГИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ КРИТИКО-  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ.

Часть третья.

СОБРАЛЪ

В. Зелинскій.

45

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ.

МОСКВА.

Типографія Вильде, Малая Кисловка, собственный домъ.  
1907.

84



# СПИСОКЪ КНИГЪ, СОСТАВЛЕННЫХЪ И ИЗДАНЫХЪ

В. А. Зелинскимъ.

## I. Пособія по изученію русскаго языка:

1. Справочникъ по русскому правописанію, съ приложеніемъ орфографическаго словаря и полнаго списка коренныхъ и производныхъ словъ, въ которыхъ пишется буква Ѣ. Составленъ по "Руководству" Академіи Наукъ. Выпускъ I. Изд. 9-е. М. 1901 г. Ц. 50 к.

2. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ II. Указатель (систематическій и алфавитный) при разстановкѣ знаковъ препинанія. Изд. 3-е. М. 1903 г. Ц. 50 к.

3. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ III. Корне-словъ русскаго языка. Изд. 3-е. М. 1905 г. Ц. 50 к.

4. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ IV. Право-писаніе, этимологическое происхожденіе и объясненіе иностранныхъ словъ, наиболѣе употребляющихся въ русскомъ литературномъ языкѣ. М. 1898 г. Ц. 50 к.

5. Грамматическій задачникъ для письменныхъ и устныхъ упражненій по русскому языку. Приспособленъ къ элементарной грамматикѣ К. Говорова. Изд. 5-е. М. 1902 г. Ц. 25 к.

6. Вступительный курсъ зрительнаго диктанта. Книга для элементарныхъ орфографическихъ упражненій (печатается).

7. Зрительный диктантъ. Самодиктованіе и самоисправленіе. Новая система практическаго самоизученія русскаго правописанія. Часть первая. Изд. 14-е. М. 1906 г. Ц. 50 к.

8. Зрительный диктантъ. Часть вторая. Знаки препинанія. Изданіе 8-е. М. 1905 г. Ц. 40 к.

9. Справочный словарь буквы Ѣ. Полный списокъ коренныхъ и производныхъ словъ, пишущихся черезъ Ѣ. Изд. 4-е. М. 1902 г. Ц. 25 к.

10. Таблицы для письменнаго грамматическаго разбора № 1. Части рѣчи. № 2. Составъ словъ. № 3. Имя существительное. № 4. Глаголь. Цѣна каждой таблицы—2 к. (Распроданы).



**11. Хрестоматія для объяснительнаго чтенія.** Дополненіе къ книгѣ „Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію“. М. 1892 г. Ц. 25 к.

**12. Объяснительный словарь** болѣе употребительныхъ въ русской литературѣ и рѣчи иностранныхъ словъ. Составленъ примѣнительно къ правописанію. М. 1901 г. Ц. 50 коп. (Содержаніе этой книги то же, что и 4-го выпуска «Справочника по русскому правописанію»).

**13. Краткій алфавитный справочникъ** по русскому правописанію. Опытъ группировки орфографическихъ правилъ въ порядкѣ русскаго алфавита. М. 1901 г. Ц. 25 к.

## **II. Руководства по преподаванію русскаго языка:**

(Методическая хрестоматія для обученія русскому языку).

**14а. Обученіе грамотѣ по звуковому способу.** Сборникъ методическихъ разъясненій, указаній, приѣмовъ и примѣрныхъ уроковъ по обученію грамотѣ, разработанныхъ извѣстными педагогами. Изд. 2-е. М. 1898 г. Ц. 1 р.

**15. Методическія указанія и примѣрные уроки** по объяснительному чтенію, разработанные извѣстными русскими педагогами. Изд. 3-е. М. 1891 г. Ц. 1 р.

**16. Методическія указанія и образцовые уроки** по преподаванію русской элементарной грамматики. Сводъ методическихъ разъясненій и примѣрныхъ грамматическихъ уроковъ, разработанныхъ извѣстными русскими педагогами. М. 1892 г. Ц. 1 р.

## **III. Пособія по исторіи русской литературы:**

**17. Собраніе критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева.** Выпускъ I. Изд. 4-е М. 1902 г. Ц. по 2 рубля. Выпускъ II. Изданіе 3-е. Состоитъ изъ двухъ частей. М. 1899 г. Ц. 1-й части 2 р., а 2-й—1 р.

**18. Критическій комментарий къ сочиненіямъ Ф. М. Достоевскаго.** Сборникъ критическихъ статей. Три части и прибавленіе. Изд. 3-е. М. 1901 г. Ц. 3 р. 50 к.

**19. Сборникъ критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ.** Три части. Ц. 3 р. (1-я и 2-я части вышли 2-мъ изданіемъ).

**20. Русская критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина.** Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Семь частей. Ц. 7 р. (1, 2, 3, 4 и 5 части вышли 2-мъ изданіемъ).

**21. Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Толстого.** Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Восемь частей. М. Ц. 8 р. (1, 2, 3 и 4 части вышли 2-мъ изд.).

**22. Русская критическая литература о произведеніяхъ Н. В. Гоголя.** Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Три части. Изд. 2-е. Ц. 3 р.

**23. Критическіе разборы романа Тургенева „Отцы и Дети“.** Ц. 35 к.



24. Критическіе разборы романа Достоевскаго „Братья Карамазовы“. Ц. 50 к.

25. Критическіе комментаріи къ сочиненіямъ А. Н. Островскаго. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Пять частей. Ц. по 1 р. за часть. (1-я и 2-я части вышли 2-мъ изд.).

26. Критическіе разборы „Дворянскаго Гнѣзда“ и „Наканунъ“—Тургенева. Перепечатано безъ измѣненій изъ „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева“. М. 1895 г. Ц. 70 к.

27. Сборникъ критическихъ статей о сочиненіяхъ М. Ю. Лермонтова. 2 части. (Каждая часть отдѣльно по 1 руб.).

28. А. С. Пушкинъ въ разборѣ В. Г. Бѣлинскаго. Отдѣльный оттискъ изъ «Русской критической литературы о произведеніяхъ А. С. Пушкина». Ц. 2 р.

29. Критическіе разборы «Записокъ Охотника»—Тургенева (печатются).

#### IV. Серія разныхъ книжекъ:

30. Китайскія сказки. Переводъ съ французскаго, подъ редакціей В. Зелинскаго. Ц. 10 к.

31. Храмъ Христа Спасителя въ Москвѣ. Изд. 2-е. Ц. 10 к.

32. Bibliothèque d'enfants. Сборникъ историческихъ разсказовъ на французскомъ языкѣ, съ подстрочнымъ словаремъ, для выѣкласснаго упражненія дѣтей во французскомъ языкѣ. № 1 (Louis XVII, Prascovie, Jeanne D'Arc). Ц. 10 к.

33. Мурадъ-Неудачникъ. Переводъ съ англійскаго. Повѣсть изъ восточной жизни для дѣтей старшаго возраста. Ц. 10 к.

34. Леди Бетти и ея друзья. Переводъ съ англійскаго. Разсказъ для дѣтей. Цѣна 25 к.

35. Генезисъ, анализъ и методъ естественнаго пѣнія. Сост. К. Михайловъ-Стойцъ. Цѣна 25 к.

---

Складъ изданій В. А. ЗЕЛИНСКАГО: Москва, Патриаршіе пруды,  
домъ Мозжухина.

Выписывающіе изъ склада прилагаютъ на пересылку 20 к. на каждый рубль стоимости книгъ. За надлежащій платежъ 10 к. Вмѣсто денегъ можно высылать почтовые марки въ заказныхъ письмахъ.

---

Черезъ посредство склада изданій В. Зелинскаго можно выписывать всякія книги.





3-49 п. III  
891  
3-49

РУССКАЯ  
КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
О ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ

А. С. ПУШКИНА.

ХРОНОЛОГИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ КРИТИКО-  
БИБЛЮГРАФИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ

Часть третья

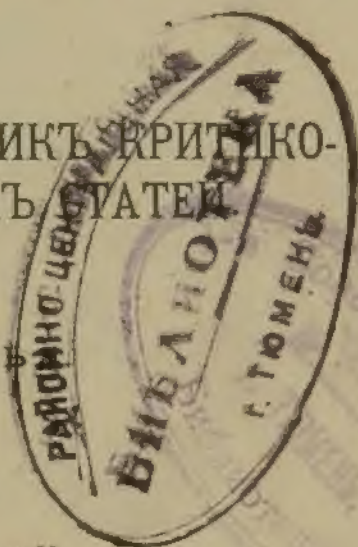
СОБРАЛЪ

В. Зелинскій.

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ.

МОСКВА.

Типографія Вильде, Малая Кисловка, собственный домъ.  
1907.







# ОГЛАВЛЕНИЕ 3-й ЧАСТИ

„Русской критической литературы о произведеніяхъ А. С. Пушкина“.

Критика тридцатыхъ годовъ

1830 годъ.

„Евгеній Онегинъ“.

## Критическія статьи:

Изъ „Московского Телеграфа“ . . . . .	1
„ „Литературной Газеты“ . . . . .	5
„ „Галатеи“ . . . . .	7
„ „Сѣверной Пчелы“ . . . . .	13
„ „Вѣстника Европы“. Статьи П. Надеждина . . . . .	19

„Бахчисарайскій Фонтанъ“.

Рецензія изъ „Литературной Газеты“ . . . . .	41
--	----

1831 годъ.

„Борисъ Годуновъ“.

## Разборы.

Изъ „Московского Телеграфа“ . . . . .	42
„ „Дамскаго Журнала“. Статья К. Шаликова . . . . .	44
„ „Дамскаго Журнала“. Статья С. Глинки . . . . .	46
„ „Сѣверной Пчелы“ . . . . .	48
„ „Сына Отечества“. Статья В. Плаксива . . . . .	—
„ „Телескопа“. Статья П. Надеждина . . . . .	83
„ „Сына Отечества“. Статья П. Ср. Камашева . . . . .	104
„ Отдѣльнаго изданія . . . . .	120
„ „Гирлянды“. Замѣтка Г. З—ая . . . . .	130
„ „Листка“ . . . . .	131
„ „Сѣверной Пчелы“ . . . . .	133

**„Повѣсти покойнаго Ивана Петровича Бѣлкина“**

**Рецензіи:**

Изъ „Гирлянды“ .....	136
„ „Сѣверной Пчелы“ .....	—
„ „Московского Телеграфа“ .....	137

**1832 годъ.**

„Евгеній Онѣгинъ“ . . . . .	139
-----------------------------	-----

**Рецензіи:**

Изъ „Русскаго Инвалида“ .....	139
„ „Сѣверной Пчелы“, Замѣтка П. С. ....	140
„ „Московскаго Телеграфа“ .....	141

**„Стихотворенія Пушкина“.**

**Разборы:**

Изъ „Телескопа“ .....	145
„ „Русскаго Инвалида“ .....	161
„ „Сѣверной Пчелы“, Статья Барона Розена . . .	162

**„Борисъ Годуновъ“.**

Статья изъ „Европейца“ .....	164
------------------------------	-----

**1833 годъ.**

**„Евгеній Онѣгинъ“.**

Рецензія изъ „Московского Телеграфа“ .....	171
--	-----

**„О характерѣ и достоинствѣ Поэзіи А. С. Пушкина“.**

Статья О. Булгарина. Изъ „Сына Отечества“ и „Сѣ- вернаго Архива“ .....	174
Разборъ предыдущей статьи. Изъ „Дамскаго Жур- нала“ .....	185

**„Борисъ Годуновъ“.**

Критическая статья изъ „Московского Телеграфа“ ....	193
Указатель именъ и предметовъ, имѣющихъ отношеніе къ литературѣ .....	243



## КРИТИКА ТРИДЦАТЫХЪ ГОДОВЪ.

• 1830 г.

\*) *Евгѣній Онегинъ* Сочиненіе Александра Пушкина. Спб. Въ тип. Деп. Народн. Просв. 1830 г., 57 стр. in 12.

\*) Стихотворенія А. С. Пушкина въ нашей Литтературѣ можно уподобить сѣверному сіянію среди мрака полярныхъ странъ. Они какъ бы показываютъ, что мы еще не совсѣмъ умерли, не совсѣмъ оледенѣли для поэзіи, въ глубокомъ снѣ поэтическихъ силъ нашихъ, которыя растутъ и, можетъ быть, еще съ большею прочностью развиваются для будущихъ поколѣній, покрытыхъ снѣгами и ледяными холмами. Наши, нынѣ мертвыя, поля поэзіи воскреснутъ для жаркаго лѣта, или, чего еще усерднѣе желаемъ мы, отойдутъ къ климатамъ болѣе благораствореннымъ, и будутъ въ мірѣ поэзіи представлять то же, что въ политическомъ мірѣ представляетъ нынѣ Британія, нѣкогда бывшая театромъ буйныхъ дикарей, Скотовъ и Бритовъ. Среди пыльных нашихъ льдовъ и снѣговъ, или, если угодно, среди нашихъ Скотовъ и Бритовъ, Пушкинъ есть явленіе утѣшительное. Жальемъ объ одномъ: зачѣмъ столь блестящее дарованіе окружено обстоятельствами самими неблагоприятными? Освободиться отъ нихъ трудно, если не совсѣмъ невозможно. Будь Пушкинъ въ такой Литтературѣ, въ такомъ обществѣ, гдѣ все перечувствовано, все объяснено, все, что обязательства заставляютъ его вносить въ свою поэзію: онъ сталъ бы на весьма высокой

---

\*) „Московскій Телеграфъ“ 1830 г., часть 32.

степени. Конечно, Байронъ не увлечь бы за собою вѣка, если бы онъ выражалъ только то, что соотечественникъ его читаетъ въ Шекспирѣ, или чувствуетъ въ Парламентѣ, или презираетъ въ собраніяхъ *franchises* и на шумныхъ сборищахъ Лондонской черни. Но у насъ все это ново, все это насъ поражаетъ, какъ поражаютъ дѣтей всеневня дѣянія людей взрослыхъ. Мы еще дѣти и въ гражданскомъ быту и въ поэтическихъ ощущеніяхъ. Пушкинъ же можетъ освободиться отъ Русскихъ чувствъ при взглядѣ на жизнь общественную, и потому - то онъ кажется такъ слабъ въ сравненіи съ Байрономъ, изображавшимъ въ нѣкоторыхъ сочиненіяхъ своихъ то же, что представляетъ намъ Пушкинъ въ *Онгинѣ*. „Гостиница, дѣвы и модники, герои деревень, городовъ и батловъ! Какой подвигъ взглянуть на нихъ сардонически!“ Вотъ господствующая мысль въ *Онгинѣ*, которую, можетъ быть, и самъ творецъ сего романа худо объясняетъ себѣ, ибо иначе онъ увидѣлъ бы, что тѣснится вокругъ нея въ семи стихотворныхъ главахъ — утомительно и для него и для читателей. Первая глава *Онгина* и двѣ-три, послѣдовавшія за нею, правились и плѣнили, какъ превосходный опытъ поэтическаго изображенія общественныхъ причудъ, какъ доказательство, что и нашъ гордый языкъ, наши *Московскія* куклы могутъ при отзывахъ поэзии пробуждаться и составлять стройное, гармоническое цѣлое. Но опытъ все еще продолжается, краски и тѣни одинаковы, и картина все та же. Цѣна новости исчезла — и тотъ же *Онгинъ* правится уже не такъ, какъ прежде. Надобно прибавить, что поэтъ и самъ утомился. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 7-й главы *Онгина* онъ даже повторяетъ самъ себя. Укажемъ, для примѣра, на описаніе зимы, на измѣчивость чувствованій, на памятникъ Ленскому, подъ которымъ даже и *лапоть* плететь, можетъ быть, тотъ же мужикъ, который игралъ роль въ 6-й главѣ. Сверхъ того, нельзя указать на рѣшительныя повторенія, но перевернутыхъ и вмѣстѣ одинаковыхъ намековъ и мыслей есть довольно.

Высказавъ все это о 7-й главѣ *Онгина*, мы съ удовольствіемъ замѣтимъ, что предѣсть стиховъ въ оной, во



многихъ мѣстахъ сила мыслей и поэтическія чувствованія показываютъ неизмѣнность дарованія Пушкина. Кто-то сказалъ, что *Евгенія Вельскіи* есть то же, что *Евгенія Онѣгина*. Необдуманно сказано! Евгеній Вельскій доказываетъ только то, какъ трудно подражать Пушкину: *Вельскій* вздоръ, а *Онѣгина* поэзія.— Этого мачо: какой-то—видно умный и благонамѣренный человѣкъ! — торжественно возгласилъ, что въ *Телеграфѣ* печатаются пародіи на стихотворенія Пушкина. Не угодно ли г. возгласителю указать хоть на одну пародію? Или не угодно ли ему самому написать пародію, напримѣръ, на Онѣгина? А мы отказываемся отъ этого, ибо до сихъ поръ еще не замѣтили въ Пушкинѣ тѣхъ сторонъ, которыя могли бы отражаться въ зеркалѣ насмѣшки. Если въ *Телеграфѣ* и печатаются пародіи, если въ нихъ и узнають своихъ дѣищъ и некоторые поэты, то изъ этого не слѣдуетъ, чтобы тамъ же были и пародіи на Пушкина. Для пародіи надобна какая-нибудь странность, нелѣпость, что-либо смѣшное, составляющее главный характеръ пародируемаго автора — тогда его завербуютъ насмѣшники. А что г. возгласитель находитъ страннаго, нелѣпаго или смѣшного въ стихотвореніяхъ Пушкина?

Въ 7-й главѣ *Онѣгина* есть еще одинъ недостатокъ, случайный. Большая часть ея состоитъ уже изъ напечатанныхъ и слѣдственно извѣстныхъ публикѣ отрывковъ. Кромѣ того, что не весело встрѣчать въ новой книгѣ старое, это показываетъ, и показываетъ неоспоримо, что Онѣгина есть собраніе отдѣльныхъ, безсвязныхъ замѣтокъ и мыслей о томъ о семъ, вставленныхъ въ одну раму, изъ которыхъ авторъ не составитъ ничего, имѣющаго свое отдѣльное значеніе. Онѣгина будетъ поэтическій Лабрюеръ, рудникъ для эпиграфовъ, а не органическое существо, котораго части взаимно необходимы одна для другой.

Не въ подкрѣпленіе сказаннаго нами, а просто для угожденія читателямъ нашимъ, выписываемъ изъ 7-й главы изображеніе кабинета Онѣгина. Вотъ оно:

Татьяна взоромъ умиленнымъ  
Вокругъ себя на все глядитъ,

И все ей кажется безцѣннымъ,  
 Все душу томную живить  
 Полумучительной отрадой:  
 И столъ съ померкшею лампадой.  
 И груда книгъ, и подъ окномъ  
 Кровать, покрытая ковромъ,  
 И видъ въ окно сквозь сумракъ лунной,  
 И этотъ блѣдный полусвѣтъ,  
 И лорда Байрона портретъ,  
 И столбикъ съ куклою чугуниой,  
 Подъ шляпой, съ пасмурнымъ челомъ,  
 Съ руками сжатыми крестомъ.

Это напоминаніе о Наполеонѣ показываетъ необыкновенное чувство поэтическое. Наполеонъ, какъ оживленный символъ и какъ странное въѣдовое проявленіе могущества человѣческаго и вмѣстѣ слабости, оазисъ, окруженный песками современнаго ему, долженъ былъ явиться мѣстечко въ кабинетъ Онегина, въровавшаго въ одно то, что среди людей выходить изъ границъ обыкновенныхъ явленій.

И долго плакала она.  
 Потомъ за книги принялася;  
 Сперва ей было не до нихъ,  
 Но показался выборъ ихъ  
 Ей страненъ. Чтенью предалася  
 Гатъяна жадною душой —  
 И ей открылся міръ иной.  
 Хотя мы знаемъ, что Евгенийъ  
 Издавна чтенье разлюбилъ,  
 Однако жъ нѣсколько твореній  
 Онъ изъ опалы исключилъ:  
 Пѣвца Манфреда и Жуана,  
 Да съ нимъ еще два-три романа.  
 Въ которыхъ отразился вѣкъ,  
 И современный человѣкъ  
 Изображенъ довольно вѣрно...

Замѣнивъ выше сего, что *Русскія литературныя* Пушкина не достигаютъ высоты Байроновскихъ ощущеній, мы тѣмъ болѣе убѣждаемся, что если бы при своемъ великомъ искусствѣ писать стихи, и при своемъ поэтическомъ взглядѣ на предметы, нашъ поэтъ перешелъ въ Русскій міръ, углуб-



бился въ отечественное, родное ему, то онъ сдѣлался бы высокимъ оригинальнымъ поэтомъ. Залоговъ для исполненія сего у насъ довольно, и для осуществленія нашихъ желаній, для пользы Словесности нашей и для бѣльшей славы поэта нужна только одна твердая воля его. Неужели благимъ желаніямъ и искреннему упованію суждено никогда не осуществиться?

*Изъ „Моск. Телеграфа“.*

\* \* \*

\*) Чтеніе седьмой главы Онѣгина такое же производитъ надъ нами дѣйствіе, какъ зрѣлище нѣкогда милыхъ намъ мѣсть, но уже оставленныхъ тѣми особами, которыя ихъ одушевляли. Прелесть ихъ не измѣнилась; но мы, разсматривая ихъ, напрасно хотимъ воскресить въ душѣ тѣ чувства, которыми наполнялась она въ прежнее время. Авторъ до такой степени совершенства довелъ искусство свое, что читатель, пока еще не усифеть замѣтить поэтическаго обмана въ произведеніи, можетъ быть, станетъ мысленно укорять поэта въ недоконченности цѣлой картины. Но это самое впечатлѣніе, это желаніе перемѣны въ чувствованіяхъ и неудовлетворительность надеждъ — есть верхъ искусства художника. Власть его надъ нами столь сильна, что онъ не только вводитъ насъ въ кругъ изображаемыхъ имъ предметовъ, но изгоняетъ изъ души нашей холодное любопытство, съ которымъ являемся мы на зрѣлища постороннія, и велитъ участвовать въ дѣйствіи самомъ, какъ будто бы оно касалось до насъ собственно. Всѣмъ извѣстенъ анекдотъ о Королѣ, который бывалъ недоволенъ собою, слушая своего проповѣдника. Онъ можетъ служить объясненіемъ и подтвержденіемъ нашего замѣчанія.

Отъѣздъ Онѣгина и Ольги, двухъ лицъ, которымъ бы мечтательница наша желала посвятить всю жизнь свою, такую грусть поселилъ въ душѣ Татьяны, что общимъ характеромъ всей седьмой главы стало что-то меланхолическое

И въ одиночествѣ жестокомъ  
 Сильнѣе страсть ея горитъ,  
 И объ Онѣгинѣ далекомъ  
 Ей сердце громче говорить. .  
 Она его не будетъ видѣть:  
 Она должна въ немъ ненавидѣть  
 Убійцу брата своего:  
 Поэтъ погибъ... но ужъ его  
 Никто не помнитъ: ужъ другому  
 Его невѣста отдалась.  
 Поэта память пронеслась  
 Какъ дымъ по небу голубому.

Чувство унынія еще сильнѣе овладѣваетъ душою Татьяны, когда она узнаетъ, что должна сама оставить деревню и на зиму переселиться въ Москву.

Вставая съ первыми лучами,  
 Теперь она въ поля сѣдѣетъ  
 И, умиленными очами  
 Ихъ озирая, говорить:  
 Простите, мирныя долины,  
 И вы, знакомыхъ горъ вершины,  
 И вы, знакомые лѣса:  
 Прости, небесная краса,  
 Прости, веселая природа:  
 Мнѣняю милый, тихій свѣтъ  
 На шумъ блистательныхъ суетъ...  
 Прости жъ и ты, моя свобода!

Очеркъ Москвы и тамошнихъ увеселеній представляетъ новый образецъ удивительной легкости, съ какою авторъ можетъ переходить отъ предмета къ предмету и, не измѣняя одному главному тону, разнообразить свое произведеніе всеми волшебными звуками. Особенно благородная сатира есть такое орудіе, которымъ онъ дѣйствуетъ съ высочайшимъ достоинствомъ своего искусства. Странность, порокъ, ошибка, слабость, все они замѣчены по-этомъ въ духъ нашего времени, а частно въ томъ или другомъ лицѣ, такъ что, не оскорбляя ни чьей личности, онъ приноситъ пользу цѣлому поколѣнію. Но этотъ предметъ одинъ требуетъ разсмотрѣнія самаго обширнаго. Онѣгинъ дастъ къ тому поводъ удобный и примѣръ наставительный.

*Изъ „Литературной Газеты“.*



\* \* \*

\*) Есть пословица: *кѣй жальзо, пока горячо*; если бы талантливый А. С. Пушкинъ постоянно держался этой пословицы, онъ не такъ бы скоро проигралъ въ мнѣніи читающей публики, и, можетъ быть, еще до сихъ поръ *ни спалъ бы съ голосу*. Написавши *Руслана и Людмилу*, прекрасную маленькую поэму, онъ вдругъ вошелъ, какъ говорится, въ славу, которая росла съ каждымъ новымъ произведеніемъ сладко-гласнаго пѣвца до самой Полтавы; съ Полтавою она, не скажемъ, пала, но *ослабла*, и съ тѣхъ поръ уже не подымается вверхъ. Что далѣе будетъ, не извѣстно; но послѣднее произведение Музы А. С. — *Седьмая глава Евгенія Онѣгина*, предвѣщаетъ мало добра. — Если бы зналъ А. С., съ какою горестію произнесли мы этотъ приговоръ!!! Творецъ *Руслана и Людмилы* обѣщалъ такъ много, а исполнилъ?... Онъ еще въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ; онъ могъ подарить насъ произведеніемъ зрѣлымъ, блистательнымъ, и — подарилъ *Седьмою главою Онѣгина*, которая ни содержаніемъ, ни языкомъ не блистательна.

Въ 7-ю главу Онѣгина втиснуть почти цѣлый годъ романтическихъ происшествій, но въ этихъ происшествіяхъ вы почти никакого дѣйствія не найдете. Съ самаго начала описывается весна, и описывается не отлично.

Гонимы вешними лучами,  
 Съ окрестныхъ горъ уже снѣга  
 Сбѣжали мутными ручьями  
 На *потопленные* луга.  
 Улыбкой ясною природа  
 Сквозь сонъ встрѣчаетъ утро года:  
*Синья* блищутъ небеса.  
 Еще *прозрачные* лѣса  
 Какъ будто *духомъ зеленыютъ*.  
 Пчела, за данью полевой  
 Летитъ изъ кельи восковой.  
 Долины сохнутъ и пестрѣютъ;  
 Стада шумятъ, и соловей  
 Ужъ пѣлъ въ безмолвіи ночей.

---

\*) „Галатеея“ 1830 г., часть 13, № 14.

Во II и III-мъ стансѣ поэтъ говорить о себѣ самомъ: такихъ отступленій у него много и въ первыхъ шести главахъ. III-й стансѣ ярко бросается въ глаза своею *логическою и словесною* нестротою, а потому мы и не можемъ не выписать его.

### III.

Или не радуясь возврату  
*Погибшихъ осенью листовъ,*  
 Мы помнимъ горькую утрату,  
*Внимая новый шумъ льсовъ;*  
 Или съ природой оживленной  
 Сближаемъ душою смущенной  
 Мы *увяданье* нашихъ лѣтъ,  
*Которымъ возрожденья нѣтъ?*  
 Быть можетъ, въ мысли намъ приходитъ.  
 Среди поэтического сна,  
 Иная старая весна,  
 И въ трепетъ сердце *намъ* приводитъ  
 Мечтой о дальней сторонѣ.  
 О чудной ночи, о лунѣ...

Далѣе сочинитель Романа приглашаетъ въ деревню на весну добрыхъ лѣнниковъ, эпикурейцевъ мудрецовъ, равнодушныхъ счастливицевъ, агрономовъ, деревенскихъ Пріамовъ (?), чувствительныхъ дамъ и читателей:

И вы, читатель благосклонный,  
 Въ своей коляскѣ *выписной (!)*,  
 Оставьте *градъ неугомонный,*  
 Гдѣ веселились вы зимой;  
 Съ моею музою *своенравной*  
 Пойдемте слушать шумъ дубравный.

туда, гдѣ, еще недавно, жилъ Евгеній,

Но гдѣ его теперь ужъ нѣтъ.  
 Гдѣ грустный онъ оставилъ слѣдъ

Вы думаете, что сочинитель въ самомъ дѣлѣ поведетъ васъ прямо въ деревню Онѣгина? извините! *своенравная* Муза его дастъ прежде изрядный крюкъ и поведетъ васъ по проселкамъ прежде къ памятнику Ленского, гдѣ



... Сѣдой и хилой  
Пастухъ по прежнему поетъ  
И обувь бѣдную плететъ.

За этимъ вслѣдъ, по Байроновски, поставить:

## VII. IX.

### X:

потомъ выдастъ Ольгу замужъ за Улана:

Уланъ *увлекъ* ея вниманье,  
Уланъ умѣлъ ея страданье  
Любовной лестью усыпить,  
Уланъ умѣлъ ея плѣнить,  
Уланъ любимъ ея душою...

## XII.

И скоро звонкій голосъ Оли  
Въ семействѣ Лариныхъ умолкъ.  
Уланъ, своей невольникъ доли,  
*Былъ долженъ ѣхать съ нею въ полкъ.*  
*Слезамъ горько обливаясь,*  
*Старушка, съ дочерью прощаясь,*  
Казалось, чуть жива была,  
Но Тая плакать не могла...

Послѣ этого сочинитель, какъ сами изволите видѣть, намѣренъ занять васъ положеніемъ Татьяны:

Нигдѣ, ни въ чемъ ей нѣтъ отрады,  
И облегченья не находятъ  
Она подавленнымъ слезамъ—  
*И сердце рвется пополамъ.*

## XIV

И въ одиночествѣ жестокомъ  
Сильнѣе страсть ея горитъ,  
И объ Онѣгинѣ далекомъ

(наконецъ, дошло дѣло и до Онѣгина)

Ей сердце громче говорить,  
Она его *не будетъ* видѣть;  
Она должна въ немъ ненавидѣть

Убійцу брата своего;  
Поэтъ погибъ... но ужъ его  
Никто не помянуть, ужъ другому  
Его невѣста отдалась.

Теперь просимъ покорно впередъ — за Татьяною, или, что все равно, за *своирядною* Музою нашего поэта, въ деревню Онегина. Однажды, вечеромъ,

Въ полѣ чистомъ,  
*„Луны при свѣтѣ серебряномъ“*  
Въ свои мечты погружена,  
Татьяна долго шла одна,

и куда бы, вы думали, пришла? въ домъ Онегина. Это немного неприлично, но такъ угодно было поэту-живописцу Русскихъ нравовъ.

И входитъ (Татьяна) на *пустынный дворъ*.  
Къ ней, лая, кинулись собаки.  
*На крикъ испуганный ея*  
Ребятъ дворовая семья  
Сбѣжалась шумно. Не безъ драки  
Мальчишки *разогнали псовъ*,  
Взявъ барышню подъ свой покровъ.

Какъ бы то ни было, но *барышня* была въ комнатахъ Онегина, все тамъ видѣла, выпросила позволеніе ходить на *пустынный дворъ*, на которомъ встрѣтили ее собаки и семья ребятъ, и читать въ барыновомъ кабинетѣ книги. — Эта прогулка продолжалась до самой зимы. Пришла зима, Татьяну привезли въ Москву; а что было съ нею въ Москвѣ — читатели наши сами знаютъ изъ Московскаго Вѣстника и Сѣверной Пчелы. Нужно ли сказывать, какъ бѣдно содержаніе 7-й главы Онегина? Но содержаніе въ сторону; оно почти во всѣхъ произведеніяхъ г-на Пушкина не богато; самый языкъ, на которомъ основана слава пѣвца *Бахчисарайскаго аюлтана*, въ Онегинѣ, особенно въ разбираемой нами главѣ, не выдержитъ не только строгой, но даже и свисходительной критики. во многихъ стихахъ мы не узнаемъ Пушкина: есть цѣлая тирада, которая не



понравятся любителямъ изящнаго: за образчиками далеко ходить не для чего. Чтобы не упрекнули насъ въ излишней привязчивости и пристрастии, выписываемъ сряду нѣсколько стиховъ:

. . . . .  
*Вотъ, Свѣрь, тучи нагоняя,  
 Дохнулъ, завылъ—и вотъ сама  
 Идетъ волшебница зима.*

### XXX.

*Пришла, разсыпалась; клоками  
 Повисла на сукахъ дубовъ;  
 Легла волнистыми коврами  
 Среди полей, вокругъ холмовъ;  
 Брега съ недвижною рѣкою  
 Сравнила пухлой пеленою:  
 Блеснулъ морозъ; и рады мы  
Проказамъ матушки зимы.  
 Не радо ей лишь сердце Тани,  
 Нейдетъ она зиму встрѣчать,  
 Морозной пылью поднимать  
 И первымъ снѣгомъ съ кровли бани  
 Омыть лицо, плеча и грудь:  
 Татьянѣ страшенъ зимній путь.*

### XXXI.

Отъѣзда день давно просроченъ,  
 Приходитъ и послѣдній срокъ.  
 Осмотрѣвъ, вновь обить, упроченъ  
 Забвенью брошенный возокъ.  
 Обозъ обычный, три кибитки  
 Везутъ домашніе пожитки,  
 Кострюльки, стулья, сундуки,  
 Варенье въ банкахъ, тюфяки,  
 Перины, клятки съ пятаками,  
 Горшки, тазы et cetera,  
 Ну, много всякаго добра.  
 И вотъ въ избѣ между слугами  
 Поднялся шумъ, прощальный плачъ:  
 Ведутъ на дворъ осьмнадцать клячъ.

## XXXII.

*Въ возокъ боярскій ихъ впрягаютъ, (?)*  
 Готовятъ завтракъ повара,  
 Горой кибитки нагружаютъ,  
 Бранятся бабы, кучера.  
*На клячъ тощей и косматой*  
*Сидитъ форрейторъ бородатый.*  
 Сбѣжалась челядь у воротъ  
 Прощаться съ барами. И вотъ  
 Усѣлись, и возокъ почтенный,  
 Скользя, ползетъ за ворота,  
 „Простите, милыя мѣста!  
 „Прости, пріютъ уединенный!  
 „Увижу ль васъ?...“ И слезъ ручей  
 У Тани льется изъ очей!

Стихи, которые сами себя рекомендуютъ съ невыгодной стороны, напечатаны курсивомъ для того, чтобы не утомить читателей нашихъ подробнымъ объясненіемъ, почему именно каждый стихъ не хорошъ. На счетъ недостатковъ, замѣченныхъ нами въ стихотворномъ языкѣ г-на Пушкина, мы могли бы сказать многое такъ, напр., онъ неудачно соединяетъ слова простонародныя съ Славянскими; часто употребляетъ неточныя выраженія, неправильныя метафоры; многіе стихи у него не стихи, но проза, заостренная рифмою, которая часто заставляетъ его повторять одну и ту же мысль; — но боимся оскорбить многочисленныхъ почитателей поэта, любимца публики.

Но неужели во всей VII-й главѣ Онегина нѣтъ ничего хорошаго? скажетъ кто-нибудь. Мы этого не говоримъ: есть мѣста, въ которыхъ видѣнъ еще Пушкинъ, но этихъ мѣстъ очень мало. Больше всего понравился намъ стансъ:

## LII.

У ночи много звѣздъ прелѣстныхъ,  
 Красавицъ много на Москвѣ.  
 Но ярче всѣхъ подругъ небесныхъ  
 Луна въ воздушной синевѣ.

Но та, которую не смѣю  
Тревожить лирою своею,  
Какъ величавая луна  
Средь женъ и дѣвъ блеснить одна;  
Съ какою гордостью небесной  
Земли касается она!  
Какъ нѣгой грудь ея полна!  
Какъ томень взоръ ея чудесной!..  
Но полно, полно; перестань:  
Ты заплатилъ безумству дань.

*Изъ „Галакси“.*

\* \* \*

\*) Какъ стихъ безъ мысли въ пѣснь модной  
Дорога зимняя гладка.

*Евг. Онѣгинъ, Глава VII, стр. 35.*

Въ № 3 „Московского Телеграфа“ на сей 1830 годъ (на стр. 356 и 357) объяснено нынѣшнее состояніе общаго мнѣнія въ Литературѣ и, между прочимъ, сказано: „Нынѣ требуютъ отъ писателей не одной подписи *знаменитаго* имени, но достоинства внутреннего и изящества внѣшняго“. — Справедливо! медленное, траурное шествіе Литературной Газеты и холодный пріемъ, оказанный публикою Поэмъ *Пошва* (о которой такъ остроумно сказано было въ № 2 Вѣстника Евразы на стр. 164) служатъ яснымъ доказательствомъ, что очарованіе именъ исчезло. И въ самомъ дѣлѣ, можно ли требовать вниманія публики къ такимъ произведеніямъ, какова, напримѣръ, глава VII Евгения Онѣгина? Мы сперва подумали, что это мистификація, просто шутка или пародія, и не прежде увѣрились, что эта Глава VII есть произведеніе сочинителя Руслана и Людмилы, пока книгопродавцы насъ не убѣдили въ этомъ. Эта Глава VII—два маленькіе печатные листика,—испещрена такими стихами и балагурствомъ, что въ сравненіи съ ними даже Евгений Вельскій кажется чѣмъ-то похожимъ на дѣло. Ни одной мысли въ этой водянистой VII Главѣ, ни одного



чувствованія, ни одной картины, достойной воззрѣнія! Совершенное паденіе, chute complète!

И такъ надежды наши исчезли! Мы думали, что Авторъ Руслана и Людмилы устремился за Кавказъ, чтобъ напитаться высокими чувствами Поэзии, обогатиться новыми впечатлѣніями, и въ сладкихъ пѣсняхъ передать потомству великіе подвиги Русскихъ современныхъ героевъ. Мы думали, что великія событія на Востокѣ, удивившія міръ и стяжавшія Россіи уваженіе всѣхъ просвѣщенныхъ народовъ, возбуждать геніи нашихъ Поэтовъ—и мы ошиблись! Тиръ знаменитыя остались безмолвными, и въ пустынь нашей поэзіи появился опять Онегинъ, блѣдный, слабый... Сердцу больно, когда взглянешь на эту безцвѣтную картину!—Читатели наши спросятъ: какое же содержаніе этой VII Главы въ 57 страничекъ? Стихи Онегина увлекаютъ насъ и заставляютъ отвѣчать стихами на этотъ вопросъ:

Ну, какъ разсѣять горе Тани?  
Вотъ какъ; посадятъ дѣву въ сани,  
И повезутъ изъ милыхъ мѣстъ,  
Въ Москву на ярмонку невѣстъ!  
Мать плачется, скучаетъ дочка:  
Конецъ седьмой главоу — и точка!

Точно такъ, любезные читатели, все содержаніе этой главы въ томъ, что Таню везутъ въ Москву изъ деревни! Всѣ вводныя и вставныя части, всѣ постороннія описанія такъ ничтожны, что намъ вѣрить не хочется, чтобъ можно было *печатать* такія мелочи! Разумѣется, что какъ въ предыдущихъ главахъ, такъ и въ этой, Авторъ часто говоритъ о себѣ, о своей скукѣ, *томленнѣ*, о своей мертвой душѣ, которой все кажется темно и проч. Великій Байронъ ужъ такъ утомилъ насъ всѣми этими выходками, что мы сами чувствуемъ невольное *томленіе*, слыша безпрерывное повтореніе одного и того же. Глава начинается описаніемъ весны (старая пѣсня), которою наслаждаются Поэтъ выкликастъ изъ города поименно разныя лица. Между прочимъ является новое сословіе. Поэтъ кличетъ:

Вы, школы Левшина птенцы,  
Вы, деревенскіе Пріамы!—

Что такое птенцы школы Левшина? Для этого въ концѣ книги находится объясненіе слѣдующаго содержанія: „Левшинъ, Авторъ многихъ сочиненій по части хозяйственной“. Что мы узнали изъ этого объясненія? Левшинъ писалъ и о лошадяхъ, и объ овцахъ, и о курахъ. Не это ли птенцы? Не ихъ ли вызываютъ на ширъ весны? Не догадываемся! А кто таковы деревенскіе Пріамы? гдѣ деревенская Троя? Гдѣ ся Гомеръ? Объясненія нѣтъ — и мы отвѣчать не можемъ. Думаемъ однако жъ, что *Пріамы* находятся въ стихѣ для *риомы, тамы*. Далѣе Поэтъ вызываетъ своего *благо-склоннаго* читателя — оставить городъ *неугомоннои*, въ своей коляскѣ *вышеснои*, городъ, гдѣ этого читателя, по словамъ Поэта, веселился всю зиму съ Музой *своиравной* пѣвица Онѣгина? Ужъ подлинно своиравная Муза!

На стр. 13 мы съ величавиимъ наслажденіемъ находимъ двѣ пропущенія, самымъ Авторомъ, строфы, а вмѣсто ихъ двѣ прекрасныя римскія цифры VII и IX. Какъ это нестрить Поэму и заставляеть читателя мечтать, догадываться *о необыкновеннѣ!* Это производитъ полный драматическій эффектъ, и мы благодаримъ за сіе Поэта!

Послѣ двухъ пропущенныхъ строфъ, въ строфѣ X, васъ увѣдомляютъ, что Оливька, за которую убить Ленскій, вышла замужъ за Улана. Объ немъ никто не груститъ, и очень хорошо. Самъ Поэтъ говоритъ:

На что грустить?

Нынѣ грустятъ *такъ*, изъ ничего, а о смерти друзей не беспокоятся. И дѣльно. Вѣдь за этимъ описаніе вечера:

Былъ вечеръ. Лебо меркло. Воды  
Струились тихо. Жукъ жуужать.

Вотъ является новое дѣствующее лицо на сцену: жукъ! Мы расскажемъ читателю о его подвигахъ, когда доч-

таемся до этого. Можетъ быть, хоть онъ обнаружить какой-нибудь характеръ.

При тихомъ журчаніи водъ и жужжаніи жука, Таня идетъ въ поле, видитъ передъ собою господскій домъ, и входитъ въ него: это домъ Онѣгина. Ей показываютъ опустѣлыя комнаты любовника, гдѣ она находитъ кій, *опыхавшій* на биллардѣ, манежный *хлыстикъ*, а въ кабинетѣ портретъ Лорда Байрона (вѣроятно для того, чтобъ читатель помнилъ, съ чѣмъ должно сравнивать Онѣгина), чугунную куклу и сочиненія Байрона:

Да съ нимъ еще два-три Романа,  
Въ которыхъ оразился вѣкъ,  
И современный человекъ  
Изображенъ довольно вѣрно.  
Съ его безнравственной душой,  
Себялюбивой и сухой,  
Мечтанью преданный безмѣрно,  
Съ его озлобленнымъ умомъ,  
Кипящимъ въ дѣйствиіи пустомъ.

Стихи эти весьма замѣчательны. Правду сказать, что это весьма жалкое понятіе о современномъ человѣкѣ — но что дѣлать? покоримся судьбѣ!

Таня начинаетъ раздумывать о своемъ любовникѣ, объ Онѣгинѣ, и хочетъ догадаться, кто онъ таковъ:

Что жъ онъ? Ужели *поображанье*,  
Ничтожный *призракъ*, иль еще  
Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ,  
Чужихъ причудъ истолкованье,  
Словъ модныхъ полный лексиконъ?  
Ужъ не пародія ли онъ?

О томъ, что Онѣгинъ есть неудачное подражаніе Чайльдъ-Гарольду и Донъ-Жуану, давно уже объявлено было въ русскихъ журналахъ

Наконецъ, везутъ Таню въ Москву. Вотъ шитическое описаніе, à la Вугон, выѣзда.



Осмотрѣнь, вновь обить, упрочень  
 Забвенью брошенный возокъ.  
 Обозъ обычный, три кибитки  
 Везуть домашніе пожитки,  
 Кострюльки, стулья, сундуки  
 Варенье въ балкахъ, тюфяки  
 Перини, клячки съ плуухачи  
 Горшки, тазы et cetera,  
 Ну, много всякаго добра.



Мы никогда не думали, чтобъ сіи предметы могли составлять прелесть поэзии, и чтобъ картина горшковъ и кострюль et cetera была такъ приманчива. Наконецъ поѣхали! Поэтъ увѣдомляетъ читателя, что:

На станціяхъ клопы да блохи  
 Заснутъ минуты не даютъ.

Подъѣзжаютъ къ Москвѣ.

Тутъ Авторъ забываетъ о Танѣ, и воспоминаетъ о незабвенномъ 1812 годѣ. Вниманіе читателя напрягается; онъ готовъ простить поэту все прежнее пустословіе за нѣсколько высокихъ порывовъ; слушаетъ первый приступъ, когда поэтъ воспоминаетъ, что Москва не пошла на поклонъ къ Наполеону, радуется, намѣревается благодарить Поэта, но вдругъ исчезаетъ очарованье. Одна строфа мелькнула — и опять то же! Читатель ожидаетъ восторга при возрѣніи на Кремль, на древнія главы храмовъ Божіихъ; думаетъ, что ему укажутъ славные памятники сего *Славянского Рима* — не тутъ-то было. Вотъ въ какомъ видѣ представляется Москва воображенію нашего Поэта:

Прощай, свидѣтель *нашей* (?) славы, (????)  
 Петровскій замокъ. Ну! не стой,  
 Пошолъ! Уже столпы заставы  
 Бѣлѣютъ, вотъ ужъ по Тверской  
 Возокъ несется чрезъ ухабы.  
 Мелькаютъ мимо будки, бабы,  
 Мальчишки, лавки, фонари,  
 Дворцы, сады, монастыри,  
 Бухарцы, сани, огороды,

Купцы, лачужки, мужики,  
Бульвары, башни, казаки,  
Аптеки, магазины, моды,  
Балконы, львы на воротахъ,  
И стан галокъ на крестахъ.

Начинается описаніе Московской жизни и общества. Здѣсь Поэтъ взялъ обильную дань изъ *Горя отъ ума*, и, просимъ не прогибаться, изъ другой извѣстной книги. Изъ *Горя отъ ума* являются: архивные юнаны, и драгъ за уши Хлестовой, тотъ же французикъ изъ Бордо, тотъ же шницъ, тотъ же клуба членъ исправный, тотъ же глухой князь Тугоуховскій, тотъ же мужъ, Платонъ Михайловичъ, и, словомъ, много всего, весьма много кое-чего въ перифразахъ.

Мы по крайней мѣрѣ надѣялись найти въ *Отъѣгнѣ* тонъ большаго свѣта, о которомъ намъ толкуютъ безпрерывно въ альманахныхъ обзорѣяхъ *Словесности*; но что же мы видимъ? Московскія барышни

Сначала молча озираютъ  
Татьяну съ ногъ до головы.

Потомъ:

Взбиваютъ кудри ей по модѣ.

А на балѣ:

Другъ другу тетушки мигнули,  
И локтемъ Таню вразъ толкнули.

Въ цѣлой главѣ VII нѣтъ блестящихъ стиховъ, *прежнихъ* стиховъ Автора, исключая двухъ строфъ XXXVI и XXXVII, которыя очень хороши. Двѣ строфы въ цѣлой книгѣ! За то стиховъ прозаическихъ и *исполнѣнно-моонныхъ* бедна, и всѣ описанія состоятъ только изъ наименованія вещей, изъ которыхъ состоитъ предметъ, безъ всякаго распорядка словъ. Напримѣръ, что значить:

Развозятъ Таню каждый день,  
Представить бабушкамъ и дѣдамъ  
Ея разсыянную лѣнь.

Развозятъ *разъѣзженную шнь!* Что это за стихи:

И близъ *него* ее замѣтя,  
Объ *ней*, поправя свой парикъ,  
Освѣдомляется старикъ.

Мы полагали, что въ описаніи бала Поэтъ возлетитъ во-  
ображеніемъ. Но это то же наименованіе предметовъ безъ  
всякаго порядка, какъ въ описаніи Москвы и въ выѣздѣ  
Тани изъ деревни.

Ее привозятъ и въ собранье.  
Тамъ тѣснота, волненье, жаръ,  
Музыки грохотъ, свѣчъ *блестанье (?)*,  
*Мельканье (?)*, *вихорь* быстрыхъ паръ (!),  
Красавицъ легкіе уборы,  
Людьми пестрѣющіе хоры,  
Невѣсть обширный полукругъ,  
Всѣ чувства поражаетъ вдругъ (!!!).  
Здѣсь кажутъ франты записные  
Свое нахальство, свой жилетъ  
И *невнимательный* лорнетъ (!?);  
Сюда гусары отпускные  
Спѣшатъ явиться, прогремѣть (?).  
Блеснуть, плѣнить и улетѣть.

Больно и жалко, но должно сказать правду. Мы видѣли  
съ радостью подоблачный полетъ пѣвца Руслана и Люд-  
милы, и теперь съ сожалѣніемъ видимъ печальный походъ  
его Онѣгина, тихимъ шагомъ, по большой дорогѣ нашей  
Словесности!

Изъ „Сѣверной Пчелы“.

\* \* \*

\*) *Евгеній Онѣгинъ*, романъ въ стихахъ. Глава VII, сочи-  
неніе Александра Пушкина.

— Давно ль

Я, кажется, тебя крестила!—

— А я такъ на руки брала!—

— А я такъ пряникомъ кормила!—

Евг. Онѣг. Гл. VII, с. 45.

---

„Вѣстникъ Европы“ 1830 г., № 7. (Нравственныя искусства, науки и  
литература). Статья Н. Надеждина.



— „Дома ли хозяйинъ?“ — раздался громкій голосъ въ предѣлѣхъ мирной моей каморки: тогда какъ я, устѣвшійся подъ окномъ послѣ обѣда, въ блаженномъ бездѣйствіи любовался золотымъ сіяніемъ солнца, разыгравшагося на изнывающемъ черепѣ *Патриаршаго пруда*, съ длиннаго зимняго просонья. — „Дома ли хозяйинъ?“ — повторилось снова. И—проказница дверь моя, имѣющая похвальное обыкновеніе отсырѣвать всегда къ веснѣ, отозвалась однимъ глухимъ шумомъ на мощный ударъ, данный ей, вѣроятно, ногою назойливаго пришельца.

— Сейчасъ! сейчасъ! — отвѣчалъ я, приподнимаясь. Но едва только успѣлъ встать, какъ неравное борецтво между *лицемъ и вѣщою* кончилось—*романтически* *Вѣщь* уступила *лицу*: дверь отпахнулась. И—глазамъ моимъ представился незваный и неожиданный гость —зачѣтная птица... *Тильнскій*.

— „Mille diables“! — вскричалъ онъ, свергая съ плечъ огрязненныи плащъ свой — „До тебя, не изломавъ ноги, не доберешься!“

— Mille pardons! — отвѣчалъ я, улыбаясь — „Давай-ко руку! Ноги изломать у меня не обо что, но—да позволено будетъ употребить парадальныи тонъ вашего околотка — но *преткнуться* можно и не *объ* одно *гробницѣ романтическаго суесловія*!“

— „Будь проклято это гробницѣ!“ —возразилъ еще громче *Тильнскій*.

— „Будь проклято оно и съ тобою, несчастный гробкопатель!“

— *И*. Со мною. Что ты, любезнѣйшій. Что съ тобою?.. Да ты вѣрно прямо теперь—изъ *Квартиры Московскаго Голландца*! Сядь-ко лучше и *преткни* хульные уста свои стимъ чубукомъ, къ которому только что придѣланъ новыи мундштукъ. Авось-либо гнѣвъ твой развѣется съ табачнымъ дымомъ! — *И для тѣхъ ии и заглупѣвшихъ* — Нѣтъ—не развѣется!.. ты не отдѣлаешься отъ меня такъ дешево! Скажи — удовольствовалося ли твоѣ ретивое? Напрасно-валялся ли ты досыта? *табушка обѣда* *охла* съ *жидкою грибочкою*. Исполненіе желаній —поздравляю. *И*. Да объяснись, дражайшій! Что его значить? Ты поэтизируешь

не на шутку... О чемъ дѣло?..—*Тлѣн.* Какъ будто не знаешь, притворицикъ?.. (*вынимая изъ бокового кармана листъ измятой печатной бумаги и бросая нерешительно на столъ*). А это что? А?.. *Я* (*подымая и развертывая*). Это?.. Да это моя дорогая кумушка — *Съверная Пчелка*!.. Что-жъ тутъ такое?.. Ужъ не измѣна ли *Телеграфу*?.. Такъ и это — право — не слишкомъ большая диковина!.. — *Тлѣн.* Не умничай, а читай — ниже... ниже... Рубрика: *Новыя книги*... *Я.* Вижу! *Новыя книги*... Что-жъ тутъ новаго?.. *Евгеній* (*Онѣгинъ, романъ въ стихахъ. Глава VII. (Очищеніи А. Пушкина)*). Браво! поздравляю... Дарно бы пора!.. (*складывая листокъ*). Ну, такъ что же!.. Чай — это одинъ пуншечный выстрѣлъ и торжественная пѣснь съ многократнымъ виватъ!..

*Тлѣн.* Такъ ты дѣйствительно ничего еще не знаешь!.. Читай же далѣе — и... (*пускаетъ новое облако дыма*)... *Я.* (*развертывая опять и продолжая*):

*Какъ стихъ безъ мысли въ пѣснь модной,  
Дорога зимняя гладка..*

*Евг. Онѣг. Гл. VII, с. 35.*

Ба! какой епіграфъ-то! Да еще и изъ самаго *Онѣгина*!.. — *Тлѣн.* (*жалобно*). Читай далѣе... *Я* (*продолжая*). „Въ № 3 Московскаго Телеграфа на сей 1830 годъ объяснено нынѣшнее состояніе общаго мнѣнія въ Литературѣ и, между прочимъ, сказано: „нынѣ требуютъ отъ писателей не одной подписи знаменитаго имени, но достоинства внутренняго и изящества виѣшняго“. Справедливо!.. Ай! ай!.. ай!.. что такое... что за чудо!..—*Тлѣн.* Читай далѣе! *Я.* „Медленное, траурное шествіе Литературной Газеты и холодный пріемъ, оказанный публикою поемъ *Полтава* (о которой такъ остроумно сказано было въ № 2 Вѣстника Европы)...“ Праведное небо! *Вѣстника Европы*!.. Да полно — *Пчела* ли ужъ это?.. Такъ — она!.. „такъ остроумно

сказано было въ № 2 Вѣстника Европы служить яснымъ доказательствомъ, что очарованіе именъ исчезло.. — Ну!!! — *Тыи* (возвышенный голосъ) Да читай даѣе!.. *М.* И въ самомъ дѣлѣ, можно ли требовать вниманія публики къ такимъ произведеніямъ, какова, напримѣръ, Глава VII Евгения Онѣгина? Мы сперва подумали, что это мистификація, просто шутка или пародія, и не прежде увѣрились, что эта Глава VII есть произведение Сочинителя Руслана и Людмилы, пока книгопродавцы насъ не убѣдили въ этомъ. Эта Глава VII—два маленькіе печатные листка — и нещрена такими стихами и балагурствомъ, что въ сравненіи съ ними даже Евгений Вельскій кажется чѣмъ-то похожимъ на дѣло. Ни одной мысли въ этой водянистой VII Главѣ, ни одного чувствованія, ни одной картины, достойной воззрѣнія! Совершенное падеше, chute complete! — И порусски и пофранцузски!.. Ну!!! — *Тыи* (Ударяя по столу кулакомъ съ яростью). А! что ты на это скажешь?.. *М.* Что я скажу на это?.. Говорить нечего! Само дѣло говорить за себя весьма ясно.. — *Тыи*. Такъ! Я это зналъ напередъ. Тебя это должно было обрадовать!.. *М.* Какъ оправданіе моихъ предчувствъ и предсказаній—конечно!..

*Тыи*. И ты несколько не трогаешься?.. *М.* Боже мой! Да чѣмъ тутъ трогаться! Я зналъ давно, что этому когда нибудь... а надо будетъ случиться!.. Раненько правда немножко: ну—да шивъ въкъ такой! Шагаетъ исполнски: совѣсть и правду хвостомъ застиластъ, мелкія приличія — перепрыгиваетъ!.. — *Тыи*. Но—валявшись прежде у ногъ *Пушкина*... не умѣвши бывало налюбоваться малѣйшею его строчкою... разсыпавшись всевозможными похвалами и ласкательствами цѣлые *шесть* разъ сряду для *шести* первыхъ главъ *Онѣгина*.. *М.* При *соединеніи* почти отъ трудовъ своихъ и запыль другимъ голосомъ — это тебѣ кажется удивительнымъ!.. Вотъ что право забавно!.. Да *Исторія Государства Россійскаго* — сей великій трудъ, слава, честь и украшеніе Россіи—не *шесть*, а *одиннадцать* \*) разъ была

\*) Не тысячу ли одиннадцать? *Пр. Пастыи.*



предметомъ сѣбнаго, безотчетнаго благоговѣнія; и въ *ови-  
нахъ* — должна была сдѣлаться цѣлю неистоваго остер-  
вененія, замыслившаго воздвигнуть на сея развалинахъ...  
*мѣсто заупокойнаго!*... Великое дѣло — VII Глава Онъ-  
гина?... Ей бы должно было еще гордиться приглашеніемъ  
испытать судьбу творенія — безмернаго, великаго.. пускай  
она се вынесетъ!.. — *Тин.* И отъ кого же? *М.* Стало  
быть — ругательства *Московского Телеграфа* тебѣ кажутся  
почетнѣе ругательствъ *Сивирной Пчелы!*.. Погоди немножко!  
Дойдетъ чередъ и до нихъ.. Флюгеръ этой каланчи уже  
передуло. Мы хотя люди и темные; но понимаемъ довольно  
ясно, кто въ *Телеграфскомъ* райкѣ освистывается подъ  
именемъ *Иустоислѣтова*, изъ поемы коего, именуемой яко  
бы: *Курбскій*—предложены были намъ такіе занимательные  
отрывки!.. Это достойная награда тому, который, бывало  
безотговорочно и безостановочно, ставилъ на заказъ при-  
вѣтныя словечки для друзей и остренькія пикульки для не-  
приятелей всего *Телеграфскаго* окологда!.. Зрѣлище ко-  
нечно поучительное и назидательное! *Sic transit gloria  
mundi!*.. — *Тин.* Провались ты съ своей проклятой Ла-  
тынью! Это ты—всему злу причиною! Отъ тебя сыры боры  
загорѣлись!.. *М.* Отъ меня!.. Извини, любезнѣйшій!.. По  
крайней мѣрѣ я и не думалъ зажигать ихъ... Чего добраго  
можно ожидать отъ этого пожара, кромѣ курнаго дыма,  
который выѣстъ всѣмъ глаза, и черной смолы, которая  
ко всему прилипаетъ и все марать станетъ... Я дождался  
напротивъ спокойно, пока они сами собою посохнутъ и  
переведутся...

*Тин.* И однако не изъ твоего ли арсенала взято ору-  
жіе, коимъ измѣнническая рука замышляетъ поразить *Онъ-  
гина*? Дай мнѣ сюда листокъ! — „И такъ надежды наши  
исчезли! мы думали, что Авторъ Руслана и Людмилы устре-  
мился за Кавказъ, чтобъ напиться высокими чувствами  
Поэзіи, обогатиться новыми впечатлѣніями и въ сладкихъ  
пѣсняхъ передать потомству великіе подвиги Русскихъ со-  
временныхъ героевъ Мы думали, что великіе событія на  
Востокѣ, удивившія міръ и стяжавшія Россіи уваженіе  
всѣхъ просвѣщенныхъ народовъ, возбуждять геніи нашихъ

Постовъ — и мы ошиблись! Лиры знаменитыя остались безмолвными, и въ пустынь нашей Поеззи появился опять Онѣгинъ, блѣдный, слабый... сердцу больно, когда взглянешь на эту безцвѣтную картину!... — Чьи это мысли? Чей языкъ — *traître qui tu es?*...

И отъ мыслей не смѣю отказываться: въ языкъ — уже не вступаюсь! Признаюсь однако искренно, что мнѣ не хотѣлось бы слышать повтореніе ихъ тамъ, гдѣ самая чистая истина тратитъ свою цѣну. Такъ — можетъ быть и правда, что VII Глава *Онигина* хуже прочихъ. Талантъ — особенно не закупоренный печатью истиннаго образования — скоро очень выдыхается. Но — я весьма сомнѣваюсь, чтобы въ сравненіи съ нею *„Стегана Ингелла“* казался чѣмъ-то похожимъ на *опло*. Статеей можетъ, что въ ней нѣтъ „ни одного свѣтлой и глубокой мысли, ни одного теплаго и благовоиннаго чувствованія“ но — чтобы не было — ни одной картины, обаятельной воззрѣнія...“ Это для меня непостижимо! Правда — я не понимаю еще порядочно, что такое значить: картина, обаятельная воззрѣнія. По нашему простому понятію, *воззрѣніе* есть такое дѣйствіе зрительнаго нерва, коимъ совѣстно скушиться даже — для дубочной картинки. Да и давно ли *Стегана Ингелла* стала дорожить своими *воззрѣніями*. Съ какимъ рабскимъ подобострастіемъ *взирали* она еще недавно на самую ничтожную блесстку, кинутую Пушкинымъ въ *Радугу*? Не мерещилось ли ей что она-то одна и составляетъ всю поэтическую лучезарность сего мглистаго метеора?... А теперь!... изъ того же дула — о тѣхъ же вещахъ и какія вѣсти!... Правда — повторяю опять — можетъ быть III Глава слишкомъ уже...

*Гитк.* Увѣрю тебя, что нѣтъ!... совѣмъ нѣтъ!... Прочти только — и ты увидишь, что гени великаго Поэта, представляющаго созрѣлаго чествованія на небоскланѣ отечественной поэзіи, остался и здѣсь себѣ вѣрнымъ! Это перло достойно быть вѣнзаннымъ въ драгоценное ожерелье *Стегана* — честь и красу нашей Поеззи! Пушкинъ, не смотря на пошлѣе жуужканье безжалостной *Ингеллы*, всегда и вездѣ пребываетъ Байрономъ!...

Я. Вотъ-то и дѣло .. зачѣмъ повторяешь ты эти высокопарныя *Телеграфикія* фразы, которыя только что могутъ извѣщать въ глазахъ строгихъ ревнителей истины — это ожесточеніе противъ *Пушкина*? Поднимать выше, нежели гдѣ можно держаться, значить — заставлятъ падать больнѣ!... И сто именно случается теперь съ *Пушкинымъ*, коего талантъ заслуживалъ бы лучшей и почтеннѣйшей участи!... Ты и подобные тебѣ — вы самые лютѣйшіе враги его! Превышающими всякую мѣру хвалебными зывами, вы забросили его за облака и, не ссиливъ поддержать тамъ — уронили въ преисподнюю! Вѣрно плохо вы читали прекрасную басню *Крылова о Пустынникѣ и Монахѣ*, начинающуюся следующими прекрасными, поучительными и назидательными стихами:

Хотя услуга намъ при нуждѣ дорога,  
Но за нее не всякъ умѣетъ взяться.  
Не дай Богъ съ дуракомъ связаться:  
Услужливый дуракъ опаснѣе врага!

*Тамъ. (сердяся).* Такъ тебѣ бы — по твоему... Я. А почему жъ и — не по моему?... Никто, можетъ быть, болѣе меня не возмущается своеволіемъ, съ каковымъ пѣвецъ *Русlands* и *Любимцы* грязнилъ часто лучшія свои изображенія; и однако я первый готовъ сказать и нынѣ и послѣ, что изъ подъ его — истинно *своиравной* — кисти выпадали не рѣдко — не скажу *картины* — *картинки*, на которыя нельзя не засмотрѣться. Талантъ *Пушкина* я признавалъ всегда — *талантомъ* — и какъ больно было видѣть его со-кровище — иждиваемымъ всею... въ угожденіе вѣтренному легкомыслію... на поэмѣшнице здоровому вкусу!... Еще можно было однако надѣяться, что время и опытность утомонять его рѣзвое скаканіе разгульной фантазіи. Пѣвецъ *Русlands* и *Любимцы* могъ выработать изъ себя — Русскаго *Аріоста*. Эта необузданная шаловливость воображенія, помыкающая природою, какъ игрушкою, и уродующая безжалостно ея стереотипныя пропорціи, какъ бы для потѣхи надъ ея не-



дантическою чиновностию и аккуратностию, что могла бы произвести, еслибъ заключилась въ предѣлахъ эстетическаго благоразумія?.. Но... не туго-го было!... По несчастью, юный талантъ былъ замѣченъ слишкомъ скоро, оцѣненъ слишкомъ опростетчиво. Наша добродушная публика при видѣ новаго литературнаго явленія, пришедшагося ей совершенно по плечу—разахалась отъ удивленія; а услужливые прихлебатели, снискивающие себѣ насущное пропитаніе громогласнымъ подтакиваніемъ общему мнѣнію, не упустили переложить эти *ах* и *оах* въ пышные возгласы, составленные изъ высокопарныхъ фразъ, вытянутыхъ со грѣхомъ пополамъ изъ нискозныхъ программъ и журналовъ. Явленіе *Балчугарскаго феминна*—снабженное лихимъ *Предисловіемъ* отъ извѣстнаго Автора *Предисловій* къ пріятельскимъ сочиненіямъ—произвело такую тревогу въ нашемъ литературномъ муравейникѣ, какой не производила въ Германіи *Кюстинъ* *жюль Миссион*. Загорѣлась жестокая война на перьяхъ; и *Предисловіи* изувѣченный смертельно стрѣлами Логикки, извѣстенъ былъ съ поля сраженія подъ шитою *Ладскою Журналъ*, кушивъ однако своей неудачей *Пушкина*—почетное имя *Романтическаго Поэта*. Вскорѣ выстроится *Телесуръ*, зажуужжала *Нисм*. И тотъ и другая наперерывъ старались расхваливать *Пушкина*, дабы прикрыть его *романтическою* славой *антикласическое* невѣжество. Такимъ образомъ слава *Пушкина*—если только можно назвать такъ молву, скитающуюся по гостиницамъ и будуарамъ на крыльяхъ журнальных листковъ, вмѣстѣ съ модами и извѣстіями о *Лебодискиахъ скачкахъ*—слава *Пушкина* созрѣла, прежде нежели онъ самъ успѣлъ развернуться. Его осласили великимъ гениемъ, неподражаемымъ Поетомъ, представителемъ современнаго человечества, Русскимъ *Бафромъ*—вѣроятно прежде еще, чѣмъ онъ узналъ о *Бафромъ*. И кто Богу не грѣшенъ, кто Еввъ не внукъ? можно ли быть слишкомъ строгу и взыскательну къ молодому Поету за то, что онъ имѣлъ слабость—столь простибельную нашей бѣдной человеческой природѣ—повѣрить безразсуднымъ ласкатель-

ствамъ, вокругъ него раздававшимся \*)?... Пушкинъ возвышается еще бесконечно надъ тѣмъ, кои сами себя нахально выдаютъ за Кюльера и Гизотова, думая запугивать общее мнѣніе безстыдною дерзостью. Его задавили дымнымъ куревомъ невыслуженной славы: *обійрѣли* и насильно: и онъ — увлекаясь своей слишкомъ талантливой звѣздой — пачать и въ самомъ дѣлѣ *блѣднѣетъ*... безталанно!... Но — лишь только выбился онъ изъ своей колѣи, какъ и стало кидать его во всѣ четыре стороны.

На славу!

Но камнямъ, рывинамъ: пошли толчки, прыжки!

Дѣвѣй, дѣвѣй! п... бухъ въ канаву!

Прощай прекрасные стихи.

*Тѣмъ*. И ты осмѣливаешься еще говорить — что уважаешь талантъ Пушкина... несчастивецъ! . Я. Да! уважаю! — несравненно болѣе, чѣмъ невѣжды, которые хватаютъ его по наслышкѣ... чѣмъ вертопрахи, которые хватаютъ въ немъ самихъ себя... чѣмъ *блѣднѣетъ*, которые собираютъ жидовскіе проценты съ насмѣхъ похвалъ своихъ, поддерживая на литературной биржѣ курсъ достоинства Пушкина — изъ собственныхъ разсчетовъ и видовъ!... Давно ли слышали мы отъ людей и при томъ глѣхъ, которые бывало криковали больше всѣхъ и громче всѣхъ — давно ли слышали увѣренія, что на Пушкина была... мода и что теперь сія

---

\*. Не одинъ впрочемъ ласкательства слыхатъ онъ, токмо истинны раздаваться и прежде невозможно. Въ В. Г. за 1824 годъ (№ 4, стран. 71), по случаю представленія на театрѣ извѣстной пьесы, подъ пыльнымъ титуломъ кантаты, *Черной шали*, отдана была ей автору болѣе чѣмъ должная справедливость: но тамъ же немилостиво вопросы указывали и настоящее мѣсто ему на Парнассѣ „Гдѣ mons divinité? гдѣ es, magna sonantium?“ Батарей, кажется, немудреная, а какой сильнѣйшій зарядъ электричества мгновенно прѣбѣдалъ тогда черезъ всю фалангу романтиковъ, истинныхъ и мнимыхъ *Прим. одно о посылкѣ*. А за чѣмъ не приложено было Русскаго перевода къ Латинскимъ выраженіямъ? Вѣдь извѣстно было уже и тогда, что *Литинъ* сія нашихъ литературныхъ крикунѣвъ то же, что тарбацкая громамота! *Прим. другого посылтителя*.

*мои* начинаетъ изживать въкъ свой? Не есть ли это торжественное призваніе, что имъ торговали досель, какъ модной вещицею!.. О tempoга!.. Одно только развѣ можетъ утѣшить нашего Поета въ столь унизительномъ оскорбленіи, что оно досталось не одному ему!.. Намъ тоже безъ всякихъ обвиняковъ говорено было, что и на *Наполеона* была *мода*, которая также кончилась. *Мода* на *Наполеона*!.. О стыдъ разума человѣческаго!.. Я весьма далеку отъ того, чтобы сравнивать *Пушкина* съ *Наполеономъ* иначе, какъ только въ шутку: и очень жалю, что позволить себѣ однажды это проническое сравненіе \*), которое теперь перенячело такъ не къ стати и не у мѣста. Не смотря на то, я нахожусь теперь вынужденнымъ сказать, что достоинство *Пушкина*, точно какъ и *Наполеона* — недолжно и не можетъ зависѣть отъ прихотей *моды*!.. *Мода* можетъ быть на *Тегерафѣ*, на *Ивана Выжигина*!.. на *Андрѣя Самойлова* — да и то развѣ въ провинціяхъ!.. Но стихотворческій талантъ *Пушкина* есть сокровище неподдѣльное, съ котораго цѣна никогда спасти не можетъ! Не усиливается только онъ придавать ему фальшиваго блеска насильственной примѣсью веществъ чуждыхъ!.. Ввались опять въ свою колею или свой дорожку: и я увѣренъ, что *Пушкинъ* занграсть опять блестящей звѣздой на горизонтѣ нашей Словесности!.. *Тинн*. Что жь по твоему долженъ онъ теперь дѣлать... *Я*. Развѣируй себя добровольно и добросовѣстно. Сжечь *Гюгю* и — докончить *Онгина*!.. *Тинн*. Такъ по этому *Онгинъ* тебѣ правится... — *Я*. Что идетъ, какъ слѣдуетъ, то не можетъ не правиться!.. — *Тинн*. Ну! слава Богу! По крайней мѣрѣ это гениальное произведеніе... *Я*. Успокойся, успокойся! Совѣтъ не гениальный! Я и не думалъ такъ называть его... *Тинн*. Какъ? *Я*. Да такъ!.. Тфу пропасть! какой безтолковый! Развѣ одно только гениальное можетъ правиться? Мнѣ правится теперешняя твоя прическа, сообщающая головѣ твоей необыкновенный *романтически* рельефъ; и однако — самъ ты вѣрно не назовешь ее гениальнымъ произведеніемъ!.. — *Тинн*.

\*) См. „Вѣст. Европы“ 1860 г., № 2, стр. 164.

(вскакивая). Ты ругаешься надо мною — ты издѣваешься — ты безчестишь *Русскую Словесность!*. Какъ?.. Возможно ли сравнивать поэтическое произведеніе съ прическою... *М.* Почему же не такъ?.. Нынѣ рядятъ Музъ въ *душегрѣйки*: стало быть, можно ихъ и *причесывать*.. И что — если бы мнѣ вздумалось въ какомъ нибудь привилегированномъ *Альманахѣ* наименовать *Онъгина* буколькой... буколькой изъ роскошнаго локона, хотя бы *десятой* — Музы?.. Меня бы занесли за облака похвалами... не правда ли?.. *Тѣмъ*. Буколькой изъ роскошнаго локона десятой Музы — это дѣло другое... Но почему жь одинъ только *Онъгинъ* — а не вмѣстѣ и всѣ другія произведенія *Пушкина*?.. *М.* Потому что въ одномъ *Онъгинѣ* только — постъ Руслана и Людмилы — вижу я талантъ *Пушкина* на своемъ мѣстѣ, въ своей тарелкѣ. Ему не дано видѣть и изображать природу поэтически — съ лицевой ея стороны, подъ прямымъ угломъ зрѣнія: онъ можетъ только мастерски выворачивать ее на изнанку. Слѣдовательно — онъ не можетъ нигдѣ блистать какъ только въ *арабескахъ*. *Русланъ* и *Людмила* представляетъ прекрасную галерею физическихъ *арабесковъ*; *Евгеній Онъгинъ* есть *арабскъ* міра *правдивнаго*... *Тѣмъ*. То-есть — уродъ, говори простѣе... *М.* Именно — уродъ... но образованный эстетически. *Тѣмъ*. Теперь я вижу, что ты уважаешь талантъ *Пушкина*... Вижу... *М.* И странно бы было, еслибъ ты не видѣлъ. Удивительно — право удивительно! По вашему мнѣнію, нельзя иначе выразить своего уваженія къ Посту, какъ присоединивши его къ *Шекспиру*, *Ланту* или *Бафрону*? Какъ будто бы на поэтическомъ ристалищѣ одинъ только сильные могучіе атлеты, съ богатырскою силой и колоссальными мышцами, могли имѣть право на вѣнцы и рукоплесканія!.. *Скарронъ* и *Пирронъ*, *Бурни* и *Артинъ* умѣли смѣшнить поэтически и пригрѣли себѣ порядочное мѣстечко на *Парнаскѣ*. Не говорю уже объ *Аристофанѣ* и *Апулѣ*, *Аристопѣ* и *Вольтерѣ*, *Свифтѣ* и *Виланонѣ* — истощавшихъ гении свой на построенье чудныхъ *зрѣтищевъ*, коимъ долго-долго жить и пережить многія великолѣпныя зданія! Не уже ли жь для пѣвца *Онъгина* оскорбительно, если я предскажу ему ту же



судьбу и ту же славу?.. — *Тимъ, (почесывая затылокъ).* Оно, конечно, такъ... но... *М.* Но? Что еще? *Тимъ.* Но... ты еще не читалъ VII *Главы Олигина*... Тамъ нашелъ бы ты право не арабески... *М.* И тѣмъ хуже... Стало быть, *Нахому* не вѣрять самому себѣ, вѣротомень къ своему таланту. Въ это время послышался тихий шелестъ шаговъ въ мой передникъ. Я обратился къ отворяющемуся медленно двери и бросился обнимать другого неожиданнаго гостя... моего любезнѣйшаго *Нахому Сидича*. Это былъ онъ самъ — своей почтенною персоною.

„Вы ли это, дорогой мой!“ — вскричалъ я, усаживая добраго старика, запылавшагося отъ дальней дороги и высокой лѣстницы.

Кому жь, кромѣ меня! — отвѣчалъ онъ, улыбаясь. — Никто вѣрно не захочетъ мною нарядиться — даже и для домашняго маскарада. Ну, какъ вы поживаете?... — *М.* По-немножку, почтенинѣйшій, по-немножку. А ваше здоровье... здоровье доброи вашей старушки... — *Н. С.* Какъ нельзя лучше по стариковски. Бредемъ тихонько. *М.* Вѣрно однако не отстаете отъ хода дѣлъ любимой вами Словесности...

*Н. С., сотирая потъ съ лица.* Да для этого, кажется, и не нужно особой прыкости... *М.* Вы шутите! *Московский Телеграфъ*, шагая неспешно, едва можетъ за нею угнаться...

*Н. С.* Ахъ! Боже мой! блоха и за черепахою должна прыгать, а все — назади остается!.. *М.* Позвольте однако испытать васъ. Знаете ли вы о приятной литературной новости?

[*III Глава Олигина* явилась... *Н. С.* Я несу теперь ее обратно въ библиотеку *Ширяева*... *М.* О! о! стало быть вы меня уже перетянули. Ходки, *Нахому Сидичъ*!.. И такъ — книжка съ вами — позвольте взглянуть мнѣ по крайней мѣрѣ... *Н. С., вынимая изъ бокового кармана.* Вотъ она!

Вотъ наше литературное *котичко*, котораго мы насилу дождались!.. *Тимъ, (отрешительно внимавъ въ разговоръ).* Такъ, слѣдственно, не мы одни дожидались *Олигина*!.. Слышишь!.. (къ *Нахому Сидичу*). О, почтенинѣйшій! Я не имѣю чести знать васъ! но я васъ уважаю! Я — благоговѣю предъ вами! *Н. С., (улыбаясь).* Благоговѣіе, дешево купленное — дешево и пропадаетъ. Я еще не умѣю объяснить

себѣ, чѣмъ могъ возбудить въ васъ столь высокое чувство...  
*Глѣн.* Вы дожидаетесь *Онъгина* и довольно! . *Я.* (*перевѣр-  
 тывая книжку*). Да кто жь его не дожидался! Признаюсь  
 однако, при видѣ на эту книжечку, мнѣ становится жутко:  
 не обманулись ли полно многія ожиданія! *Надомъ Силень!*  
 Вы изволили прочесть ее. Позвольте угостить васъ *Съвер-*  
*ною Истобою.* — *П. С.* Много доволенъ вашею милостью! Не  
 стоитъ благодарности! *Я.* Но я желаю бы слышать ваше  
 мнѣніе о премѣ, который сдѣлала она *III Главу Онъгина!*  
 Почитайте и — подивитесь! — *П. С.* Я уже читалъ и ди-  
 вился... *Я.* Что же вы однако скажете о хулахъ, которыя  
 на нее изрыгнуты? Имѣютъ ли онѣ *продолжительное* осно-  
 вание? Неужели въ самомъ дѣлѣ эта *III Глава* такъ далеко  
 отстала отъ *истины* прочихъ?... *П. С.* Ничего не бывало!  
*Глава* какъ *Глава!* *Онъгинъ* какъ *Онъгинъ!* *Я.* Стало быть,  
 эти выраженія: ни *одной мысли*, ни *одного чувствованія*, ни  
*одной картины*... *П. С.* Той же пробы и того же достоин-  
 ства, какъ и тѣ, кои ставливались прежде вмѣсто ихъ:  
*съверными Бааронъ, представитель современнаго человечества*...  
*Я.* Но Поезія *Пушкина* и прежде не роскошна была *мы-*  
*слями и чувствованіями*. Развѣ не разбогатѣлъ ли онъ не-  
 давно? Не дался ли ему философскій камень?... *П. С.*  
 Ну! этого непримѣтно. — *Глѣн.* Какъ непримѣтно? Пожа-  
 луйте мнѣ книжку, и теперь слушайте внимательнѣе эту  
 строфу:

Или, не радуясь возврату  
 Погибшихъ осенью листовъ,  
 Мы помнимъ горькую утрату,  
 Внимая новый шумъ лѣсовъ;  
 Или съ природой оживленной  
 Сближаемъ думою смущенной  
 Мы увиданье нашихъ лѣтъ,  
 Которымъ возрожденья нѣтъ?  
 Быть можетъ, въ мысли намъ приходитъ  
 Средь поетическаго сна  
 Иная, старая весна,  
 И въ трепеть сердце намъ приводитъ

Мечтой о дальной \*) сторонѣ,  
О чудной ночи, о лунѣ ..

Это не мысли? Не глубокая поэтическая мысль?.. *И. С.* Что-то похоже на мысли: но — кто пойметъ ихъ? Первое предположение:

Или, не радуясь возврату  
Погибшихъ осенью листовъ,  
Мы помнимъ горькую утрату,  
Внимая новый шумъ лѣсовъ —

завиваетъ въ себя действительно мысль, и мысль оригинальную, представляющую новѣйшій способъ рѣшенія одной изъ труднѣйшихъ задачъ сердца человеческого. Скажу болѣе: отъ ней нишетъ даже *Баифонизмъ*; ибо *Баифонъ* только могъ жалѣть о *веснѣ*, какъ объ *утратѣ зимы*. Но кому удастся скоро добраться до настоящаго ея смысла, сквозь темную чащу словъ, сплетенныхъ такъ неудачно? Второе же — скажемъ словами самого Поэта — есть

.. *старая весна,  
Средь поэтического сна,*

*принимавшая* ему въ *мысли* и заставившая его съ просонья пробормотать нѣсколько невнятныхъ звуковъ, кои исчезли наконецъ въ неудачномъ подражаніи *Дюкловскому*!.. въ давно тертой и истертой *мечтѣ*

о дальной сторонѣ,  
О чудной ночи, о лунѣ...

И кто знаетъ, можетъ быть о той *глухой дунѣ*, которую Поэтъ нашъ видѣлъ нѣкогда на *глухомъ небесномъ*!.. *Нѣтъ!* воля ваша! а *Пушкинъ* — не мастеръ мыслить!.. *Тинн*. А изображение *современнаго человека*? послушайте:

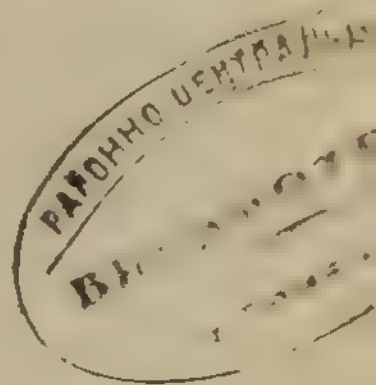
Два-три романа,  
Въ которыхъ отразился вѣкъ,  
И современныи человекъ

\*) Не опечатка ли? *Ир. Соч.*

Изображенъ довольно вѣрно  
Съ его безиравственной душой,  
Себялюбивой и сухой,  
Мечтанью преданный безмѣрно,  
Съ его озлобленнымъ умомъ,  
Кипящимъ въ дѣйствіи пустомъ.

И это не мысль?... *П. С.* Мысль—да не своя. Это общее мѣсто, развитое довольно порядочно. И—только!.. *Тѣмъ.* Такъ вамъ вѣрно бы хотѣлось выслушать здѣсь полный курсъ *Метифизики!* Вспомните, что *Евгеній Онъгинъ* романъ, а не учебная книжка! Душу Поеми составляютъ чувства, а не—мысли... *П. С.* *Безмысленныя чувства!* Это диковинная Поезія... Гдѣ жъ однако сіи драгоценныя рѣдкости! Дайте намъ ими полюбоваться!.. *Тѣмъ.* Извольте слушать.

На вѣтви сосны преклоненной,  
Бывало, ранній вѣтерокъ  
Надъ етой урною смиренной  
Качалъ таинственный вѣнокъ.  
Бывало, въ поздніе досуги,  
Сюда ходили двѣ подружки,  
И на могилѣ при лунѣ,  
Обнявшись, плакали онѣ.  
Но нынѣ... памятникъ унылой  
Забить. Къ нему привычный слѣдъ  
Заглохъ. Вѣрка на вѣтви нѣтъ:  
Одинъ, подъ нимъ, съдой и хилой  
Пастухъ по прежнему поетъ  
И обувь бѣдную плететъ.



2346

Неужели и здѣсь черствая, съ позволенія сказать, душа ваша ничего не слышитъ?... *П. С.* Слышитъ подражаніе прекрасному заключенію прекрасной *Мессии Кашмира Делавиня о Наполеонѣ:*

Et le pêcheur le soir s'y repose en chemin;  
Reprenant ses filets qu'avec peine il soulève,  
Le s'éloigne à pas lents, foule ta cendre, et rêve...  
À ses travaux du lendemain.



Слышишь и—невольно дѣлаешь шагъ отъ *великаго*—къ *сильному*... столько близки, по выражению воснѣваемого *Душевного* героя! И замѣтите, какъ надорвался Поэтъ, разродившись этимъ заимствованнымъ чувствомъ! У него не-доставало духу на цѣлыя двѣ строфы: и вы видите двѣ крупныя Римскія цифры:

## VIII. IX.

означающія очень ярко пустоту, слѣдовавшую за столь чрезмѣрнымъ напряженіемъ. — *Глгн. (разгорячась опять).* Чортъ меня возьми! Такъ зачѣмъ вы ругаете *Свердлову Пчелу*? Воронъ ворону глазъ не выклеиваетъ. Если въ *III Главѣ (Онигина)* нѣтъ ни *мысли*, ни *чувства*; что же есть въ ней?.. *II. С. Картины* и—*картины* прекрасныя. Вотъ что составляетъ истинное достоинство *Пушкина*, неу-ровненное имъ и въ *III Главѣ (Онигина)*!.. *Глгн.* Вашъ пріятель не находитъ однако и *картинъ* у *Пушкина*, а только—*картинки*!..

*II. С. (смотря на меня).* Екой строгая *Аристархъ*! Весь въ батюшку!.. *къ Глгнскому* Но позвольте оправ-дать предъ вами *Николая Аристарховича*. Уменьшение, которое онъ позволилъ себѣ употребить, говоря о *карти-нахъ Пушкина*, означаетъ, можетъ быть, льстивую при-вѣтливость таланту Поэта; но ни сколько не уменьшаетъ его достоинства. На прекрасную *картину* не меньше по-требно мастерства, какъ и—на хорошую *картину*! *Глгн.* Это—лукавая только увертка... не болѣе! Я понимаю очень хорошо васъ и вашего пріятеля... *II. С.* Советъ не увертка. Что есть *Искра*? Живопись Природы!.. Ея до-стоинство слѣдовательно должно состоять въ вѣрности, жи-вости и красотѣ изображеній, въ коихъ она се предста-вляетъ. Но природа есть безпредѣльное зданіе, проникнутое однимъ духомъ во всѣхъ безчисленныхъ частяхъ своихъ. Въ ней вездѣ жизнь—вездѣ Поезія! Величественныя Аль-пы и мшистыя камень—равно говорятъ воображенію: только одинъ нашептываетъ то, что другія проповѣдуютъ веде-гласно. Не въ одномъ только грозномъ рокотѣ грома слы-

шится ехо вѣчной гармонии, одушевляющей вселенную; ухо чуткое чувствуетъ ее и въ щебетаньи ранней ласточки, и въ жужжаньи вечерняго жука, и въ чиликачьи запоздалаго кузнечика. Пусть Поезія изображаетъ намъ вѣрно то, что видитъ и слышитъ въ Природѣ! Будутъ ли то *картины* или *картинки*. . . до формата нѣтъ нужды... *М. Нахомъ Сидичъ! Нахомъ Сидичъ!* Не увлекитесь слишкомъ далеко!.. Я боюсь, чтобы знаменитый мадригалъ *на прыщикъ* *Телли* не заслужилъ отъ васъ названія поэтической миниатюрной *картиночки*... *П. С. „Тубочной“*... почему не такъ?.. Но—и *прыщикъ* можетъ имѣть поэтическое достоинство... не на прекрасномъ личикѣ *Телли*, а на красной рожѣ кухарки *Акинъши*—въ каррикатурномъ зрѣлищѣ: ибо онъ тамъ можетъ возбуждать *поэтический* смѣхъ... основаніе *комическаго* утѣшенія!.. И это ни чуть не низко для Поезіи! Ибо если сама Природа забываетъ иногда свою важную степенность до того, что пародируетъ саму себя подобными уродливостями: то, почему и Поезіи, какъ вѣрному ея зеркалу, не позволить себѣ удовольствія ихъ передразнивать?.. Лишь бы только это удовольствіе было невинно и не выходило изъ должныхъ границъ уваженія, коимъ она обязана всегда Природѣ и самой себѣ!.. Будь Поезія, какъ Природа! Изображай *чирляковъ*, но—*святящихся*, коихъ Природа сама развѣшиваетъ горжественно по древеснымъ листьямъ, какъ бы для потѣшной иллюминации; а—не копайся въ навозъ, чтобы открывать тамъ гнусныхъ насѣкомыхъ, утаиваемыхъ ею самою отъ человѣческихъ взоровъ! Заставляя улыбку высовывать рожки: но не срывай съ нея скорлупы, прикрывающей ея отвратительную уродливость!.. Я буду всегда любоваться подобными *картинками*, сколь ни мелочны онѣ кажутся... *М.* Но какое жь будутъ имѣть онѣ поэтическое значеніе? *П. С.* Значеніе *забавной болтовни*:—и этого довольно! Знаменитый нашъ Поэтъ сказалъ нѣкогда, говоря о *сказкѣ*:

Но все ли одного полезнаго искать?

Для сказки и того довольно,

Что слушаютъ ее безъ скуки, добровольно,

И можетъ иногда улыбку съ насъ сорвать!

Такія сказки, право, дороже иной *Потриш* дѣлаго *Нароман'*. И улынулся горько, начитавши въ этомъ же самомъ номерѣ *Ствершиш* *Нислы* чудную выходку противъ двухъ прекрасныхъ стишковъ, выдернутыхъ изъ *III Главы Оньгина*:

Быль вечеръ. Небо меркло. Воды  
Струились тихо. Жукъ жужжалъ.

Наша *Почта* насмѣшливо называетъ бѣднаго жука, о которомъ здѣсь говорится, новымъ дѣйствующимъ лицомъ Романа, и дожидается, не покажетъ ли онъ крайней мѣры онъ въ себѣ характера'. Бѣдняжкѣ она не примѣчаетъ, что эти два слова:

Жукъ жужжалъ —

обрисовываютъ характеръ новаго дѣйствующаго лица, если только можно такъ назвать бѣдное насекомое, гораздо лучше, вѣришь и любишь, чѣмъ четыре подновленные тома — характеръ *Тимштриса Самуила*. И что есть двѣ строки имѣютъ приличнѣе мѣсто, чѣмъ изводятъ успѣшнѣе дѣйствіе въ *III Главѣ Оньгина*, чѣмъ длинный сѣзодъ *Катриш* въ такъ называемомъ новомъ *Историческомъ Романѣ*. *Тимш*. Но оставьте этого жука въ покоѣ!.. Въ *III Главѣ Оньгина* слышется довольно картинъ набросанныхъ истинно поэтической кистью. Напримѣръ—это описание зимы:

Вотъ съверъ, тучи нагоняя.  
Дохнулъ, завылъ—и вотъ сама  
Идетъ волшебница зима.  
Пришла, рассыпалась; клоками  
Повисла на сукахъ дубовъ;  
Легла волнистыми коврами  
Среди полей, вокругъ холмовъ;  
Брега съ недвижною рѣкою  
Сравнила пухлой пеленою;  
Блеснула морозъ.

Кажется, право, читавъ оду *Державина*.. *II. С.* И тѣмъ хуже для *Нароман'*. Его совсѣмъ не стоить.. И посмо-

трите-ка, на что наконецъ сведено это пышное описание!..  
Пожалуйте мнѣ книжку!..

Блеснулъ морозъ. И рады мы  
Проказамъ матушки зимы!

Вотъ и зашѣлъ опять своимъ натуральнымъ голосомъ!..  
Но за то и пошло лучше!...

Не радо ей лишь сердце Тани.  
Нейдетъ она зиму встрѣчать,  
Морозной пылью подышать  
И первымъ снѣгомъ съ кровли бани  
Умыть лицо, плеча и грудь.

Эта послѣдняя черта—прекрасна! Я узнаю въ ней—  
деревенскую Таню!—Т.м.н. Но не уже ли только... И. С.  
Нѣтъ—не только!.. Двѣ слѣдующія строфы представляютъ  
Фламандскую картину, довольно вѣрно набросанную:

Отъѣзда день давно просрочень,  
Проходитъ и послѣдній срокъ.  
Осмотрѣвъ, вновь обигъ, упрочень  
Забвенью брошенный возокъ,  
Обозъ обычный, три кибитки  
Везутъ домашніе пожитки,  
Кострюльки, стулья, сундуки,  
Варенье въ банкахъ, тюфяки,  
Перины, клѣтки съ пѣтухами,  
Горшки, тазы *et cetera* ???...

Это *et cetera* пора бы и устать повторять безпрестанно!...

Ну, много всякаго добра.  
И вотъ въ избѣ между слугами  
Поднялся шумъ, прощальный плачь:  
Ведутъ на дворъ осьмнадцать клячъ,  
Въ возокъ боярскій ихъ впрягаютъ,  
Готовятъ завтракъ повара,  
Горой кибитки нагружаютъ,  
Бранятся бабы, кучера.  
На клячъ тощей и косматой  
Сидитъ форрейгоръ бородатой.



Сбѣжалась челядь у воротъ  
Прощаться съ барами. И вотъ  
Усѣлся, и возокъ почтенный  
Скользя, ползеть за ворота.

Ну, право, хорошо? .. Но—драгоценнѣйшее сокровище всей этой *III Главы* есть безъ сомнѣнія—*описание Москвы*, которое, правду сказать, одно и составляетъ всю ея поэтическую *реальность*. Это описаніе сдѣлано истинно—*Гоголевски!* Талантъ *Пушкина* здѣсь именно—въ своей тарелкѣ! Каковъ, напримѣръ, сталъ первый *coup-d'oeil*, брошенный имъ на эту *большую деревню!* ..

Уже столпы заставъ  
Бѣлѣютъ; вотъ ужъ по Тверской  
Возокъ несется чрезъ ухабы,  
Мелькаютъ мимо будки, бабы,  
Мальчишки, лавки, фонари,  
Дворцы, сады, монастыри,  
Бухарцы, сани, огороды.  
Купцы, лачужки, мужики.  
Бульвары, башни, козаки,  
Аптеки, магазинны моды,  
Балконы, львы на воротахъ,  
И стая галокъ на крестахъ.

Не такъ же ли точно пестрѣтъ у насъ въ глазахъ, какъ если бы мы въ самомъ дѣлѣ мчались по *Тверской* съ *Гансю*? Не представляетъ ли его Вавутонское смѣшеніе безпорядочныхъ и безсвязныхъ словъ—живой образъ нашей старушки? .. Или далѣе, потрудимся завернуть вмѣстѣ съ *Таней* въ *переулокъ къ Харитонью!*

Къ старой теткѣ,  
Четвертый годъ больной въ чахоткѣ,  
Онѣ пріѣхали теперь.  
Имъ настежь отворяетъ дверь,  
Въ очкахъ, въ изорванномъ кафтанѣ,  
Съ чулкомъ въ рукѣ, съдой калмыкъ.  
Встрѣчаетъ ихъ въ гостиной крикъ  
Княжны, простертой на диванѣ.  
Старушки съ плачемъ обнялись,  
И восклицанья полились.

Истинно удивительное зрѣлище!.. А привѣтственная рѣчь доброй тетушки?

Охъ, силы нѣтъ... устала грудь...  
 Миѣ тяжела теперь и радость,  
 Не только грусть... душа моя,  
 Ужъ никуда не годна я...  
 Подъ старость жизнь такая гадость...  
 И тутъ, совѣмъ утомлена,  
 Въ слезахъ раскашлялась она.

Право—самъ раскашляешься здѣсь невольно!... Но — *plus ultra* каррикатурнаго изящества есть пародіальное изображеніе блаженной неизмѣняемости *Московскихъ анимировъ*, запоздавшихъ отъ послѣдняго столѣтія:

У тетушки княжны Елены  
 Все тотъ же тюлевой чепецъ;  
 Все бѣлится Лукерья Львовна,  
 Все тоже лжетъ Любовь Петровна  
 Иванъ Петровичъ также глупъ,  
 Семень Петровичъ также скупъ;  
 У Пелагеи Николаевны  
 Все тотъ же другъ, мосье Финмушъ;  
 И тотъ же шпигъ, и тотъ же мужъ;  
 А онъ, все клуба членъ исправный,  
 Все также смиренъ, также глухъ,  
 И также ѣсть и пьеть за двухъ.

Прелестно! безподобно!.. Вотъ гдѣ надобно видѣть *Москву*, а не—въ литературныхъ *выжигахъ*... *И.* Но—какое отношеніе имѣютъ всѣ эти изображенія къ *Евгенію Онъгину*?.. На своемъ ли они здѣсь мѣстѣ?—*И. С.* Очень на своемъ! Прочитайте епіграфъ, избранный *Пушкинымъ* для *стой III Главы*:

Москва, Россіи дочь любима!  
 Гдѣ равную тебѣ сыскать?

Вотъ текстъ, на который Постъ хотѣлъ проповѣдывать! И не выполнилъ ли онъ предположенной себѣ задачи... Наши *Писатели* пропустили это безъ вниманія; и — пустились

отыскивать... *вчѣрашняго оня!*.. Его любимое обыкновеніе всѣхъ неумытыхъ... Я хотѣлъ сказать — неумытыхъ... критиковъ *Улья* и *Калачи*, вояющихъ при подошвѣ нашего Парнасса!.. На Поета не больше должно взыскивать, какъ сколько обязался онъ самъ сдѣлать. *III Глава Онъ-гина* назначалась самымъ творцемъ своимъ — повертѣть предъ нами *Москву* въ поэтическомъ калейдоскопѣ: это и—сдѣлано, какъ нельзя лучше... *И Но Евгений Онъгинъ* названъ *Романомъ*. Гдѣ жь дѣйствіе...—*II. С.* Это правда! Имя здѣсь не соотвѣтствуетъ дѣлу.

Но—что намъ нужды до названья?

Въ наши времена именами не очень какъ-то дорожатся. Развѣ не видимъ мы бездушныхъ глыбъ, не имѣющихъ ни жизни, ни движенія, величаемыхъ пышными названьями *Романовъ Историческихъ*? Развѣ не суждено намъ было изломить глазъ о безобразнѣйшую и уродливѣйшую комбинацію, нареченную даже великимъ именемъ *Истории*? И такъ пусть *Онъгинъ* величается названьемъ *Романа* такъ и быть ужь!.. какъ ни зовись — лишь знай свое дѣло!.. *И. Но* что же онъ въ самой вещи?... *II. С. Евгений Онъгинъ*?.. На мои глаза — это рама, въ которую нашему Поету за-благоразсудилось вставить свои фантастическія наблюденія надъ жизнью, представлявшіеся ему — не съ степеннаго лица, а съ смѣшной изнанки! Сама рама смастерена неудачно; но *картинки*, вставляемыя въ нее, болѣею частью — прелестны!.. Онѣ производятъ вполне эффектъ, требующійся отъ подобныхъ поэтическихъ бездѣлокъ. Ихъ можно слушать—

безъ скуки, добровольно;

И могутъ *завсегда* улыбку съ насъ сорвать!..

а иногда—и полны сардоническій хохотъ!.. Пусть Поетъ нашъ продолжаетъ глумить насъ съ такимъ, ему одному свойственнымъ, искусствомъ! Его ни мало не унижаетъ его таланта! Гдѣ жизнь окисаетъ и плѣснѣетъ, тамъ Поэзія

имѣеть полное право морщиться и гримасничать!.. И - я признаюсь охотно, искренно, что дожидаясь *сими* новыхъ *Глазъ Олигина* съ большимъ нетерпѣніемъ и надѣюсь отъ нихъ большаго удовольствія—даже большей чести нашей литературѣ чѣмъ отъ *боиннаоцини* толстыхъ грудъ *сумбуру*, посвященнаго *Нибуру*!.. Тутъ подали намъ чай, и—разговоръ обратился на несчастное сумасшествіе *Нибура*, грозившее было ему въ самое время пожалованія въ *первыя Историки нашего вѣка*. *Тльнскій* окружалъ себя безпрестанно густыми облаками табачнаго дыма; но—на лицѣ его видны были слѣды стыда и униженія. Примѣта добрая!..

Н. Надеждинъ.

Съ Патріаршихъ прудовъ.

\* \* \*

\*) *Бахчисарайскій фонтанъ*, соч. А. С. Пушкина, напечатанъ уже третьимъ изданиемъ: форматъ одинъ съ мелкими стихотвореніями того же Автора, вышедшими въ двухъ частяхъ въ С.Пб. 1829. Издатели не помѣстили прежняго предисловія, теперь уже не необходимаго, но въ свое время возбудившаго жаркіе споры. Въ немъ князь П. А. Вяземскій первый выказалъ всю смѣшную сторону такъ называемыхъ у насъ классиковъ, первый поднялъ знамя умной и благомыслящей критики. Въ замѣнъ сей убили, прибавлень, въ вышнѣ изъ занимательнаго путешествія по Тавридѣ П. М. Муравьева-Апостола, отрывокъ письма самого Сочинителя къ Д... , въ которомъ читатели увидягъ, какъ часто первая впечатлѣнія, прозаически скользя по душѣ, нечаянно послѣ разгораются въ ней огнемъ вдохновенія и созрѣвають до высокой Поезії. - Мы читали и перечитывали и въ третьемъ изданіи *Бахчисарайскій фонтанъ*. Человѣкъ, не лишенный чувства изящнаго, не устанетъ читать

\*) „Литературная Газета“ 1830 года, томъ I, № 22 (Рецензія подъ заглавіемъ: „Бахчисарайскій фонтанъ“. Сочиненіе Александра Пушкина. Изданіе третье—Спб. въ типогр. Департ. Народ. Просвѣщ 1830 (46 стран. въ 8-ю д. л.).



подобныя сочиненія, какъ охотникъ до жемчугу пересматривать богатое ожерелье. Въ каждый новый разъ удовольствие усугубляется, потому что все болѣе и болѣе убѣждаешься въ неподдѣльной красотѣ своей драгоцѣнности. Пушкинъ въ сепъ поэмъ достигъ до неподражаемой зрѣлости искусства въ поэзии выраженій, а въ сценѣ Заремы съ Маріей уже ясно обнаружилъ истинное драматическое дарованіе, съ большимъ блескомъ въ послѣдствіи развившеся въ трагедіи: *Борисъ Годуновъ* и въ исторической поэмѣ: *Полтава* \*).

Изъ „Литературн. Газетъ“.

1831 г.

\*) *Борисъ Годуновъ*. Сочиненіе Александра Пушкина. С.-Пб. 1831 г. въ т. Дел. народн. просвѣщенія, т-3, 142 стр.

Давно ожидаемое твореніе Пушкина, наконецъ, предъ судомъ публики. Поэтъ не называетъ его ни *трагедією*, ни *драмой*, ни *историческими* словами. Онъ конечно знаетъ, что онъ писалъ, но, кажется, хочетъ посмотрѣть, что придумаютъ другіе, опредѣляя, сущность его творенія. Вотъ любопытная задача для русской критики! Тѣмъ, которые слышали, что Пушкинъ написалъ *трагедію*, скажемъ, что издавши имъ нѣмъ *Борисъ Годуновъ* есть то самое, что называли имъ, по слухамъ, *трагедією*.

\*) Событія вошли еще при редакціи, появившіяся въ 1830 году, въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ № 79 (о *Лаврентіи Овчинникѣ*), въ „Сѣверномъ Меркуріи“, № 55, стр. 17—21 (о *Николаѣ о соборникѣ наикомыхъ, ит-рама*); 1. Пушкинъ, помянувши въ *Послѣдствіяхъ*“), въ „Домомъ Журналѣ“, ч. 30, № 20, стр. 103—111 (о *Лаврентіи Овчинникѣ*). — Въ 1830 году появились статьи, относящіяся къ биографіи А. С. Пушкина въ слѣдующихъ изданіяхъ: „Галлѣя“, ч. 17, № 35, стр. 193—200 (Некрасовъ); В. А. Пущинъ „Московскы Вѣстникъ“, ч. 2, № 6, стр. 201—204 (Письмо къ издѣлю „Московского Вѣстника“), Статья С. Аксакова, „Сѣверныи Меркуріи“, № 27 (А. М. Фоминъ), просивши меня пригласить съ редакціи А. С. Пушкина: „Блгоуи Овчинникъ“, Сп-хотвореніе В. Р.).

Примѣч. В. Зелинскаго.

\*) „Московский Голосъ“ 1831 г., т. 37, № 20 („Русская литература“).

Если огъ насъ требуютъ читатели мнѣнія о *Борисѣ Годуновѣ*, скажемъ прежде всего, что мы желали бы объяснить наше мнѣніе не въ краткихъ словахъ, но въ разборѣ подробномъ.

*Бориса Годунова* можно обозрѣвать въ двухъ отношеніяхъ. Первое, какъ произведеніе Пушкина. Русскаго либреттора, Русскаго поэта. Съ этой стороны, *Борисъ Годуновъ* есть великое явленіе нашей Словесности, шагъ къ настоящей Романтической Драмѣ, шагъ смѣлый, дѣло дарованія необыкновеннаго. Нужно ли прибавлять, что Пушкинъ становится имъ, уже рѣшительно и безспорно, выше всѣхъ *современныхъ Русскихъ поэтовъ*; имя его дѣлается послѣ сего причастно небольшому числу великихъ поэтовъ, донынѣ бывшихъ въ Россіи, и между ними горитъ оно яркою звѣздой.

Но, бывши Русскимъ, бывши современнымъ, Пушкинъ принадлежитъ въ то же время вѣкамъ и Европѣ. Вотъ второе отношеніе, въ которомъ должно разсматривать „*Бориса Годунова*“. Здѣсь получаетъ онъ, безъ сомнѣнія, почетное мѣсто, но только какъ надежда на будущее, болѣе совершенное. Первый опытъ Пушкина въ семъ отношеніи не удовлетворяетъ насъ; первый шагъ его смѣлъ, отваженъ, великъ для *Русскаго поэта*, но не полонъ, не вѣренъ для поэта нашего вѣка и Европы. Можемъ теперь видѣть, что въ состоянн сдѣлать въ послѣдствіи Пушкинъ, этотъ ознаменованный небеснымъ огнемъ истинной Поэзіи человекъ; но въ „*Борисѣ Годуновѣ*“ онъ еще не достигъ предѣловъ возможнаго для его дарованія. Языкъ Русскій доведенъ въ „*Борисѣ Годуновѣ*“ до послѣдней, по крайней мѣрѣ въ наше время, степени совершенства; сущность творенія, напротивъ, запоздалая и близорукая: и могла ли она не быть такою даже по исторической основѣ творенія, когда Пушкинъ рабски влекся по слѣдамъ Карамзина въ обзоръ событій, и когда, посвященіемъ своего творенія Карамзину, онъ невольно заставляетъ улыбнуться, въ дѣтскомъ какомъ-то раболѣпствѣ называя Карамзина — Богъ знаетъ чѣмъ! Это дѣлаетъ честь памяти и сердцу, но не философіи Поэта!

Обо всемъ этомъ постараемся поговорить подробнѣе.

Изъ „*Моск. Телеграфа*“.

1) *Борисъ Годуновъ. Сочиненіе Александра Пушкина.*  
*Санктпетербургъ 1831 г.*

Мы прочли въ первый разъ *Бориса Годунова* очень бѣгло, удовлетворяя одному только любопытству, столь сильно возбуждаемому каждымъ сочиненіемъ Пушкина, но въ особенности „Борисомъ Годуновымъ“, о которомъ такъ давно и такъ много слышали и слышимъ. Мысли и впечатлѣнія волновались въ головѣ и душѣ нашей, подобно легкому челноку на безбрежномъ океанѣ, не представляющемъ *никакой пристани*.

Надлежало возобновить путь, съ тѣмъ чтобы непременно ввести умъ и чувство въ желанную пристань, и мы имѣли удовольствие воскликнуть: *берегъ! берегъ!*

Такъ! прочитавши „Бориса Годунова“ въ *другой* разъ, уразумѣнъ и почувствованъ достоинство сего необыкновеннаго творенія. Оно не подходитъ подъ обыкновенные вопросы о родѣ, о формѣ и проч. и проч. Нѣтъ! на немъ лежитъ особенная, или, лучше сказать, собственная печать, подобная Микель-Анджеловой печати на безсмертномъ куполѣ знаменитаго Римскаго храма — печать таланта неустрашаемаго, всемогущаго!

Вмѣсто *выписокъ*, мы приглашаемъ *взмотрѣться* въ сердца и умы дѣйствующихъ лицъ; въ колоритъ и перспективу картинъ общихъ и частныхъ; въ тайныя пружины страстей и намѣреній, въ основу и разноеобразіе положеній, уготовляющихъ великія происшествія; въ глубину и отѣнки характеровъ, тонкими или рѣзкими чертами отдѣляющихся одинъ отъ другаго; въ неожиданность случаевъ, кажется, не Авторомъ, но самимъ жребіемъ предназначенныхъ; наконецъ, въ языкъ, столь соотвѣтственный времени и столь свойственный каждому на той сценѣ, которую онъ занимаетъ — однимъ словомъ: кто прочтеть наскоро и только *онаяжон* Бориса Годунова и станетъ судить о немъ *решительно*, тотъ мо-

1) „Дамскія Журналы“ 1831 г., т. 33, № 6. Статья Платона (К. Шаликова).

жетъ во многомъ легко ошибиться. Въ противномъ случаѣ каждый безпристрастный читатель скажетъ вмѣстѣ съ нами: „Одно только непостижимое воображеніе гениевъ творить *такимъ образомъ!*“

Смѣшно? а? что? что-жь не смѣешься ты?

спрашиваетъ Годуновъ у Шуйскаго въ такую минуту, когда *всякій другой вопросъ*, или вопросъ, иначе выраженный, былъ бы гораздо несовершеннѣе, и менѣе означилъ бы Годунова, Шуйскаго и семнадцатое столѣтіе

Любовь, любовь ревнивая, слѣпая,  
Одна любовь принудила меня  
Все высказать.

говоритъ Маринѣ, прелестной Маринѣ, сластолюбивый Самозванецъ въ тайномъ свиданіи съ нею.

Чѣмъ хвалится безумецъ!  
Кто требовалъ признанья твоего? и проч.

сказала дочь Мишишка Лжецаревичу.

Намъ кажется, что довольно сихъ двухъ примѣровъ для поясненія нашихъ мыслей о семъ твореніи, достойномъ драгоцѣнной для Россіянъ памяти Николая Михайловича Карамзина, которой оно посвящено благодарнымъ Сочинителемъ.

„Но когда дойдетъ дѣло до *классификаціи* Бориса Годунова,—между какими же сочиненіями помѣститъ его?“ Вотъ нашъ отвѣтъ:

Когда Лашюсс ввелъ новый родъ комедій (*comédie mixte*) во Французскій театръ, подъ именемъ драмы; то чрезвычайное множество критиковъ того времени взирало на нее, какъ на искаженіе искусства. Но столѣтній успѣхъ драмы доказалъ, что ея достоинство зависѣло не отъ новосты и моды, которыя во всякое время и во всякомъ родѣ весьма могущественны, но не надолго—и драма не осталась *безпримѣнною*. Напротивъ того, все Европейскіе театры, какъ извѣстно, приняли *ораву* въ свои объятія. Останется ли



новынъ *роотъ* сочиненія, вышедшій изъ-подъ магическаго пера, безъ послѣдователей? и *Борисъ Годуновъ* будетъ началомъ новой классификаціи.

*Извѣстїя „Дачскаго Журнала“ (К. Шапковъ).*

\* \* \*

\* *Разговоръ о Борисѣ Годуновѣ А. С. Пушкина.*

*Онъ.* Читали-ль вы Бориса Годунова?

*Я.* Читалъ.

*Онъ.* Я и самъ читалъ его; но и теперь еще не знаю, какъ онъ писанъ: стихами или прозою?

*Я.* И стихами, и прозой, и чѣмъ вамъ угодно. Мы теперь не называемъ *стихами* выраженїи, предназначенныхъ числомъ условленныхъ сѣговъ. Пишите прозой или стихами, и вы достигнете своей цѣли, если перо выразитъ душу; если сочиненіе ваше не исказитъ природы и если сердце ваше передаетъ сердцамъ другимъ чувствованія пламенные дѣсныя и тѣ величественныя мысли, которыя *Лонгинъ* называетъ звуками и отголосками души возвышенной.

*Онъ.* Вы упоминаете о *Лонгинѣ*. Но, вѣдь, и *Лонгинъ* предлагалъ правила?

*Я.* Нѣтъ! онъ только отдавать себѣ отчетъ въ томъ, какъ дѣйствовали на него выраженія необычайныя и величественныя, принадлежащая душѣ и сердцу, а не правиламъ схоластическимъ. Вотъ его слова. „Мы переселяемъ въ произведенія свои внутреннюю мысль, внутреннее чувство, и—*внѣшное*“, такъ сказать, есть звукъ, издаваемый душой великой“.

*Онъ.* Такъ, по вашему мнѣнію, правила вовсе ненужны?

*Я.* *Монтеスキ* радуется, когда въ обществѣ другіе говорили, а онъ могъ молчать и не тратить словъ, которыя часто вѣтръ тогда же разноситъ, когда произносимъ ихъ.

—

„Дачскъ Журналъ“ 1831 г., ч. 33, № 19. Статья Мешаева (С. Гленка).

А потому, вмѣсто собственнаго моего отвѣта, предложу вамъ то, что *Вольфръ* сказалъ о правилахъ.

„Почти все искусство“, говоритъ онъ, „обременены безчисленными правилами, по большей части ложными и бесполезными. Вездѣ видимъ уроки, а образцовъ почти нигдѣ. Всего легче умствовать о томъ, чего самъ не сдѣлаешь! На одного поэта есть сто пистикъ. Видишь множество учителей злоквѣстныхъ, а ни одного оратора. Вездѣ критики, вездѣ истолкованія и перетолкованія, вездѣ опроверженія и развенчанія, и все для того, чтобы запутать, затемнить то, что само по себѣ и проста и ясно“. Говоря о томъ же предметѣ, остроумный *Сюръ* сказалъ: „Геній подобенъ Гуливеру, опутанному *Тилингушани* во время сна его: онъ проснулся, привсталъ и разорвалъ паутинныя оковы, которыя карликами почитались за канаты“.

*Онъ*. Согласенъ и несогласенъ. Вы такъ меня засыпали *цитатами*, что я и опомниться не успѣлъ. Но къ какому разряду, къ какому роду Словесности принадлежитъ „Борисъ Годуновъ“?

*Я*. Не знаю. Это тайна А. С. Пушкина. Онъ не называть произведенія своего ни трагедіею, ни драмою и никакимъ извѣстнымъ именемъ, относящимся къ драматическимъ сочиненіямъ. Но дѣло не объ имени, а о томъ: видите ли вы старину; видите ли тѣ лица, которыя тогда дѣйствовали; слышите ли вы ихъ рѣчи? прошедшаго нельзя переименовать. Слѣдственно: если Пушкинъ силою очарованія такъ увлекъ васъ въ прошлое, что вы на время забыли настоящее; то онъ, какъ мнѣ кажется, достигъ цѣли своей.

*Онъ*. И на это не дамъ рѣшительнаго отвѣта. У насъ такъ много наговорено о классицизмѣ и о романтизмѣ, что я не знаю, къ чему пристать?

*Я*. Къ тому, куда сердце поведетъ.—Свободныя искусства потому названы свободными, что они позволяютъ наслаждаться тѣмъ, что кому нравится, а откладывать въ сторону то, что заставляетъ зѣвать.

*Онъ*. Признаюсь, что Пушкинъ такъ быстро увлекалъ

меня за собою летучими своими переходами, что мнѣ нѣкогда было и передохнуть, и зѣвнуть.

И. Слѣдственно, онъ достигъ своей цѣли.

Онъ. Слѣдственно...

Тутъ пришли ко мнѣ новый романъ: *Киргизъ-Кансакъ*. Пріятель мой ушелъ, и я принялся читать и, при всей охотѣ моей къ раннему сну, зачитался до зари утренней. Еслибъ мой пріятель спросилъ у меня мнѣніе мое о *Киргизъ-Кансакѣ*, то, по привычкѣ къ *ситуациямъ*, я отвѣчалъ бы ему словами *Писателя*, котораго никто еще не причислялъ къ *романикамъ* „У сердца“, сказали онъ, „есть такіе доводы, которыхъ умъ не понимаетъ“.

Вотъ вся тайна романтизма.

*Мечтатель (С. Глинка).*

\* \* \*

\*) *Борисъ Годуновъ. Сочиненіе Александра Пушкина.*

Твореніе первокласнаго Поэта, обращающаго на себя вниманіе отечественной и иностранной публики, достойно подробнаго, основательнаго, во всѣхъ отношеніяхъ обдуманнаго разбора, а на это надобно время вотъ почему мы донынѣ не печатали разсмотрѣнія сего новаго блистательнаго произведенія. Одинъ просвѣщенный любитель Литературы доставилъ намъ на сихъ дняхъ разборъ „Бориса Годунова“; но какъ статья его вышла весьма пространная, и заняла бы въ Сѣверной Пчелѣ нѣсколько номеровъ сряду, то мы и рѣшились напечатать ее въ Сынѣ Отечества. Начало ея появится въ 24-й книжкѣ сего Журнала.

*Изъ „Сѣверной Пчелы“.*

\* \* \*

\*) Литературные преобразователи, подобно политическимъ, бывають двухъ родовъ, одни дѣйствуютъ по вну-

\*) „Сѣверная Пчела“ 1831 г., № 133. „Новыя книги“.

\*\*) „Сынъ Отечества“ 1831 г., т. 20, часть 142 и 143, №№ 24, 25, 26, 27 и 28. Стихъ В. Писателя, гдѣ онъ говоритъ о произведеніи А. С. Пушкина: *Борисъ Годуновъ*.”

тренируемъ голосу тенія, по призванію; и хотя такъ, что не въ силахъ противостоятъ сему беззаконному, вѣчно алчущему дѣлу духу, но во всѣхъ ихъ начинаніяхъ, дѣлахъ и преобразованіяхъ видна сила предвѣдѣнія, свободное избраніе. Такъ дѣйствовали великій Ломоносовъ; такъ щель по слѣдамъ его менѣе сильный, съ меньшею смѣлостію, но кажется, съ большею увѣренностію, Карамзинъ; такъ дѣйствовали недовѣрчивыи къ могущей тѣмъ своему В. А. Жуковскіи. Другіе развиваютъ свои силы и направляютъ ихъ беззаботно, не думая о своемъ великомъ назначеніи, о призваніи жить и дѣйствовать для челоуѣчества, вести его въ дѣлѣ совершенствованія. Первые имѣютъ свои постоянный характеръ: ихъ совершенства суть попопченія того, чего недоставало челоуѣчеству и къ чему оно уже готово; ихъ ошибки и заблужденія носятъ печать современности и мѣстности; — а поспѣшнѣе равно постоянны, безъ характерны въ совершенствахъ своихъ и недостаткахъ, ихъ самое величье нерѣдко кажется чудовищнымъ, часто остается незамѣченнымъ; ибо тамъ господствуетъ воля твердая, непоколебимая и произвольная подчиненность принятымъ однажды навсегда правиламъ; здѣсь — прихоть, мелочные и ничтожные случаи, физическая необходимость, деспотизмъ вѣншихъ обстоятельствъ. Заслуги первыхъ мы принимаемъ съ благодарностію благодаримыхъ: ошибки прощаемъ, какъ неизбежныя слѣдствія слабости челоуѣческой природы; онѣ столь же поучительны, какъ долгъ, неожиданно запачканныи; на ихъ безполезныя ошибки смогримъ, какъ на похищенія, ибо чувствуемъ часто безъ сознанія — что талантъ является на службу челоуѣчеству.

Я не хочу опредѣлять мѣста А. С. Пушкину въ ряду образователей нашей Литературы, потому что не пишу характеристики сего Поэта, а только думаю по возможности оцѣнить последнее его произведение: *Борисъ Годуновъ*, и въ томъ только мѣрѣ буду касаться общаго духа сего Поэти, сколько оный проявляется въ семъ произведеніи. — Читатель увидитъ, когда сей Поэтъ возвышается даже надъ первыми, и когда падаетъ до послѣднихъ. Но тѣмъ не менѣе нахожу приличнымъ показать здѣсь гла-



ную заслугу Г. Пушкина относительно языка, и какъ полезное, такъ и вредное его влияние въ нашей Литературѣ. Онъ и самъ И. А. Крыловъ, въ своемъ родѣ, по всей справедливости можетъ назваться первымъ народнымъ поэтомъ, въ полномъ смыслѣ этого выраженія. Всѣ ихъ предшественники, Классики и Романтики, писали для немногихъ, для высшихъ только сословій: самые Баснописцы всегда употребляли языкъ книжный. И. А. Крыловъ *Басни*, а потомъ А. С. Пушкинъ *Поэмы* начали писать такъ, что одно и то же произведение и вельможа и простолюдинъ читаютъ съ равнымъ удовольствіемъ. Г. Пушкинъ не старается, такъ сказать, *офидиптизовать* Русскихъ витязей: онъ умѣлъ найти черты изящества въ нихъ самихъ; онъ не старается, подобно В. А. Жуковскому, обогащать Русскій языкъ новыми оборотами, а разрабатываетъ богатый, неисчерпаемый рудникъ языка народнаго; онъ матеріальную часть нашего языка знаетъ лучше всѣхъ другихъ Писателей: его можно назвать окончательнымъ образователемъ высшей стороны нашей Поэзии, онъ въ сладкозвучии стиховъ превзошелъ даже Батюшкова. Но, съ другой стороны, большая часть его Поэмъ отличается бѣдностью содержания, недостаткомъ единства идеи, цѣлости, *поэтической поэмы*, а часто смѣлость и удалство героев замѣняютъ *оубѣдѣнъ*. Эти недостатки, не всегда замѣняемые въ немъ по причинѣ прелести формъ, вошли въ моду у второстепенныхъ и мелочныхъ Поэтовъ, и многие значительные таланты сдѣлались отъ сего подражанія смѣшными.

Лучше наши Критики давно отдали ему вѣнокъ первенства предъ всеми Русскими повѣвшими Поэтами: противъ этого не могу ничего сказать; всѣ назвали его гениемъ, — противъ сего еще менѣе можно спорить, но думаю, время рѣшить вѣрнѣе настъ: ни голосъ друга, ни голосъ врага не пробьется сквозь тьму вѣковъ; ни злопамфлетная дѣсь, ни хлилая завѣсть, ни усердное невѣжество не уменьшатъ и не увеличатъ силы истиннаго таланта. Гений есть некрабовѣдства: дѣла его суть, какъ бы ревность къ мощной творящей природѣ, съ которою онъ находится въ непрерыв-

ной борьбѣ, въ какомъ-то непрестанномъ дружественномъ спорѣ; въ произведеніяхъ своихъ онъ простъ, но простота его недосыгаема, — она всегда имѣетъ свою особенность; онъ свободенъ, но его свобода подчинена вѣчной идеѣ изящества, оживленной стройностію цѣлаго, величественною доблестію; его произведенія возвышаютъ духъ и радуютъ сердце бытіемъ своимъ; онъ небреженъ, но самая небрежность его разливаетъ какую-то сладость. Воспламенившіеся предметомъ, онъ не думаетъ объ извѣстномъ классѣ читателей: онъ осуществляетъ свою идею, дабы плынуть *человѣка!* Гений не всегда чуждъ своскорыстныхъ видовъ, но никогда не забываетъ челоуѣчества, коое онъ есть представитель и на службу коое явится, ибо самому себѣ принадлежитъ только своими страстями, чувствами, тѣмъ, что въ немъ есть обыкновеннаго. Онъ увлекаетъ за собою свой вѣкъ, или по крайней мѣрѣ *нцію*. И такъ, если гений Поэта не принадлежитъ ему *самому*, если Поэтъ не имѣетъ права направлять его къ мелочамъ житейскимъ расчетамъ, не можетъ употреблять его какъ игрушку, — что же есть Поэзія? Назовемъ ли ее *стопомырною рѣчью*? Это значитъ назвать безцвѣтные, безхарактерные, безжизненные очерки, являющіеся только въ двухъ протяженіяхъ, Живописью! Не есть ли она стремленіе *пообразовать природу*? Нѣтъ! Тогда бы она не отличалась отъ Прозы, которая выражаетъ чувственные представленія и умозрѣнія, возбуждаемые дѣйствительною природою, съ которою они имѣютъ сходство. Прозанкъ идетъ по слѣдамъ природы: списываетъ, подражаетъ, находится подъ влияніемъ дѣйствительности. Поэтъ чувствуетъ, что самыя изящнѣйшія произведенія природы суть чувственно-несовершенны, ибо они существуютъ не для себя, не какъ отдѣльныя, самостоятельныя, но *необходимо нужны* для цѣлости *всей нціи*, которая необозрима, слѣдовательно, неоцнѣяема, и притомъ всякая часть природы первоначальною цѣлю имѣетъ назначеніе житейское, прозанческое, слѣдовательно, является какъ издѣліе ремесла. Посему духъ Поэта, преобладая надъ природою, побуждаетъ его къ преобразованію сей послѣдней, къ произведенію существъ идеальныхъ, чув-

ственно совершенныхъ, которыя самыми недостатками, отсутствиемъ сущности, малообъемлемостью, прозрачностью, какъ, напримѣръ, въ *Живониси прелье проияте*, въ *Поэзи оиджитъ*, прельщаютъ насъ; и въ семъ-то отношеніи Поэзія выпрыгиваетъ въ споръ съ природою.

Но имѣя надобности здѣсь различать Художество отъ Поэзіи, и сію послѣднюю раздѣлять подробно и точно, по родамъ предметовъ и способамъ изложенія, я однако почитаю необходимымъ для моей цѣли опредѣлить Поэзію Драматическую, и отличить ее отъ всякой дрѣлой Художества, какъ Искусства вещественно изящнаго, оспаривающа въ твореніяхъ своихъ и природу вещь-вещную, постепенность которой ясно отражается въ постепенномъ переходѣ ихъ отъ *Нюансовъ до Живониси Пестричскою*; а Поэзія, какъ Искусство идеальное, развивается по степенямъ духовной жизни человѣка: чувствованія извиваются въ *Лиричскомъ Поэзи*, изображенія мечтательнаго минувшаго въ *Лепнѣ*, прекраснѣе помислы о дѣлахъ житейскихъ и нравственныхъ въ *Рациональскомъ Поэзи*; живыя дѣянія, рождаемыя и сопровождаемыя сильными, постоянными чувствованіями, или чувствованія, являющіяся въ живыхъ дѣяніяхъ, питаемыхъ мечтами, устроеныя сильнымъ разумомъ къ возвышенію нравственнаго бытія человѣка, составляютъ *Драму*.

Итакъ Драма, какъ изящное произведеніе, требуетъ извѣстности и сообразнаго оной выраженія, она нуждается въ стройности дѣянія, въ доблести чувствованія и помысловъ и въ пріятности формы: какъ словесное произведеніе, ищетъ связнаго теченія рѣчи и соблюденія правилъ языка, какъ Поэзія, должна выражать въ звучной, въ согласіи текущей рѣчи мнѣ идеальныя. Но всѣ сіи условія еще не опредѣляютъ Драмы: она есть послѣднее высшее развитіе изящнаго, представляетъ дѣянія нравственно-духовныхъ существъ, которые, въ слѣдствіе изложенныхъ требованій, не могутъ здѣсь являться съ характерами обывка-всплывающими, каковыя мы встрѣчаемъ повсемѣстно. Если Драма *по-настоящему* изящная, и *красивая*, то она отменяетъ все смѣльное, здѣсь мелочныя повседневныя движеніе-

ни сердца не могутъ ни вести ни останавливать дѣйствія. Впрочемъ это не значить, что Поэтъ долженъ выбирать дѣйствія, имѣющія только историческую важность — нѣтъ! — только великіе характеры могутъ дѣйствовать въ *высокой* драмѣ; только души сильныя, борясь или съ собственной натурою, или съ игрою случая и прихотью судьбы, или унищреніями и страстями другихъ лицъ также сильныхъ, могутъ потрясти, возвысить душу крѣпкую и привести ее въ умиленіе; ибо цѣль Драмы, равно какъ и всего изящнаго, сдѣлать читателя или зрителя чувствительнѣе, добрѣе, благороднѣе.

Сей родъ Поэзии требуетъ дѣйствія занимательнаго, сильнаго, достаточнаго для дѣйствованія на благородно чувственную сторону: это необходимое условіе Драмы. Сія необходимость предполагаетъ извѣстныя *сочиненія*, безъ которыхъ нельзя держать въ безпрерывномъ напряженіи душу зрителя и направлять его чувствованія. Но что сіи *сочиненія*? Какъ должно понимать ихъ? Чего требуетъ, относительно сихъ единствъ, существо Драмы! — Ихъ считается обыкновенно три: единство дѣйствія, единство времени и единство мѣста; но забываютъ къ тому прибавить четвертое, единство характеровъ, и кажется потому, что сливаются оно съ первымъ. Ежели это предположеніе справедливо, то я не знаю, почему бы всѣхъ ихъ не сдѣлать въ одно единство дѣйствія, ибо подъ симъ послѣднимъ надобно разумѣть не только безпрерывную послѣдовательность случаевъ, къ одному концу направленныхъ и развивающихъ ходъ Драмы, но и преимущественно то, чтобъ все дѣйствіе имѣло одинаковый характеръ, несмотря ни на какія препятствія, ускоренія и измѣненія, чтобъ каждое лице, при всѣхъ бореніяхъ внѣшнихъ и внутреннихъ, дѣйствовало по одному чувствованію, или одной идеѣ; чтобъ физиономія его видна была во всѣхъ многоразличныхъ положеніяхъ: чтобъ желанія и усилія всѣхъ вмѣстѣ самымъ противоборствомъ своимъ составляли одно цѣлое *идеальное*. Слѣдовательно Драма можетъ столько обнимать времени, сколько, по естественному ходу дѣлъ, чувствованія и идеи, какъ силы, движущія героевъ, могутъ сохранять свои ха-



рактерь — II такъ количество времени здѣсь опредѣляется степенью измѣняемости побужденій къ дѣйствию; посему высокая Драма ни совершиться не можетъ въ нѣсколько часовъ, ни продолжиться на нѣсколько возрастовъ человека. Вотъ единство времени! — Мѣсто дѣйствованія подчиняется тѣмъ же условіямъ, впрочемъ перемѣна онаго ограничивается не одною возможностью, но и необходимостью, истекающею изъ характера дѣйствія и обстоятельствъ, въ которыхъ находятся лица. Но что можетъ быть непріятнѣе, когда видишь, какъ Сочинитель выводитъ героевъ своихъ на сборное мѣсто, подобно Китайскимъ тѣнямъ, чтобъ показать ихъ зрителю, или когда заставляетъ зрителя на *коврѣ самодѣльной* гоняться по *бѣгу свиню* за героями, потому только, что они властны быть *тамъ и сямъ*? Зритель можетъ перенестись и за *тридевять земель*, если необходимый ходъ дѣйствія требуетъ того, такъ, чтобъ мѣсто, развивая оное, не могло быть перемѣнено, не вредя цѣлому.

Вотъ условія, безъ которыхъ нельзя произвести известнаго вліянія въ чувствованіяхъ, дабы дать имъ то или другое направленіе: но Поэтъ, хотя и не обязанъ размножать наши познанія, уничтожать заблужденія, объяснять метафизическія и историческія истины, однако онъ не можетъ положительно противорѣчить симъ послѣднимъ и вводить насъ въ заблужденія: а драматическій Поэтъ, представляя въ изящныхъ видахъ свободно-дѣятельную сторону человека, отдаленнѣйшею цѣлю имѣетъ нравственность. Посему дѣйствіе драмы должно быть назидательно, и при томъ какъ общій ходъ ея, такъ и частныя поступки лицъ, ихъ мысли и чувствованія, изображая собственныя ихъ характеры, должны выражать и характеръ того народа и духъ того времени, къ которымъ принадлежитъ дѣйствіе. Языкъ, также удовлетворяя симъ требованіямъ, долженъ быть чистъ, благороденъ, звученъ и выразителенъ.

Конечно, приступая къ разбору известнаго сочиненія, кажется сорѣмъ бы не нужно было говорить столь много о предметахъ постороннихъ, или, по крайней мѣрѣ, имѣю-

щихъ съ главнымъ предметомъ связь посредственную, отдаленную; но не всегда и вездѣ можно дѣйствовать одинаково: у насъ мнѣнія литературныя еще совѣмъ не установились, — они теперь какъ бы въ какомъ-то броженіи: одни крѣпко держатся старофранцузской чопорной школы, и готовы прокричать: *ананаси, ананаси прибавить или убавить!* Другіе хотятъ произвести какую-то литературную революцію, полагая, что Романтизмъ не долженъ имѣть ни правилъ ни законовъ; они думаютъ установить какое-то, въ отношеніи къ изящному, равенство между частями, дѣйствіями, явленіями и даже отправлениями природы, и, какъ бы въ отмщеніе доблестному самоотверженію героевъ и величію душъ сильныхъ, которыя во всѣхъ вѣкахъ воспламеняли гени пѣснопѣйцевъ, съ бѣлымъ жаромъ восхваляютъ низкихъ бродягъ, говорильцовъ, бездушныхъ самоубійцъ, безжизненныхъ счастіелюбцевъ, сладострастныхъ буяновъ, нежели великихъ людей. Третьи, боясь отстунуть отъ учительскихъ тетрадокъ, ищутъ въ Поэзии положительныхъ наставленій, и не отличаютъ Поэмы отъ Исторіи. Сатиры отъ Проповѣди. Не принадлежа ни къ одной изъ сихъ партій, равно и ко многимъ другимъ, основаннымъ на дружбѣ, на расчетахъ и проч., я счелъ нужнымъ предварительно обнаружить мои образъ мыслей о семъ предметѣ, дабы показать и самое въ дѣлѣ семъ мое намѣреніе, которое прорисовалъ изъ внутренняго моего убѣжденія.

Можетъ быть, Поэтъ и всякій другой читатель найдетъ здѣсь ошибочныя мнѣнія — это необходимо; но никто не уличитъ меня въ злонамѣренности и пристрастии. Только любовь, только состраданіе къ сиротствующей нашей Литературѣ, которую нещадно искажаютъ великіе таланты, созданные для того, чтобъ воздѣлывать, возрастить и возвеличить ее, побудили меня накликать на себя непріязнь усердныхъ защитниковъ того, кто выше ихъ покровъ. Можетъ быть, какой-нибудь юный талантъ услышитъ мой голосъ, и... но къ дѣлу.

Прочитавъ *Бориса Годунова*, стараешься припомнить дѣйствіе, хочешь остановиться на тѣхъ случаяхъ, которые бы, удерживая героевъ въ подвигахъ доблестныхъ, или

увлекая къ бѣдѣямъ и гибели, безпокойны, тревожны, устранили читателя, но — не находишь сего! Ницель сильныхъ, возвышенныхъ чувствованій, и — кромѣ двухъ или трехъ мѣстъ, принужденъ остаешься довольствоваться милыми, живыми, вѣрными списками съ обыкновенной природы!

Конечно, можно бы было спросить зачѣмъ произведение се названо *Борисъ Годуновъ*? Можетъ ли *Борисъ* называться главнымъ действующимъ лицомъ, героемъ Драмы? —

Рѣшительно нѣтъ! — Но это назвать мелочными придирками; это послужить источникомъ и основаниемъ инграммъ. — Итакъ, рассмотримъ *оперу*. Оно состоитъ изъ 22, въ разныхъ мѣстахъ происходящихъ сценъ: въ 1-ю — 1594 года, въ Кремлевскихъ палатахъ — Шуйскій, утверждая, что Борисъ притворно опочаривается отъ Престола, котораго конечно никакъ и никому не уступитъ, рассказываетъ Воротыинскому о убійствѣ Димитрія, о своемъ криводушіи, спомоществованіемъ скрыть злодѣяніе, и доказываетъ права всѣхъ Князей на престолъ.

Во второй, — на Красной площади — Целкаловъ, верховный Дьякъ успокоиваетъ сѣдующи народъ, объявляя, что Патриархъ и Бояре хотятъ употребить рѣшительное средство къ убѣжденію Бориса принять Корону. — Въ 3-ю, въ Кремлевскихъ палатахъ — Борисъ, упрощенный за кулисами, на сценѣ соглашается царствовать; а Шуйскій, котораго и прежде звали, чѣмъ все это кончится, теперь отказывается отъ своихъ словъ, да что Воротыинскіи назвать его *хитрымъ и проницательнымъ*. — Четвертая сцена происходитъ 1603 года въ Чудовомъ монастырѣ, гдѣ *патрѣхъ Григорій*, рассказать свои сны отцу Пимену, который писалъ въ то время *пѣснь*, раздражается у него о смерти Царевича, и потомъ грозитъ Борису *судомъ и мѣрой* и *Лаврѣ*. — Въ 5-ю — палата Патриарха Патриархъ приказываетъ позвать убѣжденнаго Григорія. Боя представляется въ царскихъ палатахъ двухъ Стольниковъ, разбѣжавшихся при появленіи Царя, которые, покусавъ въ благодарности народа, и самъ скрывается. 7-я состоитъ въ томъ, что монахи, пируя въ крѣпости на Дмитровскыя границы, понались

въ руки царскимъ сыщикамъ, отъ которыхъ Григорій бѣжитъ съ монахами, хотѣлъ было отдѣлаться миростію; но не успѣвъ въ томъ, долженъ былъ прибѣгнуть къ силѣ, и тѣмъ спасся. Въ 8-й представляеть домъ Шуйскаго, гдѣ множество гостей ужинають и, выишь за здоровье Царя, расходится; остается одинъ Пушкинъ, разсуждаеть съ хозяиномъ о Самозванцѣ, о предстоящей опасности, о безразсудной жестокости Бориса, окружившаго всѣхъ Бояръ шпионами, и уходитъ. — Въ 9-й царскія палаты — Царевна оплакиваетъ жениха; Царевичъ чертитъ карту; Царь, вошесть, состраждеть первои, одобряеть трудъ другаго, наслаждается семейственнымъ счастьемъ; но Семень Годуновъ, явившійся съ доносами, разстроить тихія и пріятныя мечты Царя; ихъ мѣсто заступаетъ подозрѣніе и злоба. Когда же является Шуйскій и обнаруживаетъ опасность отъ появленія Самозванца, то страхъ и отчаяніе овладѣваютъ сердцемъ Царя. Въ 10-й сценѣ, которая происходитъ въ Краковѣ, въ домѣ Вишневецкаго, сначала Ратер Черниковскій даетъ наставленія Самозванцу, потомъ сей послѣдній принимаетъ всѣхъ собирающихся подъ его знамена. 11-я представляеть балъ въ Самборскомъ домѣ Мишешка. Марина назначаетъ тайное свиданіе Самозванцу; въ слѣдствіе сего назначенія, онъ является *ночью, въ саду, у воротъ* — это 12-я сцена, и тамъ сначала гл. монологъ, а потомъ предъ Мариною изливаетъ свои чувствованія любви; но сія гордая шляхтянка, упоенная мечтами будущаго величія, а не любовью, заставляетъ его разсказать, что онъ бродяга. Марина, оскорбленная любовью и надеждами обманщика, рѣшается разорвать съ нимъ связь и открыть его обманъ, но за гордость и рѣшимость признаеть его Царевичемъ, вопреки собственному его признанію, и уходитъ, приказавъ ему спѣшить въ Москву.

Въ 13-й, Самозванецъ съ войсками переходитъ Литовскую границу, гдѣ онъ завидуетъ чистой радости Курбскаго. — 14-я представляеть думу Царскую. Патриархъ совѣтуеть, для успокоенія народа, волнусаго появленіемъ Лже-Димитрія, открыть мощи Димитрія; но Шуйскій, замѣтивъ смущеніе Царя, отклоняеть сей совѣтъ, и беретъ



самъ успокоить встревоженный народъ. 15-я происходитъ близъ Новгородъ-Сверскаго, гдѣ, при побѣгѣ Царскихъ войскъ, Маржеретъ и Вальтеръ-Розень разсуждаютъ по-*французско-Итальянски* о семь дѣлѣ. — Въ 16-й, предъ дверьми Собора, Царь даетъ милостиню юродивому за то, что сей совѣтовалъ ему перерѣзать ребягинецъ, какъ онъ зарѣзалъ Царевича. — Въ 17-й — Сѣвскъ. Самозванецъ допрашивается итѣннаго Русскаго, осуждается распоряженія Бориса, приказываетъ приготовиться къ бою; итѣшникъ пугаетъ Поляка кулакомъ. — Въ 18-й — Тѣсь. — Лже-Димитрій и Пушкннъ, спасаясь послѣ поражения, располагаются ночевать въ лѣсу. — 19-я происходитъ въ Царскихъ палатахъ: Борисъ предполагаетъ уничтожить мѣстничество, поручаетъ Басманову главное начальство надъ войсками, идетъ принять гостей иноземныхъ, и вдругъ, почувствовавъ приближеніе смерти, дѣлаетъ завѣщаніе Царевичу и приказываетъ постричь себя въ схиму. — Въ 20-й, ставка Басманова — Пушкннъ, посланный самозванцемъ къ Басманову, склоняетъ его измѣнить Теодору; Басмановъ остается вѣренъ; Пушкннъ уходитъ, тотъ начинаетъ колебаться, и вдругъ на что-то рѣшается. — Въ 21-й, Пушкннъ на добромъ мѣстѣ убѣждаетъ народъ принять сторону Лже-Димитрія. Народъ въ изступленіи стремится къ дворцу низложить Теодора. — Въ послѣдней сценѣ Говнищнъ, Масальскнн, Молчановъ, Шеремѣевовъ и три стрѣльца входятъ въ домъ Годунова, и задумавъ Царицу вдову и Теодора, объявляютъ, что они отравились ядомъ.

Изъ сей выписки содержания, въ которой я старался ни прибавить, ни убавить, какъ связи, такъ и несвязности, видно, что дѣйствіе Драмы не имѣетъ ни единства, ни полноты; ибо сначала дѣйствующая сила содержится въ Борисѣ, а съ четвертой сцены все принимаетъ другой видъ: дѣйствіе происходитъ изъ Самозванца, такъ, что Бориса уже нѣтъ, а Драма все еще идетъ. Множество совершенныхъ картинъ, которыя хотя мастерски отдѣланы, не имѣютъ здѣсь никакой цѣли, и нимало не способствуютъ ходу цѣлаго; напримѣръ: разговоръ Патриарха съ Игуменомъ, превосходно изображая важную духовную особу того вре-

мени, не развиваетъ общаго дѣйствія. Слѣдующая за тѣмъ сцена, въ которой два Столыника превратно изображаютъ характеръ Царя, а сей, хотя довольно вѣрно, но совершенно не у мѣста описываетъ характеръ народа — есть лишняя. Балъ у Минишека и слѣдствіе онаго — свиданіе у фонтана, не имѣютъ ни малѣйшей связи ни съ предыдущимъ, ни съ послѣдующимъ, и проч.

Дѣйствіе сіе и отъ того теряетъ единство, что Сочинитель взялъ время разнохарактерное, ибо во время избранія Бориса, народъ любилъ его, и желаніе имѣть его Царемъ было всеобщее, единодушное, искреннее; да и самъ Борисъ находилъ пищу для своего честолюбія въ благотвореніи народу; властолюбіе его было тѣсно соединено съ пользами государства, а подъ конецъ его царствованія, безумные временщики, низкіе доносчики и клеветники расторгли взаимную довѣренность между Царемъ и народомъ, а тѣмъ, разрушивъ счастье того и другаго, возродили взаимную ненависть. Тогда царь по временамъ приобѣгалъ къ мѣрамъ жестокимъ, ненавистнымъ народу, а сей послѣдній, забывъ благодаренія, сдѣлался неблагодарнымъ: подстрекаемый боярами, ропталъ на Царя Бориса и позорно предать родъ его. По сей разнохарактерности все сіе время не можетъ входить въ одну Драму, хотя бы оно въ пяти часахъ заключалось, — предположимъ невозможное. Дѣйствующія лица здѣсь въ началѣ Драмы являются съ такими побужденіями и желаніями, которыхъ они постыбѣгутъ, не терпятъ. Народъ пламенно желаетъ власти Годунова, потомъ хладнокровенъ къ ней, наконецъ ненавидитъ ее. Это естественно въ Исторіи, позволительно въ Романѣ, но въ Поэмѣ, а преимущественно въ Драмѣ, такое разночувствіе можетъ быть допущено въ такомъ только случаѣ, когда то и другое чувствованіе происходятъ изъ одного источника, или когда одно изъ другаго рождается непосредственно, какъ, напримѣръ, любовь и мщеніе за истинную или мнимую неувѣрность. Здѣсь любовь берется только какъ завязка, — начало, ревность — дѣйствіе, мщеніе — развязка, и потому только совмѣщаются въ одномъ произведеніи, что отдѣльно существовать не могутъ. Гри-

горій (а кто онъ? откуда и зачѣмъ здѣсь? это загадка!) является вначалѣ простымъ мечтателемъ, не понимаетъ даже сна, предвѣщающаго участь его, завидуетъ безнадежно молодымъ, со славой проведеннымъ, дѣламъ Пимена, угрожаетъ Борису судомъ божескимъ и человѣческимъ безъ всякихъ видовъ, и вдругъ въ слѣдующей же сценѣ говорить о немъ, какъ о Самозванцѣ. Борисъ совсѣмъ не имѣетъ характера, онъ дѣйствуетъ несравненно менѣе, нежели въ Исторіи, хотя ми отъ Поэзии ожидаемъ всегда болѣе; хотимъ видѣть не только дѣйствительное, но и не-премѣнно возможное, и не встрѣчаемъ ни одного рѣшительнаго движенія воли его, кромѣ возвышенія Басманова. Посему онъ нисколько не занимаетъ насъ, не возбуждаетъ никакого участія. Второстепенныя лица совершенно не дѣйствуютъ: ни одно изъ нихъ не имѣетъ собственнаго желанія, ни идеи, такъ сказать, движущей и привязывающей его къ общему дѣйствию. Доказательства сего мнѣнія будутъ послѣ, для избѣжанія повторенія.

Съ одной стороны излишество или неумѣстное введеніе случаевъ, не имѣющихъ ничего драматическаго, съ другой — опущеніе необходимыхъ для сообщенія характера дѣйствию, для возбужденія участія, и третیه, какъ слѣдствіе того и другаго — недостатки связи въ ходѣ цѣлаго, представляютъ Драмѣ въ отрывкахъ, заставляють безпрестанно перескочить съ одного мѣста на другое безъ всякой нужды. Это качеваніе происходитъ отъ того, что Поэтъ избираетъ мѣста, которыя совсѣмъ неспособны развити дѣйствіе, а иногда мѣсто прямо противорѣчитъ дѣйствию.

Все, сказанное доселѣ вообще, яснѣе можно видѣть изъ частнаго разбора каждой сцены въ отдѣльности самой по себѣ, и въ отношеніи къ другимъ. Но се предполагаемое разсмотрѣніе покажетъ намъ и множество частныхъ красотъ, истинно высокихъ.

О первой сценѣ можно замѣтить, что она происходитъ на такомъ мѣстѣ, которое сѣбѣяетъ се и необходимо заставляеть, прервавъ дѣйствіе, перенести оное тотчасъ на другое мѣсто, болѣе приличное, ибо нужно показать участіе народа въ дѣлѣ избранія Царя, да и время выбрано

неудачно. Если бы Поэтъ началъ свою драму послѣднимъ днемъ избора, то всѣ три первыя сцены составили бы связанное и богатое дѣйствіемъ начало, а преимущественно послѣдняя изъ нихъ могла имѣть и особенную силу и занимательность, когда бы она происходила всенародно; и тутъ какой-нибудь случай и изъюмъ яростности бросили бы сѣмя будущей бури, которая бы предугадываема была зрителемъ или читателемъ, а не дѣйствующими, тогда ее начало имѣло бы связь съ послѣдующимъ, родило бы ожиданія, предположенія, опасенія. 2-е. Шуйский, котораго, не говорю объ Историкѣ и Воронинскѣ и самъ Борисъ называютъ *лучшею изъ престолицъ, уклонившею, похоть свою и лукавство*,—здесь является завистливымъ говоруномъ; онъ рассказываетъ безъ всякой надобности, безъ цѣли, о убійствѣ царевича, о своемъ потворствѣ злодѣянію, разсуждаетъ о преимуществѣ своихъ правъ на престолъ предъ Годуновымъ. Правда, цѣль сего послѣдняго поступка ясно выражена въ стихахъ:

„Когда Борисъ хитрить не перестаетъ,  
Давай народъ искусно волновать;  
Пускай они оставятъ Годунова,  
Своихъ князей у нихъ довольно, пусть  
Себѣ въ Цари любого выберутъ“.

Но неужели это слова хитраго честолюбца? Мысль, въ тогдашнихъ обстоятельствахъ, естественная, следовательно позволительная Поэту, который вымыслами украшаетъ историческія наши свѣдѣнія, и, такъ сказать, пополняетъ дѣйствительное возможнымъ, и всего приличнѣе родиться ей въ головѣ Шуйскаго, который, вѣроятно, не изъ одного страха, какъ онъ увѣряетъ Воронинскаго, скрыть злодѣяніе Бориса—если только оно было,—это можетъ склонять къ тому и различныя надежды, близкія или отдаленныя. —Но какъ сія ужасно смѣлая мысль выражена чело-  
вѣкомъ хитрымъ столь прямо, открыто, сказано чело-  
вѣкомъ честолюбивымъ столь ховато, мимоходомъ, и кому же? Воронинскому! —Че возбуду, который, при всемъ гнѣвѣ на него мѣстническаго духа, збрызнулъ душой, что Годуновъ



исполнилъ предъ ними!—Шуи́нскій здѣсь представляетъ столь *лит/р/мъ*, что самъ долженъ быть напомнить о семъ Воробейнекому. 3-я Сцена сія не можетъ похвалиться и Поэзією—предестинье, легкіе *Пушкинскіе* стихи,—но нѣтъ ни чувствованій, ни смѣлыхъ мечтаній, ни высокихъ мыслей. Нельзя также не замѣтить здѣсь совсѣмъ не-поэтическое сравненія:

„Борись еще поморщится немного.  
Что пьяница предъ чаркою вина...”

Это сравненіе не всегда можетъ быть позволено даже комедии, и притомъ выраженіе: *что* пьяница *предъ* чаркою поморщится, неправильно, ибо частица *что* тогда только употребляется въ сравнительномъ смыслѣ, когда мы сравненіе произносимъ съ удивленіемъ, отдавая преимущество сравниваемой вещи предъ тою, съ которою она сравнивается. Напримѣръ *рублика на немъ что кленовъ листъ*, или: что твой кленовъ листъ!

Вторая сцена, происходящая на Красной площади, во-первыхъ, доказываетъ безхарактерность Шунскаго, который, вопреки своему плану и обѣщанью, не пользуется притворнымъ или истиннымъ упрямствомъ Бориса и раздражительнымъ состояніемъ народнаго духа, который въ такихъ обстоятельствахъ легко воспламеняется. Во-вторыхъ, она представляетъ и народъ также безхарактернымъ, ибо слышавъ стихи:

О Боже мой, кто будетъ нами править?  
О горе намъ!

мы ожидаемъ отъ народа сильныхъ движеній, настоятельныхъ требованій, подстрекаемыхъ недовѣрчивостію и нетерпѣніемъ. Но чѣмъ же все кончилось? Верховный Дьякъ выходитъ, рассказываетъ о послѣднемъ предполагаемомъ средствѣ убѣжденія Годунова, совѣдуетъ народу идти по домамъ, и народъ молча расходится. Какой быстрый и неестественный переходъ отъ страсти къ спокойствію! Едва

ли возможно такъ легко управиться и съ однимъ человѣкомъ!—Вообще сцена сія необходима для цѣлости Драмы, но ежели допустить ее въ такомъ видѣ, какова теперь, то она не имѣетъ цѣли, ибо не выражаетъ ни слѣдствія предыдущей, ни причины слѣдующей.

Еще слово о народномъ жалобѣ, а именно о выраженіи: *о Боже мой!* Это голосъ не Русскаго народа, Русскіи одинъ не скажетъ о Богѣ: *мой*, а говорятъ обыкновенно: *нашъ*; и притомъ Русскіе любятъ сложныя восклицанія и воззванія, какъ, напримѣръ: Ахъ, Господи, Боже нашъ! О Пресвятая Богородица! и т. п. — Конечно, у другаго Писателя, такія обмолвки можно опустить безъ замѣчанія, а иногда даже грѣшно замѣчать; но Г. Пушкинъ, понявъ вполнѣ характеръ Русскаго языка, не долженъ особенно-стями и красотою его жертвовать упрямству стиха.

За сѣмъ слѣдуетъ согласіе Бориса на принятіе короны; оно конечно кажется слѣдствіемъ предшесствующаго; но гдѣ эта строгая послѣдовательность, въ которой Поэма, Драма и Исторія равно пуждаются, чтобъ читатель видѣлъ необходимое, непрерывное теченіе случаевъ одного за другимъ, которыя бы всѣ вмѣстѣ изображали человѣчество въ томъ или другомъ отношеніи? Исторія ограничивается дѣйствительностію; Поэма ведетъ къ мечтательно-возможному, а Драма стремится къ непременно-возможному. — Борисъ принимаетъ корону (и между прочимъ хитрый Пушкинъ отказывается отъ словъ своихъ, и тѣмъ даетъ противъ себя орудіе безхарактерному Воротилевскому). Но какъ происходило избраніе, которое и въ Исторіи умилительно и въ дѣйствительности очаровательно? Поэтъ, по какому-то непонятному выбору, все это вынудить, и только сказать, что совершилось даже не разсказать какъ. Посему во всѣхъ сихъ трехъ сценахъ нѣтъ ни тридцати поэтическихъ стиховъ. Это прекрасная проза! — Вотъ, по моему мнѣнію, самое лучшее мѣсто:—Борисъ говоритъ:

Ты, отче Патріархъ, вы всѣ Бояре:  
Обнажена моя душа предъ вами:  
Вы видѣли, что я пріемлю власть

Велику страхомъ и смиреньемъ.  
 Сколь тяжела обязанность моя!  
 Наслѣдуя могущимъ Іоаннамъ —  
 Наслѣдую и Ангелу — Царю!...  
 О праведникъ! О мой отецъ державный!  
 • *Воззри съ небесъ на слезы вѣрныхъ слугъ,*  
 И испошли тому, кого любилъ ты,  
 Кого ты здѣсь столь сильно возвеличилъ.  
 Священное на власть благословеніе:  
 Да правлю я во славу свой народъ,  
 Да буду благъ и праведенъ, какъ ты.

Человѣкъ, обикновенный, истинно боящийся воцаренія, въ подобныхъ обстоятельствахъ конечно не могъ бы говорить иначе: но Борисъ, тотъ самый, каковымъ представляютъ намъ его Историкъ и Поэты, не могъ говорить такимъ образомъ. Слѣдовательно и эти прекрасные, умиленные стихи несообразны лицу говорящему.

Четвертую сцену можно считать началомъ Драмы. Если бы Драма сія была названа *Григорій Смирновъ*, если бы ея герои открыли здѣсь свои намѣренія, хотя не прямо, то и дѣйствіе сія менѣе бы отступало отъ единства. Здѣсь является и поэтикъ, достойная г. Пушкина; особенно же отличается роль дѣяніища *Илья*, монаха Чудова монастыря; напримѣръ:

На старости и сизнова живу,  
 Минувшее проходить предо мною —  
 Давно-ль оно неслось событій полно,  
 Волнуясь, какъ море Окіянь?  
 Теперь оно безмолвно и спокойно;  
 Не много лицъ мнѣ память сохранила,  
 Не много словъ доходитъ до меня,  
 А прочее погнѣбло невозвратно!

Поэтикъ совершенно понять Пимена въ его положеніи. Представимъ себѣ старца, который, какъ свидѣтель дѣлъ великихъ и ужасныхъ, *сидѣлъ на столѣ, на царствѣ, въ детѣ*. Дѣлались и надѣются, что это *правильно, согласно* предстать ему забавныя, что онъ есть органъ суда человѣческаго надъ правителями міра. *... и старецъ*.

Да вѣдаютъ потомки православныхъ  
 Земли родной минувшую судьбину,  
 Своихъ Царей—великихъ поминаютъ  
 За ихъ труды, за славу, за добро—  
 А за грѣхи, за темныя дѣянья,  
 Спасителя смиренно умоляютъ.

Какая великая мысль! Стоять между предками и потомствомъ, и маніемъ руки, силою слова, передавать минувшее грядущему!

Старецъ, стоя передъ прагомъ вѣчности, видитъ, какъ дѣла предковъ назидательны, какъ они близки къ сердцу потомства; видитъ, какъ это все *невозвратно погибаетъ*, озираетъ свой вѣкъ, богатый дѣлами, и—долгую жизнь и *книжное искусство* — даръ, въ то время великій — посвящаетъ на службу человечеству. Мысль гениальная, высокая! Она имѣетъ столько силы, чтобъ воспламенить самую дряхлую старость. Но сія воспламененность выражена языкомъ старца, снова почувствовавшаго жизнь, языкомъ сообразнымъ предмету и въ стихахъ прекрасныхъ, легкихъ, звучныхъ, словомъ, здѣсь видѣнъ *Пушкінъ*.

Остальная часть сцены сен, хотя стоитъ выше сценъ предшествующихъ, но не имѣетъ того величія, какого-бы можно было ожидать по многимъ условіямъ. Сонъ Григорія разсказанъ особенно слабо: если предположить, что Григорій въ то время замышлялъ уже низверженіе Годунова, то сіи царственныя грезы должны сильно волновать его надменную, безпокойную душу, и сонъ его долженъ быть ужасенъ; если же этотъ сонъ предупредилъ самый зародышъ силъ умысловъ, если онъ былъ, такъ сказать, пророческій, то самое свойство его требуетъ источника сильнаго, онъ можетъ проистекать только изъ души смѣлой, пламенной, способной, въ минуты восторговъ и раздражительныхъ потрясеній, сквозь тѣлесную преграду провидѣть будущее въ чистыхъ или иное казательныхъ видахъ. Это была бы самая возвышенная, смѣлая и пламенная Поэзія. Мечты Григорія и преимущественно воспоминанія Имѣна о царствованіи Іоанна и Феодора, о кончинѣ сего послѣдняго, — дышатъ Поэзією легкой, прелестною. Разсказъ старца объ ужасѣ

смерти Дмитрія Царевича исполненъ силы: необыкновенная быстрота даетъ ему рѣдкую живость, а простота сообщаетъ трогательную выразительность:

„Охъ, помню!

Привелъ меня Богъ видѣть злое дѣло,  
Кровавый грѣхъ. Тогда я въ дальній Угличъ  
*На нѣкое былъ посланъ послушанье*

(Стихъ тяжелъ).

Пришелъ я въ ночь. На утро, въ часъ обѣдни,  
Вдругъ слышу звоны: ударили въ набатъ:  
Крикъ, шумъ. Бѣгутъ на дворъ Царицы. Я  
Сиѣшу туда-жъ—а тамъ уже весь городъ.  
Гляжу: лежитъ зарѣзанный Царевичъ;  
Царица-мать въ безпамятствѣ надъ нимъ,  
Кормилица въ отчаяньи рыдаетъ,  
А тамъ народъ, остервенясь, волочить  
Безбожную предательницу мамку...“ и т. д.

Это образецъ обыкновенной Г. Пушкина Поэзии (искусное соединеніе легкости съ важностью)!

Молодой Григорій силенъ, однако оставляетъ еще желать многого, и притомъ наводитъ какое-то тяжелое недоумѣніе: ибо любопытство, нескателность Григорія, ненависть его къ Борису и нѣкоторыя поступки рождаютъ мысль, что онъ еще давно питаетъ замыслы свои; но, не выразивъ ихъ прямо въ настоящей сценѣ, даетъ поводъ думать, что замыслы сии родились въ немъ случайно, вдругъ. Зачѣмъ поставлять читателя въ такое недоумѣніе, которое закрываетъ истинный характеръ героевъ?

Послѣ сего дѣйствіе переносится на минуту въ палаты Патриарха, который говоритъ съ Игуменомъ Чудова монастыря о побѣгѣ и самозванствѣ Григорія. Языкъ Игумена и Патриарха столь естественъ и сообразенъ лицамъ говорящимъ и предмету рѣчи, что, очаровавъ читателя, переноситъ его въ вѣкъ простоты, въ чертоги сего Первосвященителя, который на слова Игумена:... „былъ онъ весьма грамотенъ.... но знать грамота далась ему не отъ Господа Бога...“ съ душевной простотою отвѣчаетъ: „Ужь эти мнѣ грамоти... Ахъ, онъ соудъ объявитъли!... Поймать, по-



мать враговъ ея, да и сослать въ Соловецкій на вѣчное покаяніе. *Вѣдь это сирѣчь, отецъ Игумнѣ.*” Что можетъ быть проще, естественнѣе, чистосердечнѣе послѣдняго вопроса? Но эта, сама по себѣ очаровательная сцена, совершенно неумѣстна: въ какой связи состоитъ она съ предшествующими? Приготовляетъ ли читателя къ слѣдующей, которая происходитъ въ Царскихъ палатахъ? и, мимоходомъ сказать, совершенно также лишняя. Здѣсь одинъ Стольникъ, пришедъ, спрашиваетъ у другаго: „гдѣ Государь?“

В т о р о й.

Въ своей опочивальнѣ.  
Онъ заперся съ какимъ-то колдуномъ.

П е р в ы й.

Такъ вотъ его любимая *бесѣда*:  
*Кудесники, гадатели, колдуны.*  
Все ворожить, что красная невѣста.  
Желать бы знать, о чемъ гадаютъ онъ?

В т о р о й.

Вотъ онъ идетъ. Угодно ли спросить?

П е р в ы й.

Какъ онъ угрюмъ! (*Уходятъ*).

Для чего явленіе этихъ двухъ лицъ? Не для того ли, чтобъ показать главныя и любимыя занятія Царя и боязливость придворныхъ, бѣгающихъ отъ его угрюмости? Но въ такомъ случаѣ, кажется, позволительно спросить: желать ли Поэтъ изобразить Бориса лицомъ совершенно *идеальнымъ*, или *историческимъ*? — Если идеальнымъ, то для сего Борисъ совсѣмъ негодится: во-первыхъ, потому, что онъ слишкомъ тѣсно связанъ съ Исторіей: никакая геніальная сила не отторгнетъ его отъ оной; во-вторыхъ, потому, что, будучи совершенно необыкновеннымъ явленіемъ нравственно-политическаго міра, не требуетъ посторонней сильной помощи для того, чтобъ удивить читателя величіемъ и потрясти душу его чудесною своею судьбою.

И при томъ рѣшительно можно сказать и доказать, что и историческія черты сего лица доселѣ не исчерпаны все, и много, много великаго еще не отгадали въ семъ человѣкѣ, хотя все худое и Прозанки и Поэты увеличили до гиперболы. Если же Поэтъ хотѣлъ представить своего героя лицомъ историческимъ, въ современномъ его вѣку изящномъ костюмѣ, пополняя дѣйствительность непремѣнно-возможнымъ, и выпуская все житейское, холодное, мелочное, прозаическое, то съ какимъ намѣреніемъ все важныя и маловажныя лица Драмъ и на площади, и во дворцѣ, и въ кельяхъ монашескихъ говорятъ о немъ только *худое*? Правда, Ворогінскій изъ боязни или слабодушія говоритъ Шуйскому:

Да, трудно намъ тягаться съ Годуновымъ...

а Басмановъ, находя свои выгоды въ истребленіи мѣстничества:

И много, много онъ  
Еще добра въ Россіи сотворить...

Но самыя побужденія и обстоятельства обезсиливаютъ сии незначительныя похвалы. Похваливаетъ иногда онъ самъ себя, да и то не совсѣмъ выгодно, ибо вслѣдъ за похвалою Столынковъ, онъ въ длинномъ монологѣ между похвалами наговоритъ на себя много неблицъ, совсѣмъ непохвальныхъ. Неужели Поэтъ хотѣлъ возвысить Драмѣ свою опущеніемъ великихъ свойствъ и дѣйствій Годунова? Она много потеряла отъ сего односторонности въ изображеніи характера героя: отъ сего читатель не принимаетъ въ судьбѣ его никакого участія, не тревожится опасностями и не жалеетъ о гибели его: ничто не располагаетъ въ его пользу. Если же это было его намѣреніе, то вадтежало бы противоѣдущее лицо поставить въ затруднительныя и опасныя положенія, которыя бы тревожили читателей относительно его судьбы.

Но обратимся къ монологу Царя. Когда человѣкъ способенъ говорить самъ съ собою? Въ минуты сильнаго вол-

и ея чувствованій, которыя, подобно огнямъ подземнымъ, насильственно исторгаются изъ груди его, но которыхъ или никто не хочетъ слушать, или никому не смѣетъ онъ открыть. О чемъ же Борисъ говоритъ? Разсказываетъ о своихъ благодѣяніяхъ народу, о неблагодарности, несправедливости послѣдняго; оправдываетъ себя во всѣхъ клеветахъ народа. Это не тайна! и кажется, приличнѣе бы всего было такъ говорить предъ другими, и даже всенародно. Только въ концѣ нѣсколько намекаетъ о томъ, что не терпитъ гласности, и заставляетъ подозрѣвать въ какомъ-то тайномъ злодѣяніи:

Ахъ! чувствую: ничто не можетъ насъ  
Среди мірскихъ печалей успокоить,  
Ничто, ничто... Едина развѣ совѣсть —  
Такъ, здравая, она восторжествуетъ  
Надъ злобою, надъ темной клеветою.  
Но если въ ней единое пятно,  
Единое случайно завелось,  
Тогда бѣда: какъ язвой моровой  
Душа сгоритъ, нальется сердце ядомъ,  
*Какъ молоткомъ стучитъ въ ухахъ упрекомъ,  
И все тошнитъ, и голова кружится,  
И мальчики кровавые въ глазахъ...  
И радъ бѣжать, да некуда... Ужасно!  
Да, жалокъ тотъ, въ комъ совѣсть не чиста!*

Но сія ужасная тайна, сжигавшая душу его какъ язва моровая, выраженная языкомъ какимъ-то непріятно смѣшнымъ; особливо послѣдніе пять стиховъ, безобразіе которыхъ я не считаю нужнымъ и показывать: оно само за себя слишкомъ громко говоритъ—отличаются самымъ явнымъ прозаизмомъ. И здѣсь послѣдній холодный стихъ заставляетъ насъ сомнѣваться въ томъ, чтобъ эти упреки Борисъ относилъ къ себѣ. Это — размышленіе о совѣсти, это—общая мысль!

Послѣ того дѣйствіе переносится на Литовскую границу, въ корчму. Здѣсь представляется современная того вѣка картина въ необыкновенно искусной отдѣлкѣ, столь живо, столь рѣзко изображенная, что, кажется, нѣтъ ни

одной черты лишней, ничто не упущено, все на своемъ мѣстѣ, все живо отѣнено: языкъ таковъ, что, читая эту сцену, кажется, находишься въ кругу сихъ пирующихъ и спорящихъ удалцовъ: веселость, заносчивое удалство Варлаама, привѣтливость, простота и болтливость хозяйки, придирчивость Царскихъ Приставовъ, ловкость монаха *Милхоуши*, съ каковою онъ, жалуясь на скупость мірянъ, на холодность ихъ къ спасенію душъ подаянємъ, отыгрывается отъ сыщиковъ, изображены столь искусно, столь согласно съ духомъ времени, что все это вмѣстѣ даетъ полное понятіе о трехъ классахъ народа—напримѣръ, слова: *Литва ли, Русь ли, что гуще, что гуще,—во намъ равно, было бы вино...* Это совершенно выражаетъ ухватки простонароднаго Русскаго весельчака, краснобая. И хотя сцена сія не имѣетъ ничего важнаго, доблестнаго, великаго, трагическаго, однако она, кромѣ вѣрнаго выраженія народности, развиваетъ дѣйствіе Драмы и нѣсколько знакомитъ уже съ характеромъ важнаго въ ней лица Григорія Отрепьева.

Слѣдующія за симъ двѣ сцены, происходящія въ домѣ Шуйскаго и въ Царскихъ палатахъ, выказываютъ настоящий характеръ дѣйствія, и, вводя Бориса въ трагическое положеніе, могли бы въ душѣ читателя родить участіе, опасеніе и безпокойство о судьбѣ его, если бы одностороннее изображеніе характера и дѣлъ его не возбуждало противъ него негодованія, которое подавляетъ всякое участіе, всякое чувство, родившееся въ его пользу: нѣтъ ни одного голоса на защиту Годунова: а собственная его безхарактерность еще болѣе усиливаетъ равнодушіе читателя, онъ ни оправдываетъ, ни обвиняетъ себя своими дѣйствіями: вездѣ видимъ въ немъ какую-то усталость и боязливую недѣятельность. Только въ разговорѣ съ Шуйскимъ онъ пробуждается: но это пробужденіе довершаетъ негодованіе читателя, особенно когда слышишь:

«...Головою сына  
Клянусь, тебя постигнетъ злая казнь,  
Такая казнь, что Царь Иванъ Васильевичъ  
Отъ ужаса во гробъ содрогнется».

Сильно сказано! Но естественны ли, вѣроятны ли эти слова въ устахъ Царя Бориса—Шуйскому? И нужно ли доказывать это сомнѣше?—Отъ сихъ-то ошибокъ рождаются въ читателѣ какія-то странныя, неестественныя чувствованія. Привыкши по исторіи почитать Бориса человекомъ необыкновеннымъ, великимъ, ожидаешь, что драма разовьетъ его характеръ со всѣми малѣйшими оттѣнками величія и добродѣтелей, слабостей и пороковъ, приведши все сіе то въ прелестную, то въ ужасную форму, ожидаешь возбужденія участія, опасенія, безпокойства, страха, и о самыхъ порокахъ сожалѣнія, или, по крайней мѣрѣ, ужаса, возбужденнаго раскаяніемъ. Но что же?—Какая-то холодность, какое-то равнодушіе къ доброй и злой сторонѣ его, даже раскаяше, само по себѣ ужасное, не производитъ ожидаемаго дѣйствія: оно двусмысленно! Его добродѣтели нисколько не привязываютъ къ нему нать, злодѣянія—не ужасаютъ; ибо хотимъ видѣть то и другое въ живыхъ дѣйствіяхъ, или ожидаемъ, чтобъ о первыхъ проговаривались самые враги его, о послѣднихъ — онъ самъ. Въ разговорѣ съ дѣтьми своими, съ Семеномъ Годуновымъ, съ Шуйскимъ и съ самимъ собою, Борисъ могъ бы совершенно открыть свою душу, высказать свой истинный и кажущійся характеръ; но онъ остался загадкой!

Въ обѣихъ сценахъ Шуйскій есть важное лице, и онъ является здѣсь въ особенномъ своемъ характерѣ—хитръ, непроницаемо хитръ: въ первой сценѣ притворнымъ равнодушіемъ, удачными возраженіями, законическими вопросами чрезвычайно искусно заставилъ Пушкина высказать все и не узнать ничего; а во второмъ еще искуснѣе, отклонивъ отъ себя бурю гнѣва Царскаго, умѣлъ занять Бориса дѣломъ важнѣйшимъ, объяснить ему всю силу опасности. Лучшія, хотя и не высокія, мѣста въ поэтическомъ отношеніи, суть: молитва при Царскомъ здоровьѣ, жалоба, впрочемъ преувеличенная — Пушкина противъ Царя: разговоръ Бориса съ Феодоромъ *о цртяхъ земли Московской*; но смятеніе Царя, его страхъ, изгупленіе, сомнѣіе, истинно превосходны. Онъ, не желавъ видѣть опасности, потомъ противъ собственной воли увѣрившись



въ одной, вдругъ приказываетъ взять мѣры для огражденія Россіи отъ Литвы, снова желаетъ не вѣрить, и снова ужасная увѣренность — подозрѣніе, страхъ, угрызенія совѣсти, гнѣвъ и отчаяніе. Вотъ трагическое положеніе Бориса! Вотъ драматическое Искусство Поэта! Царь, удерживая Князя Шуйскаго, чтобъ увѣрить его въ маловажности сей вѣсти, такъ сильно выражаетъ свой страхъ, говоря:

„...Слыхалъ ли ты когда,  
Чтобъ мертвые изъ гроба выходили  
Допрашивать Царей, Царей законныхъ,  
Назначенныхъ, избранныхъ всенародно,  
Увѣнчанныхъ великимъ Патріархомъ!  
Смѣшно? А? Что? Что-жъ не смѣешься ты?“ \*)

Въ семъ мѣстѣ Поэтъ совершенно понялъ и выразилъ положеніе Годунова, который имѣлъ нужду напоминать, что онъ *Царь, Царь законный*, что мертвые не могутъ его допрашивать; и какъ онъ, боясь проговориться, мѣшается въ словахъ отъ излишней осторожности:

„Послушай, Князь Василій:  
Какъ я узналъ, что отрока сего...  
Что отрокъ сей лишился какъ-то жизни...

Это истинно разговоръ Годунова съ Шуйскимъ при появленіи слуха о Самозванцѣ. Но когда Шуйскій, послѣ ужасной угрозы Царя, слишкомъ увѣрилъ его въ смерти Дмитрія, и когда Царь, встревоженный подробностями разсказа высылаетъ хитраго вельможу, то ясно обнаруживаетъ тѣмъ участваніе въ убійствѣ Царевича: а по удаленіи Шуйскаго, въ сильномъ страстномъ монологѣ снова наводитъ непроницаемое сомнѣніе; ибо слова:

„Такъ вотъ зачѣмъ тринадцать лѣтъ мнѣ сряду  
Все снилося убитое дитя!  
„Да, да—вотъ что! Теперь я понимаю!“

\*) Надобно вспомнить реченья Франца Моора о своемъ свидѣніи. Прим. Кор.

доказываютъ, что онъ не могъ укорять себя въ убійствѣ царственнаго отрока, какъ не принимавшій въ томъ ни малѣйшаго участія. Если онъ былъ убійца, то могъ ли не понимать сна сего, могъ ли теперь толковать его какъ предвѣщаніе, а не какъ дѣйствіе тревожной совѣсти? Притворство здѣсь не у мѣста; онъ одинъ и въ какомъ положеніи? Итакъ это противорѣчитъ предшествующему, и опровергаетъ все, чѣмъ онъ измѣнилъ себя въ *присутствіи другихъ*.

Теперь дѣйствіе переносится въ Краковъ: Самозванецъ начинаетъ дѣйствовать прямо, открыто, и все движенія начинаютъ происходить отъ него. Русскіе выходцы, Поляки, Литовцы, — толпами приходятъ къ нему; онъ принимаетъ ихъ весьма прилично обстоятельствамъ: Езуиту Черниковскому хитро льститъ и обѣщаетъ ввести въ Россію католицизмъ; Минишеха улащаетъ, рассыпаясь въ похвалахъ его гостепріимству и прелестямъ дочери; Русскихъ привязываетъ къ себѣ, разумѣется, добрымъ словомъ, Поляковъ деньгами. Лучшія мѣста изъ сей сцены: обращеніе Самозванца къ Курбскому и къ Поэту.

Балъ у Минишеха, какъ уже извѣстно, совершенно лишній, и, кажется, для того только введенъ, чтобъ сказать нѣсколько остротъ да назначить ночное свиданіе Самозванца съ Мариной, изъ котораго узнаемъ, что первый страстно влюбленъ въ гордую Панину; она надменные замыслы предпочитаетъ всѣмъ нѣжностямъ и хочетъ любить *только Царя*.

Если разсматривать сей разговоръ отдѣльно, какъ изъясненіе любви и тщеславія, не принимая въ уваженіе лицъ и обстоятельствъ и не соображая начала съ концомъ, то найдутся въ немъ мѣста превосходныя, чувствованія необыкновенно сильныя; напримѣръ, въ началѣ, выраженіе любви или потомъ еще сильнѣе выражена оскорбленная гордость:

„Тѣнь Грознаго меня усыновила,  
Димитріемъ изъ гроба нарекла,  
Вокругъ меня народы возмутила  
И въ жертву мнѣ Бориса обрекла.  
Царевичъ я. Довольно, стыдно мнѣ...“

Но если вспомнимъ, что здѣсь говоритъ проходимецъ Самозванецъ, съ гордой дочерью надменнаго воеводы Польскаго, что говоритъ человѣкъ, котораго почитаютъ Царскимъ сыномъ и который на семь заблужденій основываетъ ужасно-великіе замыслы, то, предположивъ его неглупымъ, должны думать съ нимъ вмѣстѣ, что *никогда, нигдѣ,*

*Ни въ иришествѣ, за чашею безумства,  
Ни въ дружескомъ заветномъ разговорѣ,  
Ни подъ ножомъ, ни въ мукахъ истязаній,  
Сихъ тяжкихъ тайнъ языкъ его не вырветъ;  
Что онъ обманъ отважный обезпечитъ  
Умornoю, глубокой, вѣчной тайной.*

Никакъ нельзя ожидать, чтобъ онъ открылъ свои обманы гордой дѣвѣ; чтобъ такъ просто, такъ вѣтрено *позоръ* свои обличилъ. И для чего? Не для того ли, чтобъ читателя вывести изъ заблужденія, относительно своего происхожденія?—Во-первыхъ, это нужно сдѣлать раньше: во-вторыхъ, для этого можно избрать другія средства, болѣе приличныя характеру дѣла и самому названію Драмы, а этотъ споръ Самозванца съ Мариною не имѣетъ никакого отношенія къ Борису, ни къ его царствованію, ни къ надеждѣ, хотя и говорятъ здѣсь о немъ. Притомъ вся сія сцена наполнена противорѣчіями: Григорій въ первомъ монологѣ говоря:

Какъ обольщу ея надменный умъ,  
Какъ назову Московскою Царицей ..

ясно показывается сомнѣніе въ ея согласіи на союзъ съ нимъ и боязнь отказа, и вдругъ рѣшается обольстить ея надменную красавицу, чѣмъ? Объявляетъ, что онъ бродяга, обманщикъ, и такъ твердо рѣшился увѣрить ее въ еей истинѣ, что забылъ любовь, въ которой ему отказываютъ за такую откровенность; забылъ опасность, которую тѣмъ навлекать на себя, и умильно доказываетъ, что Марина должна любить *Самозванца*. И когда же онъ рѣшается на открытіе ей ужасной для него тайны? Тогда, какъ Марина на его страстныя объясненія отвѣчаетъ:

„Стыдись! не забывай  
Высокаго святаго назначенья...

или:

„Дмитрій, ты и быть инымъ не можешь;  
Другаго мнѣ любить нельзя“ (т. е. Царевича).

Неужели послѣ этого Григорій могъ быть столько откровеннымъ?—Конечно, онъ былъ увлеченъ порывомъ страсти, онъ говоритъ:

„Любовь мутитъ мое воображенье...”

или:

„Ты мнѣ была единственной святыней,  
Предъ ней же я притворствовать не смѣлъ“.

Но могъ ли этотъ до изступленія страстный обожатель, какъ бы ни былъ оскорбленъ, говорить такъ:

„Нѣтъ,—легче мнѣ сражаться съ Годуновымъ  
Или хитрить съ придворнымъ Езуитомъ,  
Чѣмъ съ женщиной. Чортъ съ ними, мочи нѣтъ:  
И путаетъ, и вьется, и ползетъ,  
Скользитъ изъ рукъ, шипитъ, грозитъ и жалитъ“.

Нѣтъ, это не *любовь оскорбленная*, а досада обманутаго, пристыженнаго хитреца, который однако въ гнѣвной своей выходкѣ неудачно изобразилъ Марину: она не *вилась*, не *ползла*, и не *скользила изъ рукъ*...

При совершенствахъ внутреннихъ, при связности представлений, при быстротѣ дѣйствія,—внѣшние недостатки, которые впрочемъ у Г. Пушкина не часто встрѣчаются, бываютъ не совсѣмъ замѣтны; но здѣсь они, оставаясь какъ бы безъ защиты, слишкомъ явно выказываются, такъ, что трудно вѣрить, чтобы довершитель преобразованія нашего стихотворнаго языка могъ произвести таковыя стихи.

Стыдишься ты не-Княжеской любви:  
Такъ вымолви-жъ мнѣ роковое слово:  
Въ твоихъ рукахъ (?) теперь моя судьба  
Рѣши: я жду! (*бросается на колыни*).

## МАРИНА

Встань, бѣдный Самозванецъ.  
 Не мнишь ли ты коѣнопреклоненьемъ,  
 Какъ дѣвочки дотѣрчивой и слабой  
 Тщеславное мнѣ сердце умилишь?  
 Ошибся, другъ: у ногъ своихъ видала  
 Я рыцарей и графовъ благородныхъ;  
 Но ихъ молебъ я хладно отвергала  
 Не для того, чтобъ бѣлаго монаха..."

Но въ какомъ отношеніи сія сцена къ ходу Драмѣ?—Она вполне изображаетъ характеръ Марины; и сіе-го маловажное назначеніе изображеніе лица, никакими узами не связаннаго съ Борисомъ—столь долгаго и столь ошибочнаго во всѣхъ отношеніяхъ эпизода, еще болѣе усиливаетъ непріятное чувство, рождающееся при чтеніи онаго.

Слѣдующая за тѣмъ сцена, происходящая на Литовской границѣ, превосходна: въ словахъ Курбскаго, кажется, всякій звукъ выражаетъ пламенную жизнь, сильную душу, кипящую чувствованіями.

Представимъ себѣ въ началѣ XVII столѣтія—молодаго, пылкаго челоѣка, который върость, раздѣляя изгнаніе съ отцемъ своимъ, и который видѣлъ, какъ сей послѣдній груститъ до конца жизни, тосковать по прославленной и оскорбленной имъ отчизнѣ, гдѣ славная шумная жизнь его сіяла ярко. Сей юноша стремится съ завѣщанною тоскою по отечеству, воображая, что онъ взойдетъ туда на тронъ Царя законнаго, котораго отецъ былъ нѣкогда другомъ и врагомъ его отца, стремится къ примиренію тѣни покоящагося въ нѣдрахъ чуждой земли родителя съ оскорбленнымъ отечествомъ, и сей-то юный витязь, увидѣвъ границу давно желаннаго края, въ которой онъ вступаетъ со славою возстановителя древняго царственнаго рода, восклицаетъ:

„Вотъ, вотъ она, вотъ Русская граница!  
 Святая Русь! отечество! я твой!  
 Чужбины прахъ съ презрѣнемъ отряхну  
 Съ моихъ одеждъ; пью жадно воздухъ новыи:



Онъ мнѣ родной! Теперь твоя душа,  
 О мой отецъ, утѣшилась, и въ гробѣ  
 Опальныя возрадуются кости!  
 Блеснулъ опять наслѣдственный нашъ мечъ.  
 Сей славный мечъ, гроза Казани темной...

Вотъ языкъ истиннаго, неспритворнаго, сильнаго, возвышеннаго чувствованія! Легко чувствовать, легко постигать простую, но возвышенную красоту, трудно оцѣнить ее, трудно рѣшить, который стихъ можно предпочесть другимъ. Первый стихъ:

*„Вотъ, вотъ она, вотъ Русская граница!“*

совершенно выражаетъ чувствованіе человѣка, который наконецъ достигъ того, о чемъ всю жизнь свою мечталъ; эта простота, это быстрое повтореніе частицы *вотъ*, съ прибавленіемъ словъ, постепенно объясняющихъ предметъ его восторга, есть торжество Поэта — онъ выразилъ съ совершенною естественностію переходъ отъ слитнаго нѣмага ощущенія, рождающагося при первомъ возрѣніи на предметъ, къ сознанію причины восторга, въ которомъ онъ сначала не можетъ даже назвать ея причину, а только указываетъ ее краткою частицею. Второй стихъ, будучи столь же силенъ, простъ и естественъ, изображаетъ самымъ пламеннымъ поэтическимъ обращеніемъ причину столь живой, чистой радости. Стихъ третій и половина четвертаго, какъ выраженіе того же чувствованія, возмущаемаго огорчительнымъ, неприятнымъ воспоминаніемъ, прекрасны; далѣе: *нѣю жажду вѣдоуа неволи онъ мнѣ фантомъ! и проч.* Хотя нѣтъ здѣсь необыкновенной простоты, каковою отличаются первые стихи, и выказывается нѣкоторое некущество, но какая сила, какія чувствованія! Это самая возвышенная *Ода!* Сіе явленіе объясняетъ частію успѣхъ Самозванца, и столь тѣсно связано съ мѣстомъ, что совершенно проникаетъ изъ онаго; но жаль, что Поэтъ мало сямъ воспользовался; сіе явленіе требуетъ большаго развитія; оно должно поставить Бориса въ положеніе опасное, заставляющее страшиться за него.

Царская Дума здѣсь очень умѣстна; она, развивая дѣйствие, необходима для хода Драммы: внѣшняя сторона сѣи сцены вообще очень хороша, а нѣкоторыя мѣста прекрасны, особенно въ совѣтъ и разсказъ Патриарха, которые отличаются рѣдкою сообразностію съ савомъ, положеніемъ и отношеніями говорящаго къ Царю, и съ духомъ времени. Напримѣръ:

„Онъ пменемъ Царевича, какъ ризои  
Украденной, безстыдно облачился:  
Но стоитъ лишь ее раздрать—и самъ  
Онъ наготой своею посрамится“.

### Но умная рѣчь Шуйскаго—проза.

О битвѣ подъ Новгородомъ Сѣверскимъ не считаю нужнымъ говорить: неужели тамъ, кромѣ Французовъ и Нѣмцевъ, никого не было, кто-бъ могъ *поговорить по-Русски*?—Народная сцена передъ соборомъ слаба и безхарактерна, намъ нужно знать, для возбужденія участія, общее направленіе умовъ; мы желаемъ и боимся узнать вліяніе народнаго мнѣнія въ мысляхъ и чувствованіяхъ Царя, —и узнать это ожидаемъ изъ хода Драммы; а что одинъ или два мужика признаютъ въ Огрепьевѣ Царевича, или, какъ юродивый говорить дерзости Борису, эта пружина дѣйствія менѣе нежели слаба для такой огромной машины; это теряется въ обширномъ мірѣ, созданномъ Поэтомъ для Драммы.—Не менѣе странно и то, что царедворцы страшатся даже вида Царева, а на площади, передъ лицомъ этого ужаснаго Царя, всенародно дѣлаются вольности. Борисъ не былъ слабъ; онъ не былъ бездушнымъ, безхарактернымъ злодѣемъ; пусть намъ это доказываютъ и Поэты и Прозаики, не вѣримъ!

Достоинство сего мѣста, равно какъ и двухъ слѣдующихъ, состоитъ въ томъ, что здѣсь весьма удачно изображаются современныя особенности, а преимущественно въ послѣднихъ очень хорошо схвачены нѣкоторыя черты характера Григорія, взаимная вражда Русскихъ и Поляковъ, ихъ *похвальбы*, но снѣдены совершенно безъ нужды, и

даже вопреки единству мѣста, раздроблены между собою и оторваны отъ другихъ.

Наконецъ приступаемъ къ той минутѣ, которая и въ Исторіи разливаетъ уныніе и страхъ: это—смерть Годунова!—Здѣсь сначала Борисъ, не предчувствуя скорого конца, *разсуждаетъ* о бездѣйствіи своихъ потководцевъ и низверженіи мѣстничества; я говорю *разсуждаетъ* потому, что онъ такъ холодно выражаетъ свое неудовольствіе противъ Воеводъ, что если бы дѣло шло о простомъ отгорженіи областей или только о пораженіи войскъ, то и тогда бы можно было упрекать его въ равнодушіе; а тутъ вырываютъ изъ рукъ его власть, для которой онъ, какъ полагаетъ и самъ Поэтъ, рѣшился на послѣднее злодѣяніе, и сіе бездѣйствіе Воеводъ предаетъ его на уничтоженіе, его родъ, его имя, честь и славу на поруганіе. Въ такомъ положеніи, душа низвергаемаго сильнаго властолюбца должна пылать подобно грозному, всеразрушающему волкану; въ семъ-то воспламененіи она рождаетъ смѣлую мысль—низверженіе мѣстничества. Если же Поэтъ хотѣлъ представить Бориса не хладнокровнымъ, а слабымъ, потерявшимся, то какъ могла въ душѣ слабого, при столь ужасномъ положеніи, родиться эта мысль, отважная, великая; неужели это отчаяніе. Нѣтъ! Оно далеко отъ споконійствія. Отчаянный не скажетъ:

„Что дѣлають межъ тѣмъ герои наши?  
Стоять у Кромъ, гдѣ кучки казаковъ  
Смѣются имъ изъ-подъ гнилой ограды.  
Вотъ слава! Нѣтъ, я ими недоволенъ.  
Пошлю тебя начальствовать надъ ними“.

Это проиическое *герои* выражаетъ злобу, а не гнѣвъ. Завѣщаніе Царя—прекрасная проза: немного здѣсь стиховъ поэтическихъ, какъ, напримѣръ:

...„Не долженъ царскій голосъ  
На воздухъ теряться по пустому;  
Какъ звонъ святой, онъ долженъ лишь вѣщать  
Велику скорбь или великій праздникъ“.

И здѣсь есть удивительныя несообразности: Борисъ, поставляя сына дорожѣ *душевнаго спасенія* своего, могъ ли рѣшиться очернить свое имя въ его воспоминаніи? Могъ ли онъ сказать этому сыну:

....Я достигъ верховной власти—чѣмъ?  
Не спрашивай. Довольно ты невиненъ...”

Это противно человѣческой природѣ; мы хотимъ жить и въ памяти далекаго потомства, а жить въ памяти милыхъ сердцу—это высочайшее желаніе; это земное понятіе о безсмертіи. Онъ также завѣщаетъ сыну сдѣлать главнымъ вождемъ Басманова, несмотря на ропотъ мѣстничества, и вмѣстѣ съ тѣмъ приказываетъ не измѣнять *почтенія отцу*, потому что *привычка души Герцога*.—И вообще рѣчь сія слишкомъ слаба, спокойна, слишкомъ растянута, слишкомъ связана для того, чтобъ она приличествовала Борису, рожденному подданнымъ, умирающему Царемъ съ неправою совѣстью, оставляющему въ ужасное бурное время сына, для счастья, для величія коего онъ жертвуетъ въ смертный часъ совѣстью, *опущиваетъ священныя*; наставленіе сыну предпочитаетъ покаянію. Мнѣ и то удивительнымъ кажется, что сынъ допускаетъ отца принести ему такую непостижимо ужасную жертву въ XVII вѣкѣ.—но всего удивительнѣе: виднѣе, что смерть Царя сильнаго ввергаетъ народъ въ гибельную безнуду, и онъ пребываетъ въ какомъ-то неопытномъ спокойствіи; только послѣднее обращеніе его къ Патриарху и боярамъ имѣетъ характеръ рѣчи умирающаго Царя, но не Бориса. —Неужели восторженныи Поэтъ не смѣетъ изъ-за клеветы вызвать истину, дабы въ блестящей одеждѣ вымысла поставить ее передъ потомствомъ, и уменьшить читателя, внушить ему сожалеіе къ падающему величію? Конечно, гениальныя люди, совершивъ, такъ сказать, предопредѣленіе, не чувствуя болѣе призванія, указующаго имъ пути къ дѣятельности, слабѣютъ, утомляются; но и въ самомъ утомленіи бывають величійми людьми, слѣды величія. Отъ чего же Борисъ постоянно слабъ отъ начала до конца Драммы? Какъ можно вообразить человека, кото-

рый дѣлается злодѣемъ изъ желанія возвести родъ свой на престолъ, и который, еще разъ повторю, отвергаетъ очищеніе души своей послѣднимъ покаяніемъ, для того, чтобъ успѣть дать сыну наставленіе царствовать, и этотъ человѣкъ дѣйствуетъ слабо! — И такъ Бориса нѣтъ, но Драма еще не кончилась: еще остается три сцены. — Не считаю нужнымъ повторять, сколь много симъ прибавленіемъ нарушается единство дѣйствія; но нельзя замѣтить, что сии сцены не имѣютъ никакихъ красотъ, которыя бы сколько-нибудь искупали ихъ излишество. Здѣсь, не видя и слѣдовъ Поэзіи, встрѣчаемъ множество противорѣчій; такъ, напримѣръ: зачѣмъ сошлись Пушкинъ и Басмановъ? Чго сказалъ убѣдительнаго первый? Неужели то, что выразилъ свое сомнѣніе противъ такъ называвшагося Царевича, и объявилъ слабость силъ его? И отъ чего измѣнился и измѣнилъ послѣдній? — Неужели, читая Драму, должно справляться съ Исторіею? А въ борьбѣ Басманова съ самимъ собою, не все ли склоняло его, судя по собственнымъ его словамъ, въ пользу Феодора? И на что же онъ рѣшился? — Конецъ Драмы рѣшительно недостойнъ! Пушкина, какъ по дѣйствию, такъ и по стихамъ, какковы, напримѣръ, сін:

„Но я такъ Феодоромъ высоко  
Ужъ вознесенъ: начальствую надъ войскомъ“.

И такъ, гдѣ жъ наши надежды, ожиданія и преждевременная радость — видѣть Трагедію, достойную сей эпохи, равную Борису, — Трагедію, которая бы проявляла зрѣлый талантъ А. С. Пушкина, и, выражая вѣкъ героя, отгнѣняла бы мысли и чувствованія вѣка Поэта? Устраняясь отъ всѣхъ споровъ и опроверженія безусловныхъ похвалъ сему произведенію, не могу впрочемъ вѣрить искренности ихъ; скажу болѣе: имѣя высокое мнѣніе о сильномъ талантѣ Поэта и питая глубокое уваженіе къ нему, какъ представителю нашего вѣка въ грядущихъ вѣкахъ — думаю, что онъ самъ не вѣритъ симъ похваламъ, и посему смѣю надѣяться, что А. С. Пушкинъ, отвергнувъ лжепророчества лести, пойдетъ выше Бориса. „Неужели“, скажутъ



миѣ: — „Пушкинъ въ Борисѣ упалъ“, — нѣтъ, онъ сдѣлалъ шагъ впередъ, выше, но только одинъ шагъ, и сталъ на двухъ неровныхъ высотахъ неровной твердости, неравнаго объема. Онъ Борисомъ доказалъ, что много можетъ сдѣлать, а ничего не сдѣлалъ. Отъ чего это произошло? Неужели отъ неудачнаго выбора предмета? Нѣтъ! Борисъ есть такое лице, въ жизни котораго и самая существенность имѣеть много поэтического; ибо событія, ознаменованныя сильнымъ волненіемъ страстей, и подъ перомъ холоднаго историка носятъ отпечатокъ Поэзіи, особливо, когда Исторія не можетъ всего высказать. — Отъ недостатка поэтического таланта? Нѣтъ! Его достанетъ на многое: доказательство предъ глазами — Отъ недостатка воли? Сомнѣваюсь, не вѣрю! Я думаю, это случилось частью по необходимости, Отъ неестественнаго хода нашего образования, мы въ одномъ ушли, въ другомъ отстали: частью отъ того, что наши писатели теперь подобны поповоселенцамъ, которые, основавъ мѣстопробываніе свое на пустыхъ необозримыхъ равнинахъ, не заботятся о томъ, чтобы, выбравъ лучший клочекъ земли, воздѣлать оный съ возможнымъ тщаніемъ, но стараются захватить, какъ можно, болѣе полей. Такъ Г. Пушкинъ, назначивъ для своей Драммы несоразмѣрный, разнохарактерный періодъ, поставилъ себя въ необходимость изображать несвязныя сцены, для послѣдовательной связи которыхъ требовалось великое терпѣніе, одно вдохновленіе здѣсь недостаточно, безсильно! Совѣты друзей здѣсь конечно могутъ быть полезны, но какихъ друзей? Тѣхъ, которые могутъ и хотѣть проникнуть въ сущность идеи столь же глубоко, какъ самъ Поэтъ; тѣхъ, которые понимаютъ требованія вѣка, которые могутъ и чувствовать красоты творенія, и спокойно разсуждать о нихъ; безъ того нѣтъ въ Поэзии совѣта! Хотя чрезвычайно идетъ къ одной цѣли по одному направленію, но всякъ изъ насъ начинаетъ путь съ своей особенной точки, и *каждый* *идея* тянется, подобно муравьямъ, по протоптанной тропѣ, а *идея* или прокладываютъ новую стезю, или продолжаютъ ту, на которой, не кончивъ начатаго, остановились ихъ предшественники. Слѣдовательно

Г. Пушкинъ не можетъ и не долженъ хотѣть быть ни Шекспиромъ, ни Байрономъ, ибо они на его мѣстѣ не были бы тѣмъ, что *они сами*. И притомъ, идя впередъ, не должно прельщаться прежнею своею славою, не должно повторять ни словъ, ни дѣйствій своихъ, хотя имъ и рукоплескали когда-то.—Что было превосходно въ Русланѣ, то не нравится въ Борисѣ: но главное: духъ Поэта тогда только способенъ произвести великое, когда, проникну- тый своей идеей и проникнувшій въ характеръ своего предмета (и лицъ), онъ находитъ высочайшую награду и наслажденіе въ самой дѣятельности своей. Больно видѣть въ бездѣйствіи исполина, когда карлики, кряхтя работаютъ.

В. Плксинъ.

\* \* \*

\*) Слава, насъ учили, — дымъ:  
Свѣтъ—судья лукавый!

Жуковский.

- „Смерть... слава... обольстительный призракъ!.. Что за волшебную прелесть имѣешь ты для насъ слабыхъ смерт- ныхъ!.. Едва удастся намъ выбраться изъ подъ ига жи- вотныхъ потребностей, кои нервыя одолѣваютъ наше зем- ное существованіе, какъ душа, только что спознавшая саму себя, становится игралищемъ собственныхъ силъ и рабою собственныхъ прихотей. Ей кажется тѣсно и душ- но въ предѣлахъ своего недѣлимаго бытія: она ищетъ вы- биться, излиться, раскинуться сколько можно шире въ пространство, среди коего поставлена; и, при недостаткѣ существенной полноты, утѣшается, если шумъ, произво- димый ея усиліями, раздастся вокругъ нея болѣе или ме- нѣе приятными звуками. Забава, конечно, невинная; но за то — прочна ли?.. Сии обольстительные звуки... надолго ли ихъ становится? Какая волшебная сила можетъ оковать ихъ летучую бѣглость въ этой безпрестанно мятущейся

\*) „Голосъ" 1831 г., ч. 1, № 4 („Борисъ Годуновъ", Сочиненіе А. Пушкина, бесѣда старыхъ знакомцевъ). См. также Н. Погодинъ.

стихи, которая называется мифіемъ?.. Очарованіе естественно по разочарованіе гораздо естественнѣе!.. *Transit gloria!*—Такъ разсуждалъ я самъ съ собой третьяго дня, направляя стопы свои къ жилищу добраго и почтеннаго Князя *Антона Павловича*, у котораго въ этотъ день, по случаю рожденія старшей дочери и именинъ младшаго сына, снаряженъ былъ, по обычаю предковъ, богатый обѣдъ *наставъ*. Случай сдѣлалъ меня извѣстнымъ Князю, сохранившему отъ времени Екатерининскихъ барскую пышность и барское меценатство къ ученой брати, которое, не въ судъ нашему просвѣщенію, началось нынѣ выходить изъ моды. Въ прежне годы, когда онъ самъ былъ помоще, поретивѣ, у него отѣленъ былъ особенный день въ недѣль, который посвящался исключительно грамотѣямъ и писакамъ,

Прозаистамъ и Поэтамъ,  
Журналистамъ, Авторамъ,

приглашаемымъ и угощаемымъ,

Не по чину, не по лѣтамъ,

а по доброму изволенію хозяина. Здѣсь зарождались и созрѣвали многіе поэтическія вдохновенія, заплетались *витки Граммъ*, припавались *жиртвы Музамъ*. Здѣсь редакция *Парискаго Монтилька* имѣла свои торжественнѣйшія засѣданія и важнѣйшія совѣщанія. Здѣсь... но времена переходныя... Наша словесность мало-по-малу выбралась изъ гостиницъ, отъ того ли, что она слишкомъ отяжелѣла для нашихъ патрицевъ, переставъ разсмысаться розами и незабудками; или отъ того, что они слишкомъ отяжелѣли для ней, погрузившись въ болѣе основательныя экономическіе расчеты и въ болѣе полезныя агрономическіе. Можетъ быть, это не осталось безъ полезнаго вліянія на нашу литературу, ибо вывело ее на вольный воздухъ и сообщило ей самостоятельное бытіе, что не бездѣлица... Какъ бы то ни было, Князь *Антона Павловича*, какъ человѣкъ, долженъ былъ увлечься общимъ потокомъ. Онъ измѣнилъ

Музамъ для Цереры и Помоны; промѣнялъ Лагарпа на Домбала, пустился въ системы хозяйства: обогатилъ новыми улучшеніями плугъ; изобрѣлъ проэктъ для преобразования бороны; написать брошюрку о различныхъ свойствахъ навоза, и сдѣлался однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ корреспондентовъ Земледѣльческаго Журнала. Но старинныя привычки глубоко въѣдаются. Посреди важныхъ своихъ занятій, Князь любитъ иногда отдохнуть подъ шумокъ литераторовъ и ученыхъ, коихъ время отъ времени приглашалъ къ себѣ хлѣба соли откупать и добрыхъ рѣчей послушать.

Гостей было уже много, когда я вошелъ въ высокіе чертоги Его Сіятельства. Не имѣя никакого права на извѣстность, я не могъ возбудить никакого вниманія своимъ прибытіемъ; а моя природная застѣнчивость воспрепятствовала мнѣ призвать на себя любопытство. Я остался незамѣтнымъ. Изъ угла, представившаго мнѣ тихое и безмятежное убѣжище, усмотрѣлъ я только одно знакомое лицо, между множествомъ присутствующихъ. Это былъ мой старинный пріятель *Гильекинъ*. Онъ бесѣдовалъ жарко съ однимъ молодымъ офицеромъ, передъ большою картиною, на которую весьма не рѣдко простиралъ указательный перстъ свой. Глаза наши встрѣтились. Мы пріивѣтствовали издали другъ друга Зевесовскимъ мановіемъ; но не прежде сошлись вмѣстѣ, какъ по приглашеніи идти въ столовую. — „Сидѣть вмѣстѣ“ — сказалъ онъ мнѣ, пожавъ руку мимоходомъ. Я последовалъ за нимъ; и при занятіи мѣстъ вокругъ стола, успѣлъ втерѣться подлѣ него, по правую руку.

Мои скудныя свѣдѣнія въ гастрonomіи лишаютъ меня возможности представить подробное описаніе обѣда, которое не было бы конечно безъ занимательности. Я не припомню даже и числа блюдъ; ибо занимался болѣе слушаньемъ, чѣмъ кушаньемъ. По общимъ законамъ слова, равно господствующимъ при составленіи домашней бесѣды, какъ и при образованіи цѣлой системы языка народнаго, разговоръ начался съ односложныхъ междуметій, развился потомъ на фразы, и уже при концѣ обѣда, посыпался

бѣгламъ огнемъ общаго собесѣдованія. Говорили прежде о холерѣ; потомъ о театрѣ; перешли было къ политикѣ, но одинъ почтенный, пожилыхъ лѣтъ человекъ, у котораго я замѣтилъ признаки Каммергерскаго ключа, перервалъ вдругъ рѣчь и сообщилъ разговору другое направленіе.

— „Я думаю“ — сказать онъ, вытираясь салфеткою, послѣ жирнаго соуса, и наполняя рюмку свою виномъ — „я думаю, что все бѣды происходятъ отъ ученыхъ и стихотворцевъ. Ма foi, это пренеугомонныя головы. Мой Jean-pot—хоть бы напиримѣрь—съ тѣхъ поръ какъ вышелъ изъ пансіона и началъ писать въ альбомы, сдѣлался ни на что не похожъ. Такую несетъ дичь!..“

„Извините, Ваше Превосходительство“ — возразилъ сосѣдь его съ краснымъ воротникомъ на синемъ фракѣ. „Вы напрасно изводите смѣшивать ученыхъ съ стихотворцами. Это два противорѣчія, которыя, *secundum principium contradictionis*, имѣеть быть не могутъ, особливо въ нынѣшнія смутныя времена Словесности. Теперь стихотворство сдѣлалось синонимомъ невѣжеству. Невѣжество, конечно, беззаконно, но есть ли твореніе смиреніе и безвредіе ученаго?.. — „Вѣрно рубашка къ тѣлу ближе“ — подумалъ я самъ про себя — „Allons, professeur! — перервалъ хозяинъ. „Въ своемъ дѣлѣ ты не можешь быть судьей. Знаю я ваше смиреніе. Но—за что такая клевета на стихотворцевъ? По моему — это мокрая курица!.. На своемъ вѣку я приглядѣлся къ нимъ. Бывало, какъ соберутся у меня покойные... — „Покойные были очень покойны. Ваше Сіятельство“ — возразилъ съ живостію красныи воротникъ. „Я говорю о нынѣшнемъ несчастномъ поколѣніи. Эта внутренняя молодежь, помышляющая теперь священной дирою Апполона... *dura aetas... quibus repergitur*?.. Не говоря о дерзости, съ каковою поемѣвается она всѣмъ уставамъ и законоположеніямъ, коими держится политическое православіе; не говоря о презорствѣ къ святой классической древности, бывшей наставницею вѣковъ и народовъ; не говоря о нарушении всякаго уваженія, должнаго старости, воздѣиствіи опытами... *et sic in infinitum...*



(Здѣсь *Тлишкій* толкнулъ меня съ коварною улыбкою) ...чѣмъ изволитъ заниматься эта шумная толпа *circulatum*?... На какой ладъ настроены всея завыванія?... Ахъ!” — продолжалъ онъ съ сердечнымъ умилеи́емъ — „до худыхъ временъ мы дожили! Алтари Музъ раскопаны: языкъ Боговъ поруганъ...” — „Что правда, то правда” — подумать я съ тайнымъ самодовольствіемъ. „Но *Физинника* слишкомъ уже пламенна. Есть ли на что горячиться?... Одна дама, сидѣвшая подлѣ хозяйки, перервала мои мысли, перервавъ рѣчь ученаго: — „Иванъ Прокофьевичъ — сказала она разгорячившемуся *Димосову* — „старовѣрческій фанатизмъ вашъ давно извѣстенъ. Вамъ не удастся однако переманить насъ въ свою вѣру. Воля ваша — а намъ скучно читать *Россію*”. — „Такъ извольте читать новую поэмку *Батининскаго*” — возразилъ ученый съ примѣннымъ неудовольствіемъ. „Это — чудная эпопея, въ новомъ родѣ...” Хозяйка перервала рѣчь. „Шутки въ сторону” — сказала онъ тономъ медиатора. „Я и самъ знаю давно, что *Россія* никуда не годится: а вѣдь право — нынѣ прочесть нечего! Что это сдѣлалось съ нашею Словесностью? Все неписалось, хоть брось! Легко ли — самъ *Пушкинъ*, котораго я прежде читывалъ съ удовольствіемъ... что съ нимъ стало... что онъ такъ замолкъ?...” — „А *Борисъ Годуновъ*?” — подхватилъ одинъ изъ собесѣдниковъ. — „Не говорите вы объ этомъ несчастномъ произведеніи! — перервала дама, вступившая было въ состязаніе съ ученымъ. „Я всегда краснѣю за *Пушкина*, когда слышу это имя!... Чудное дѣло!... Уронить себя до такой степени!... Это ужасно! Я всегда подозрѣвала болѣе таланта въ творцѣ *Руслана и Людмилы*: я имъ восхищалась... но теперь...” — „Не угодно ли выслушать прекрасные стихи, которые я нарочно выпи- сать изъ одной Петербургской Газеты въ Англискомъ клубѣ?” — сказалъ одинъ молодой человекъ, у котораго огнущенная по модѣ борода мелькала изъ подъ широкаго, вышедшаго изъ моды, галстука. „Это на счетъ *Бориса Годунова*!...” — „Прочти-ка, прочти!” — вскричалъ хозяйка. „Я люблю до смерти эпиграммы и каламбуры...” Молодой

франтъ приосанился, вынулъ изъ кармана маленькую бумажку и началъ читать съ декламаторскимъ выраженіемъ:

„И Пушкинъ сталъ намъ скученъ,  
И Пушкинъ надоѣлъ,  
И стихъ его не звученъ,  
И гений охладѣлъ.  
Бориса Годунова  
Онъ выпустилъ въ народъ:  
Убогая обнова,  
Увы! ва Новый Годъ!“

Все захохотали и многіе закричали: bravo! прекрасно! безподобно! — „И это напечатано!“ сказалъ наконецъ Камергеръ. „Ну, *Пушкинъ*... Сарит!... Да и давно бы пора!... А то—вскружилъ головы молокососамъ ни за что, ни про что. Мои *Jeannot*—напримѣръ—бывало только имъ и бредить..“ „И всегда сомнѣвался, чтобы у него были истинный талантъ“, сказалъ одинъ пожилой человѣкъ, въ архивскомъ вице-мундирѣ. „А я часто и говаривалъ“, промолвилъ другой. — „Признаюсь“, сказалъ третій „Я и не думалъ; но теперь начинаю думать и готовъ сказать“... И толкнуть въ свою очередь *Тиньского*. „Чтожъ ты молчишь“, прибавилъ я ему потихоньку на ухо „Вѣдь вану тысячу рубль!“ *Тиньскій* молчалъ, утишивъ глаза въ тарелку. „Но“—раздался одинъ голосъ между присутствующими—„не должно снѣшить такъ опростовашливо приговоромъ. Посмотримъ еще, что скажутъ Журналисты...“ „Они иѣмы, какъ рыбы“—прервала дама. „И это молчаніе есть уже самое краснорѣчивое свидѣтельство.“ — „По моему, однако, гораздо вѣрнѣе и безопаснѣе приостановить свое сужденіе до рѣшенія *Московского Телеграфа*...“ „Но *Московский Телеграфъ* вѣрно будетъ на моей сторонѣ.. на сторонѣ правды.. на сторонѣ публики...“ возразила дама. „Но правда ли, monsieur Tlenski... Вы вѣрно уже видѣли, или по крайней мѣрѣ слышали, что готовится въ *Телеграфѣ*...“ — „Сударыня!“ отвѣчалъ *Тиньскій* съ примѣтнымъ замѣшательствомъ „Я ничего не знаю... да и какъ знать мнѣ?... Но.. я думаю—мнѣ кажется.. ходъ обстоятельствъ заставляетъ меня предполагать.. Что... что *Московский*

*Телеграфъ* не выскажетъ... не можетъ высказать откровенно... истинное мнѣніе о *Борисѣ Годуновѣ*. У него теперь столько враговъ... авторитетъ *Пушкина* еще такъ великъ... Коротко сказать... Я думаю... что онъ ограничится общими выраженіями и не пустится въ подробности... Да и лучше гораздо предоставить самой публикѣ разломать кумиръ, предъ которымъ она стоитъ долго благоговѣла... Чему быть, тому не миновать... обольщеніе не можетъ существовать долго... — „И однако ты былъ первый изъ обольстителей“, подхватить хозяйинъ. „Кто, бывало, трубилъ трубой объ этомъ *Борисѣ Годуновѣ*? Не ты ли протспоривалъ цѣлые вечера и выходилъ самъ изъ себя, доказывая, что эта *трагедія* или *комедія*—не помню, какъ ты называлъ ее—сдѣлаетъ эпоху въ нашей литературѣ и подвинетъ ее впередъ нѣсколькими столѣтіями? Не ты ли увѣрялъ, что одна сцена ея равняется *Пушкину* со всѣми первоклассными поэтами нашего великаго вѣка? Не ты ли... — „Я... можетъ быть... но...“ — „Monsieur Tlenski могъ также обманываться, какъ и всѣ... какъ и я сама...“ прервала дама. „Заблужденія столь же свойственны уму, какъ и сердцу...“ — „Oh! je suis absolument de votre avis, madame!“ подхватить *Гильский*. „Но первая проходятъ скорѣе, чѣмъ постыдныя!...“ Дама улыбнулась; между тѣмъ подали пить за здоровье. Разговоръ натурально долженъ былъ взять другое направленіе. Вскликанія и поздравленія раздались со всѣхъ сторонъ. Я сидѣлъ, какъ на иголкахъ. Нѣсколько разъ повторялъ я на ухо моему сосѣду: „Ты ли это? а?...“ *Гильский* не отвѣчалъ мнѣ ни слова: онъ вовлекся, какъ будто нарочно, въ общую суматоху, и припѣвалъ громко и ясно различныя вариации на общую тему: *многая мѣна!* Обѣдъ кончился. Я схватилъ *Гильскаго* за руку, когда начали вставать, и сказалъ ему: „Теперь, любезный, ты отъ меня не отдѣлаешься... я требую отъ тебя объясненія понималъ ли ты, что говорилъ?... а?...“ — „Отвяжись отъ меня“ — закричалъ онъ мнѣ съ досадою. „Ты меня хочешь душить своими диссертациями — а мнѣ, право, не до нихъ“ Я остановился и устремить на него испытующій взглядъ. „Ты однако не кривить ни-

когда душею—сказать я потомъ съ медленною важно-  
 стію—„хотя и принадлежишь къ извѣстному приходу“.  
*Тинькин* смѣшался. „Хорошо“, отвѣчалъ онъ съ живостью,  
 „пойдемъ въ кабинетъ Князя: тамъ закуримъ трубки и я  
 буду тебя слушать. Но, чуръ, не распространяться! И  
 дать слово составить парію *Дини Петровичъ*.“ Мы вошли  
 въ кабинетъ. На столѣ, какъ нарочно, лежалъ экземпляръ  
*Бориса Годунова*, разложенный на *сигары въ корчмѣ*. Я взялъ  
 книгу и обратился къ *Тиньскому*, набивавшему для меня  
 трубку. Читалъ ли ты всего *Бориса*? *Тинь.* Читалъ!  
*Я.* Ну—что же? *Тинь.* Что, братъ! я соглашаюсь совер-  
 шенно съ тобою! Такая дрянь, что невольно дивишься и  
 краснѣешь: какъ могъ я до сихъ поръ не быть одного съ  
 тобою мнѣнія... *Я.* Но почему ты знаешь, одного ли я  
 мнѣнія съ тобою... *Тинь.* *Повалить на оврагѣ*. О! твои  
 странности мнѣ не въ диковинку. Ты любишь плавать  
 противъ воды, идти наперекоръ общему голосу, вызывать  
 на бой общее мнѣіе. Тогда, какъ все благоговѣло передъ  
*Пушкинымъ*, ты почиталъ удовольствіемъ и честью нещадно  
 бранить его: но теперь, когда онъ палъ и все ополчается  
 противъ него, ты себя навѣрное поставишь въ удоволь-  
 ствіе и честь принять его подъ свою защиту. Но—повѣрь,  
 что хлопоты твои пропадутъ по напрасну. Защищенія твои  
 будутъ имѣть такой же успѣхъ, какъ и нападки. Глубоко  
 паденіе *Пушкина*: *Борисъ Годуновъ* зарѣзаетъ его, какъ  
 Дмитрія Царевича,—а ты хочешь играть роль *Шушенкова*!..  
 Право—не утвердить тебѣ на немъ вѣнца, косяго похище-  
 ніе начинается становиться слишкомъ ощутительно... *Я.* А  
 ты—съ братією—вѣрно хочешь разыгрывать *Самозванца*?  
 Дѣло не дурное!... Но—оставимъ аллегоріи!.. Скажи мнѣ  
 ясно и опредѣленно, за что несчастный *Борисъ* уналъ у  
 насъ такъ съ курсъ?..  
*Тинь.* Да, помилуй! Что это за  
 дребедень?... Не сумѣешь, какъ назвать ее... Ни то *тра-  
 гедія*, ни то *комедія*, ни го—чертъ знаетъ что!..  
*Я.* Ге! ге! ге! Такъ и ты начать разбирать имена!... А между  
 тѣмъ—не ваша ли братія называли прежде школьнымъ  
 дурачествомъ всякое покушеніе подводить произведенія по-  
 вѣнчен *Романтиковъ* и поэзи подъ разрядный списокъ

старинныхъ классическихъ учебниковъ?... Сшутить же надъ вами Пушкинъ шутку пробыломъ, который сдѣлать на заглавномъ листкѣ *Бориса Годунова*!.. Теперь извольте поломать свои застѣные головы... *Тинь*. Надобно же однако, чтобы поэтическое произведеніе имѣло опредѣленный характеръ, по которому могло бы относиться къ той или другой категоріи поэтического міра... фамилійный типъ. *Я*. Не истощаися, пожалуста, на фразы: онъ только затемняюгъ мысль твою, которой нельзя отказать въ справедливости. Но—развѣ въ *Борисѣ Годуновѣ* нѣтъ этого—какъ ты говоришь—фамиліаго типа... опредѣленнаго характера, по которому можно бы было его отнести къ той или другой... *Тинь*. Такъ что жъ—*орам* что ли это?... *Я*. Нѣтъ! *Тинь*. *Драматическая поэма?*... *Я*. Нѣтъ! *Тинь*. То, что Нѣмцы называютъ Schauspiel?... *Я*. Не даже то, что Испанцы называютъ Autos Historiales—хотя *Борисъ* сюда подходитъ ближе, чѣмъ куда либо... *Тинь*. А! понимаю... ты хочешь сказать—въ родѣ историческомъ—на подобіе Шекспировыхъ *хроникъ*—такъ что ли?... *Я*. Не совсѣмъ и такъ!... Шекспировы *хроники* писаны были для театра и посему болѣе или менѣе подчинены условіямъ сценики. Но *Годуновъ* совершенно чуждъ подобныхъ претензій. Диалогическая форма составляетъ только раму, въ коей Пушкинъ хотѣлъ воскресить для поэтического воспоминанія—говоря собственными его словами—

Дѣла давно минувшихъ дней,  
Преданья старины глубокой...

Это рядъ историческихъ сценъ... эпизодъ истории въ нѣмцѣ!... Не онъ первый, не онъ и послѣдній затѣять этотъ новый способъ поэтического представленія событій, неизвѣстнаго нашимъ дѣдамъ. *В. Скоттъ* подавъ къ нему поводъ *романамъ*; а Французская неистощимая живость не умедлила имъ воспользоваться, съ свойственною ей легкостью и затѣйливостью. Знаменитая трилогія, представляющая въ широкой панорамѣ сценъ исторію *Англіи*, со дня *Баррикады* со смерти *Генриха III*, тебѣ извѣстна. Она по-



родила тѣмъ подражаній. Всѣ Французскія дѣтеныши перерываются теперь съ неутомимною суетливостью, и замѣчательнѣйшіе моменты народной жизни перекладываются въ *разговоры и сценки* съ такимъ же усерднымъ рисункомъ, какъ бывало Французская Исторія перекладывалась въ *повѣсточки и чтифроскины* тщаньемъ Отцевъ Изумовъ. Вотъ фамилія, къ которой принадлежитъ *Годуновъ* и который тѣнь на себѣ онъ носитъ... *Глгн.* Очень хорошо! Такъ это *историческія сюжеты*?... Но, мнѣ кажется, что всякое изящное произведение должно имѣть органическую цѣлость, поэтический *ensemble*... *М.* Безъ сомнѣнія. *Глгн.* Ну, а есть ли хотя тѣнь цѣлости въ этой связкѣ разговоровъ, которая соединена въ одинъ переплетъ подъ именемъ *Горька Годунова*?... Не говори мнѣ о *Баррикадахъ*! Я читалъ ихъ. Это цѣльная и полная картина, начинающаяся съ начала и оканчивающаяся концемъ! А *Годуновъ*?... Смѣхъ да и только!... У него конецъ въ серединѣ, а начало—Богъ вѣсть, гдѣ... *М.* Какъ такъ!... *Глгн.* Да—такъ!... Какъ называется вся шесца? *Горька Годунова*?... Стало быть, онъ—*Горька Годуновъ* умираетъ: а эти *историческія сюжеты* все еще гауцутся и морятъ терпѣние... *М.* Такъ тебя это соблазняетъ, любезный! А, по моему, здѣсь не только не на что негодовать, но не надъ чѣмъ и задумываться. Дѣло все состоитъ въ томъ, что ты не понимаешь надлежащимъ образомъ идеи поэта. Не *Горька Годуновъ*, въ своей биографической недѣлимости, составляетъ предметъ ся, а царствованіе *Горька Годунова*—эпоха, имъ наполняемая мѣръ, имъ созданный и съ нимъ разрушившійся однимъ словомъ—*историческое бытіе Горька Годунова*. Но оно оканчивается не его смертію. Тѣнь могущественнаго Самодержца возсѣдала еще на престолѣ Московскомъ въ краткіе дни царствованія и жизни *Осифа Горька* умеръ совершенно въ своемъ сынѣ. Тогда начался для Москвы новый переломъ, новая эра: тогда—не стало Годунова... *Глгн.* Но, въ такомъ случаѣ, принадлежало бы начать гораздо раньше. *Горька* царствовалъ задолго до вступленія своего на престолъ Московскій... *М.* Не царствовать, а царевать—это правда! *Горька*—Правитель имѣлъ

конечно всю царскую власть въ рукахъ своихъ: Онъ вѣдалъ самодержавно землю Русскую изъ-за слабаго *Никола*; но быть рабомъ старыхъ формъ Московскаго быта и не дерзаль преступать ихъ. Отсюда—царствование сына *Юаннова*, несмотря на то, что держалось рукою *Борисовою*, не представляетъ никакого измѣненія въ физиономіи царства Московскаго. Это была благочестивая панихида по *Грозному*—не болѣе!—*Борисъ* зачалъ новую жизнь для себя и для Москвы тогда, когда утвердилъ на себѣ вѣнецъ, который прежде держалъ на главѣ *Никола*. Съ того времени начинается его историческое существованіе: съ того времени долженъ онъ явиться на позорище... *Тамъ*. Онъ явился на позоръ въ сценахъ *Пушкина*... *М. Извини, любезный!*... Это именно и составляетъ ихъ достоинство, что сей колоссальный призракъ нашихъ среднихъ временъ, облеченный всею прелестью романтической фантазмагоріи, представленъ въ нихъ такъ, какъ доселѣ еще не бывало. Величіе генія *Борисова* разстилается гигантскою тѣнью въ скудныхъ воспоминаніяхъ нашей исторіи: но глубина септоисполнческой души занавѣшена еще мрачнымъ покровомъ. Что совершалось въ сокровенныхъ ея пещерахъ тогда, когда Москва, выплакавшая себѣ Царя, должна была, вмѣсто ожидаемаго успокоенія, пенять подъ нимъ всю тяжесть тиранства, которое было тѣмъ убійственнѣе, чѣмъ скрытнѣе и лукавѣе?... Ужасенъ ропотъ современниковъ, такъ вѣрно переданный *Пушкинымъ*:

Что пользы въ томъ, что явныхъ козней нѣтъ,  
 Что на полу кровавомъ всенародно  
 Мы не поемъ каноновъ Иисусу,  
 Что насъ не жгутъ на площади, а Царь  
 Своимъ жезломъ не подгребаешь углей?  
 Увѣрены-ль мы въ бѣдной жизни нашей:  
 Насъ каждый день опала ожидаетъ,  
 Тюрьма, Сибирь, клобукъ иль кандалы,  
 А тамъ въ глуши голодна смерть иль петля?  
 . . . . .  
 Легко-ль, скажи: мы дома, какъ Литвой.  
 Осаждены невѣрными рабами;

Все языки, готовые продать,  
 Правительствомъ подкупленные вору,  
 Зависимъ мы отъ перваго холопа,  
 Котораго захочемъ наказать.

И между тѣмъ, это было царствование того же самаго *Гориса*, который при торжественномъ вступлении своемъ на престолъ, клялся раздѣлить свою рубашку съ подданными!.. Откуда-жъ произошла столь ужасная перемена? Исторія представляетъ только дѣйствія совершающіяся на аван-сценѣ жизни: поэзія можетъ приподнимать кулисы и указывать за ними сокровенныя пружины, коими движется зрѣлище. Я не говорю, чтобы *Пушкинъ* угадалъ истинную тайну души *Горисовой* и надлежащимъ образомъ понять всю чудесную игру страстей ея. Сердце *Горисова* требуетъ еще глубокаго испытанія. Былъ ли это вертепъ злодѣяства, со- влекшаго съ себя личину при сознании своего всемогущества... или, можетъ быть, личина властолюбія, неразборчиваго на средства для сокрушенія встрѣчаемыхъ имъ препятствій?... *Пушкинъ* принялъ средину между сими двумя крайностями, на которой держалъ себя и *Карамзинъ*—хотя, можетъ быть, сія середина не есть еще золотая. На его глаза, душа *Гориса* была не что иное, какъ отшельническая пустыня виновной совѣсти, борющійся съ призраками преступленія, кои всюду ее преслѣдуютъ; и съ этой точки зрѣнія, кои вѣрнѣе я совсѣмъ защищать не намѣренъ, лице *Горисова*, если не совершенно отдѣлано, то по крайней мѣрѣ рѣзко очеркнуто въ сценахъ *Пушкина*. Я не доводилъ первую изъ нихъ, гдѣ *Горисъ* является съ *Надирархомъ* и *Басиромъ*. Въ немъ лице его не имѣетъ ни какой выразительности и слишкомъ благоговѣнное воззваніе къ тѣни *Османова*, которое могло быть только слѣдствиемъ необходимаго этикетнаго производства:

О праведникъ, о мой отецъ державный,

не будучи пояснено выраженіемъ истинныхъ чувствованій *Гориса* бросать на него мрачную тѣнь низкаго лицемерія. Настоящаго его характеръ, по образу воззрѣнія поэта,

обнаруживается во всей наготѣ вторичнымъ монологомъ, послѣ таинскаго совѣщанія съ кудесниками. Здѣсь онъ вынуждается приподнять самъ предъ собою завѣсу, подъ которою таится червь, неусыпно изъѣдающій его душу:

Я думалъ свой народъ  
Въ довольствіи, во славѣ успокоить,  
Щедротами любовь его снискать—  
Но отложить пустое попеченье:  
Живая власть для черни ненавистна,  
Они любить умѣютъ только мертвыхъ.  
Безумны мы, когда народный плескъ,  
Иль ярый вопль тревожитъ сердце наше!  
.....  
Ахъ, чувствую: ничто не можетъ насъ  
Среди мірскихъ печалей успокоить:  
Ничто, ничто... едина развѣ совѣсть—  
.....  
Но если въ ней единое пятно,  
Единое случайно завелось:  
Тогда бѣда: какъ язвой моровой  
Душа сгоритъ, нальется сердце ядомъ,  
Какъ молоткомъ стучить въ ушахъ упрекомъ,  
И все тошнить, и голова кружится,  
И мальчики кровавые въ глазахъ...

Эта послѣдняя черта, конечно, слишкомъ жестока: я бы посоветовалъ ее оставить. Но—вотъ пламя, пожиравшее душу *Бориса*, которое отливалоcь багровымъ заревомъ на все Московское царство!.. Теперь дайте!.. Насильственное спокойствіе царскаго величія подавляетъ внутренний мятежъ подозрѣній, взволновавшихся въ сердцѣ *Бориса* при слухахъ о новой смутѣ. Имя *Димитрія*, подобно электрической искрѣ, мгновенно взрываетъ ихъ вулканическое скопление.

Димитрія!.. какъ? этого младенца?  
Димитрія!.. Царевичъ, удались.  
.....  
Димитрія! ..  
..... Взять мѣри сей же часъ;  
Чтобъ изъ Литвы Россія оградилась

Заставами: чтобъ ни одна душа  
 Не перешла за эту грань; чтобъ заяцъ  
 Не приближалъ изъ Польши къ намъ; чтобъ воронъ  
 Не прилетѣлъ изъ Кракова! Ступай!..

Въ слѣдъ за симъ, я опять не хотѣлъ бы встрѣтить насильственнаго смѣха, коимъ поэтъ заставляетъ *Бориса* удивлять свое смѣяние въ собственныхъ глазахъ и въ глазахъ Шуиускаго. смѣхъ этотъ слишкомъ искусственъ; а притомъ мы слышали его въ *Коварствѣ* и *Любови* Шиллера. Но передышка его, послѣ убійственнаго описанія смерти *Димитрія*, которое онъ осужденъ былъ выслушать, имѣетъ опять истинное достоинство:

Ухъ, тяжело!.. дай духъ переведу —  
 Я чувствовать: вся кровь моя въ лице  
 Мнѣ кинулась и тяжко опускалась...  
 Такъ вотъ зачѣмъ тринадцать лѣтъ мнѣ сряду  
 Все снилося убитое дитя!  
 Да! да — вотъ что! теперь я понимаю.  
 . . . . .  
 Охъ гдѣ-та ты малька Мономаха!

Молчаніе его въ *Думѣ*, при разсказѣ *Патріарха* о чудодѣйственной силѣ святыхъ остатковъ *Димитрія*, блистающемъ всею прелестію простосердечія, столь убійственного для виновной совѣсти, стоитъ также молчанія Аякова въ поляхъ *Елисейскихъ*!.. Правда, смерть царя — кромѣ неправдоподобныхъ въ отношеніи къ краткости промежутка между бодрымъ разговоромъ его съ *Басмановымъ* и внезапнымъ изнеможеніемъ на одрѣ смерти, занимаемаго только десятистрочнымъ монологомъ того же самаго *Басманова* — представлена довольно слабо. Его прощальная бесѣда съ сыномъ составляетъ уже слишкомъ длинную и черезъ-чуръ наставительную предіку. Душа въ послѣднія минуты внезапно обрывающагося жизни не бываетъ говорлива: она болѣе чувствуетъ. И что — если бы поэтъ умѣлъ представить намъ суровую душу *Бориса* въ сіи торжественныя мгновенія полнаго излиянія!.. Но — быть такъ!.. Не смотря на это, должно сознаться, что *Борисъ*, подѣ *Карамзинскихъ*



угломъ зрѣнія, никогда еще не являлся въ столь вѣрномъ и яркомъ очеркѣ. Посмотри даже на мелкія черты: онъ иногда одною блестящею освѣщають цѣлыя ущелія души его! Не обнажаетъ ли предъ тобою всю прелесть простосердечія ума великаго — богатаго силою, но обдѣленнаго образованіемъ — этотъ добродушный вопросъ его Царевичу:

А это что такое  
Узоромъ здѣсь вѣтся?..

Или... не слышишь ли ты въ этомъ медленно раскатывающемся взрывѣ — коимъ оканчивается глухая исповѣдь *Князя Шуйскаго* — весь ужасъ бури, хлопочущей въ душѣ его:

Подумай, Князь! Я милость обѣщаю,  
Прошедшей лжи опалою напрасной  
Не накажу. Но если ты теперь  
Со мной хитришь, то головою сына  
Клянусь—тебя постигнетъ злая казнь,  
Такая казнь, что Царь Иванъ Васильичъ  
Отъ ужаса во гробъ содрогнется.

А!.. Что ты на это скажешь?.. Или ты спишь никакъ..  
*Тильн.* Совсѣмъ вѣтъ! я, напротивъ, тебя заслушался! продолжай, продолжай!.. Переметывай кадило... *Я.* Да я совсѣмъ не шучу съ тобой! Что ты на это скажешь? —  
*Тильн.* А — что-жъ такое! Еслибъ *Борисъ* самъ и дѣйствительно былъ представленъ хорошо *Пушкинымъ* — такъ развѣ онъ одинъ тамъ только. Ну—а прочая святая братія... *Я.* *Шуйскій* представленъ мастерски — отлично!.. Безстыдная угодливость царедворца выливается ярко на всѣхъ его рѣчахъ и поступкахъ. Ему не стоитъ ничего отпереться отъ собственныхъ словъ предъ прямодушнымъ *Воротынскимъ*; онъ выманиваетъ у *Пушкина* тайну о Самозванцѣ и самъ несетъ ее къ *Борису*. Ничто не могло дать лучше и вѣрнѣе объ немъ понятія, какъ эти слова *Бориса*, задержавшія клятвы, на которыя онъ готовъ былъ разсыпаться:

Нѣтъ, Шуйскій, не клянись,  
Но отвѣчай!..

Лукавый оборотъ, коимъ *Шуйскій* отклоняетъ добродушное предложеніе *Патрарха* о перенесеніи мощей *Димитрія*, показываетъ всю ловкость его въ искусствѣ царегудничества и заслуживаетъ ему вводи́ть имя *молодца*, который умѣетъ *выручить*... *Тимъ* (*побрежно*). Продолжай.. продолжай.. дажь... *И. Патрархъ* поставленъ также не дурно. Въ разговорѣ съ *Исхмномъ*, онъ является во всей простотѣ добраго старца; при совѣщаніи, на Царской Думѣ, возвышается до боголѣпной святительской торжественности... *Тимъ*. А по моему — онъ ничего не значить въ сравненіи съ *Миономъ* и *Варнамомъ*... вотъ такъ настоящие старцы!.. Шутки въ сторону — а это чуть ли не первыя лица между всею братією, составляющею причтъ *Голуновъ*! На нихъ только и можно полюбоваться, въ нихъ видѣнь еще талантъ *Никиина*!.. Чортъ возьми! Я готовъ за нихъ простить ему все грѣхи: уморили меня со смѣху... *И.* Какой, вѣроятно, и помѣнать тебѣ раземотрѣть, что это одна изъ самыхъ худшихъ сценъ *Гарриса*! Я не спорю, что бродяги изображены въ ней весьма вѣрно, прямо съ натуры; и самъ на нихъ отъ души посмѣялся. Но — кромѣ излишества, до котораго въ нѣкоторыхъ пунктахъ доведенъ этотъ фарсъ — это драматическое строеніе исполнено такихъ несообразностей, что изъ рукъ выплываетъ стагочное-дѣ, напримѣръ, дѣло, чтобы въ то время, когда сами приславы привизываются съ подозрѣніями къ *Мисанду* и сен послѣдній объявляетъ себя безграмотнымъ — *Григоръ* издумать сватить бѣду на *Варлаама*, который — хотя и когда-то — но все-таки умѣлъ читать? и слѣдовательно могъ изобличить его обманъ, какъ дѣйствительно и случилось?... Спасение изобличеннаго обманщика изъ корчмы, съ книжалою въ рукѣ, было бы, можетъ быть, и очень эффектно, еслибы только не весьма естественное сомнѣніе: какъ онъ могъ проскочить сквозь окно корчмы, которая и понынь красна бываетъ пирогами, а не углами и окнами? Нѣтъ! я почти столько-же недоволенъ этимъ фарсомъ, какъ и каррикатурнымъ смѣшеніемъ яяковъ на сценѣ *Семъ*... *Семъ*... *И. Патрархъ* — *Сиверскаго*... *Тимъ*. Какъ! Тебѣ и это не нравится! А и! кемъ *разсказано*! *пони*...

всѣ эти штуки!.. Ну, братъ! съ тобой дѣлаются чудеса. Мнѣ, кажется, что холера составляетъ эпоху въ твоёмъ образѣ мыслей. Назадъ тому мѣсяцевъ шесть, ты бы первый сталъ доказывать, что здѣсь-то именно и является талантъ *Пушкина*. Тогда въ твоихъ глазахъ, или, по крайней мѣрѣ, въ твоихъ словахъ — только что на каррикатуры онъ былъ и годеиъ. Я помню, какъ ты это напѣвалъ мнѣ. А ты — ты... я думаю, скажешь съ *Шульскимъ*:

Теперь не время помнить!..

*Я.* Напротивъ—и теперь все равно! Какъ будто нельзя имѣть талантъ и давать промахи! Я всегда говорилъ, что фантазія *Пушкина*, прихотливая и своеобразная, мастерица на арабески. Это подтверждается и здѣсь сценою *Юродиваго... Гиря. Юродиваго...* этого еще не доставало!.. Да можетъ ли что быть хуже?.. Дикій фарсъ... безъ мысли... безъ цѣли... *Я.* А по моему — и съ мыслию и съ цѣлю! Можно ль было лучше и вѣрнѣе съ исторіей довести до недоступнаго слуха грознаго Царя грозную вѣсть, что его преступленіе не есть таинна для безмолствующаго народа? А это необходимо было для того, чтобы заставить *Бориса* испить до дна чашу мести... Что фигура *Юродиваго* накинута очень легко — это правда: за то всѣ черты ея истинны и выразительны. *Тынь. Изъ тѣхъ коннакъ! жеманный коннакъ! шр. ррр.*.. Что въ самомъ дѣлѣ очень живописно!.. Ну — любезный! очень вижу я, что тебѣ хочется, наперекоръ всѣмъ, сдѣлать изъ *Годунова* шеф-боссуге нашей поэзіи... *Я.* Ничего не бывало! Я хочу только обличить твою несправедливость къ произведенію, которое ни сколько не унижаетъ таланта, коему обязано бытіемъ своимъ. Недостатки его, можетъ быть, для меня гораздо болѣе ощутительны, чѣмъ для тебя самого... *Тынь.* А... такъ это солнце имѣетъ же для тебя свои пятна!.. Укажи-ка ихъ мнѣ, пожалуйста! Я догадываюсь напередъ, что это должны быть такія вещи, въ коихъ мы профаны находимъ слѣды генія *Пушкина*. Тебя надобно вѣд.

понимать наизнанку... *М.* За то я самъ смотрю съ лица на дѣло!.. Существенный недостатокъ *Бориса* состоитъ въ томъ, что въ немъ интересъ раздвоенъ весьма неудачно: и главное лице *Голуновъ*—пожертвовано совершенно другому, которое должно бѣ играть подчиненную роль въ этомъ славномъ актѣ нашей исторіи. Я разумѣю *Самозванца*. Какъ будто по заговору съ исторіей, Поэтъ допустилъ его въ другой разъ возстать на *Бориса* губительнымъ призракомъ и похитить у него владычество, принадлежавшее ему по всемъ правамъ. Лице *Димитрія* есть богатѣйшее сокровище для искусства. Оно такъ создано дивною силою, управляющею судьбами человеческими, что въ немъ исторія пересиливаетъ поэзію. Стоитъ только призвать на него вниманіе — и тогда все образы, сколь бы ни были колоссальны и величественны, должны исчезать въ фантастическомъ заревѣ, имъ разливаемомъ, подобно какъ исполинны горы исчезаютъ для глазъ въ пурпурѣ неба, обогрѣнаго свѣрнымъ сіяніемъ. А потому тѣмъ осторожнѣе и бережнѣе надлежало поступать съ нимъ Поэту, избравшему для себя героемъ *Бориса*. Это дивное лице слѣдовало поставить въ должной тѣни, дабы зрѣніе не отрывалось имъ отъ законнаго средоточія. Но у *Пушкина*, по несчастію, *Самозванецъ* стоитъ на первомъ планѣ; и—*Борисъ* за нимъ исчезаетъ: онъ становится постороннимъ незамѣтнымъ гостемъ у себя дома. Музы наказали однако се законопреступное похищеніе въ поэзіи, точно также какъ наказано оно рокомъ въ исторіи. *Самозванецъ* выставляется только для того, чтобы показать свою ничтожность. Въ сценахъ *Пушкина*, такъ же какъ и на Престолѣ Московскомъ, онъ ругается безпрестанно надъ своей чудной звѣздой, какъ бы нарочно изученною безхарактерностью. Возьми самую первую сцену, гдѣ онъ является на позорище... сцену въ кельѣ *Императрицы*. *Тамъ*. Ну какъ! Самая лучшая сцена, какая только есть во всемъ *Голуновѣ*... *М.* По наружной отдѣлкѣ—не спорю! Но тѣмъ для ней хуже!.. Я согласенъ, что эта сцена, взятая отдѣльно, есть блистательнѣйшее произведеніе поэзіи. Она говоритъ мыслями, кинигъ чувствомъ. Но, по

несчастью, ей не достаетъ самой простѣйшей и самой важнѣйшей вещи — исторической истины. Ну возможно ли, чтобъ старецъ *Илионъ*, сколь ни много видѣлъ онъ при Дворѣ Іоанновомъ, могъ восторгнуться до того *высшаго взгляда* на судьбы человѣческія, котораго изъ всѣхъ нѣнѣшнихъ Французскихъ и Нѣмецкихъ системъ не могъ вычитатьъ, при всей своей досужности, такъ называемый Историкъ Русскаго Народа? Сін высокія мысли:

Минувшее проходитъ предо мною —  
Давно-ль оно неслось событій полно,  
Волнуясь, какъ море—океанъ?  
Теперь оно безмолвно и спокойно:  
Не много лицъ мнѣ память сохранила,  
Не много словъ доходитъ до меня...  
А прочее погибло безвозвратно!

сін высокія мысли — хотя Поэтъ и старался передать ихъ на древнее Русское нарѣчіе — обличаютъ въ смиренномъ *Чудовскомъ* отшельникѣ наслѣдника идей *Герасимовыхъ*. Прекрасно, да не на мѣстѣ!.. Но оставляя это, какъ промахъ, слишкомъ выкупаемый своимъ относительнымъ достоинствомъ, я не могъ извинить ничѣмъ той псевдности и того безпрестаннаго противорѣчія съ самимъ собой, которое представляетъ лице *Лже-Димитрія*. Въ первой сценѣ, о которой я теперь говорю, онъ является еще пламеннымъ энтузіастомъ, летающимъ дерзкими мечтами по поднебесью, но между тѣмъ еще носящимъ на себѣ печать дѣтской простоты, нарѣзанную иноческимъ послушаніемъ. Въ *корчмѣ на Дмитровской границѣ* — онъ уже отчаянный разбойникъ, изученный всѣмъ приѣмамъ опытнаго преступленія. Непосредственно вслѣдъ за тѣмъ, у князя *Винновскаго* — бѣглый Чудовскій монахъ витѣйствуетъ пышными фразами о высокомъ значеніи поэзіи:

Я вѣрую въ пророчества пѣнтовъ.  
Нѣтъ, не вотще въ ихъ пламенной груди  
Кипитъ восторгъ: благословится подвигъ,  
Его жъ они прославили заранѣ!



Знаемъ мы, что *Ажес-Димитрій* подписывалъ имя свое полатыни, хотя и безъ соблюденія орфографіи; но поэзи надлежало бы изъяснить эту чудную черту исторической физиономии *Самозванца*, или вовсе до ней не касаться. Сіе послѣднее особенно прилично было въ *Горюновъ*, гдѣ гораздо бы интереснѣе было увидѣть, въ первой аудіенціи *Ажес-Димитрія*, не литературныя его свѣденія, а живую и полную картину различныхъ побужденій, кои созвали подъ знамена его первыхъ слугъ и первыхъ ратниковъ. Это общее мѣсто, произнесенное *Гаврилою Пушкинымъ*:

Они пришли у милости твоей  
Просить меча и службы—

совершенно ничего не сказывается въ этомъ отношеніи: а между тѣмъ намъ пріятно бы было найти въ поэзи, если не извиненіе, то по крайней мѣрѣ объясненіе столь страннаго ослѣпленія! Но — всего чуднѣе, всего непонятнѣе положеніе, въ коемъ Поэту заблагоразсудилось поставить *Ажес-Димитрія* (ночью, въ саду, при фонтанѣ) предъ *Маринюю*!.. чудное дѣло! Видно фонтаны заклѣты для *Пушкина*!.. Романтическое *Дон-Кихотство*, въ силу коего хитрый *Самозванецъ*, почти слѣпившій уже для себя корону, открываетъ своей Дульцинеѣ тайну, на которой, какъ на волоскѣ, держится все бытіе его, и упорство, съ коимъ онъ поддерживаетъ свое безумное признаніе, для того, чтобы вымолить миртовую вѣточку у женщины, признающей съ торжественнымъ безстыдствомъ, что она любила въ немъ только имя, имъ похищенное—ну на что это похоже!.. И не могъ спокойно слушать этой сцены, которую читалъ мой пріятель. Меня хватало за живое. Видя возрастающее безуміе *Самозванца* и возрастающую наглость *Маринки*, я не переводилъ духа, ловя во всякомъ словѣ надежду, что это проклятое дѣло какъ-нибудь уладится: и наконецъ — кончилъ повтореніемъ стиховъ, заключающихъ эту несчастную сцену:

Чортъ съ ними: мочи нѣтъ:  
И путается, и вьется, и ползетъ,  
Скользнуть изъ рукъ!..

Вотъ уже гдѣ дѣйствительно жалко *Пушкина*! Такъ онъ сбился, что не узнаешь!.. А между тѣмъ, какъ нарочно, эта злодѣйская сцена, въ отношеніи къ наружной отдѣлкѣ, премастерская!.. Последнія сцены, въ концѣ является *Ажѣ-Димитрій*, хоть ужъ тѣмъ хороши, что не подкрашены; а потому ничтожность ихъ въ глаза не мечется!.. И такъ—*Самозванецъ* для того заслонилъ собою *Бориса*, чтобы показаться уродомъ! Конечно, это большое несчастіе, которое не могло не повредить эффекту всей пьесы. . но... *Тамъ*. Опять — но!.. Знаю, ты найдешь и *contre* и *rouge*... Но заблѣвывать черное гораздо труднѣе, чѣмъ чернить бѣлое. Не безпокойся!.. Я усталъ слушать твои подробности; да и трубка моя докурилась. Пора идти: чай — заждались и такъ меня. Скажу только тебѣ одно слово: поэзія есть творчество; а здѣсь нѣтъ ни одного оригинальнаго созданія. *Борисъ* и *Щуйскій*, которыхъ ты хвалишь, переложены только въ стихи изъ пѣвучей прозы *Истории Государства Россійскаго*. — *И*. Да что-жь дѣлать, когда ломаная проза *Истории Русскаго Народа* о сую пору все еще продирается сквозь заповѣдную чащу *Ростиславовъ* и *Пяславовъ*? Что бы ей добрался хоть до *Годуновъ*?.. А то — у кого-жь достанетъ совѣти творить историческія лица!.. Впрочемъ, если дѣло дошло до творчества, то я тебѣ покажу, что ты не читалъ *Бориса*, или читалъ по складамъ. А молодой *Курбскій*? Развѣ это не собственное созданіе *Пушкина*?.. И какое еще созданіе... О! я не могу безъ умиленія повторять этого трогательнаго изліянія, въ космѣ такъ свѣтло отражается душа чистая, полная святою дѣтскою любовью къ родинѣ.

Вотъ, вотъ она, вотъ Русская граница!  
 Святая Русь! Отечество! Я твой!  
 Чужбины прахъ съ презрѣньемъ отрясаю  
 Съ моихъ одеждъ, пью жадно воздухъ нозый:  
 Онъ мнѣ родной! Теперь твоя душа,  
 О мой отецъ, утѣшилась, и въ гробѣ  
 Опальныя возрадуются кости!  
 Блеснулъ опять наслѣдственный нашъ мечъ!  
 Сей славный мечъ—гроза Казани темной,

Сей добрый мечъ—слуга Царей Московскихъ!  
Въ своемъ пиру теперь онъ загуляетъ  
За своего надежу—Государя!..

А!.. Это для меня выкупаегь почти *Нулина*... *Тини*. Толкуй себѣ, толкун!.. *Нулина*-то и понинѣ читаютъ съ жадностію: а о *Борисѣ*—спроси-ка у публики... *И*. Публики! Будто не извѣстна наша публика?... Правду сказать, *Пушкинъ* самъ избаловалъ ее своими *Нулиными*, *Цыганами* и *Разбойниками*. Она привыкла отъ него ожидать или смѣха, или дикости, оправленной въ прекрасныя стишки, которые можно написать въ альбомъ, или положить на ноты. Ему вздумалось теперь переменить тонъ и сдѣлаться по степени: такъ и перестали узнавать его! Вотъ тебѣ разгадка холодности, съ которою встрѣченъ *Годуновъ*! Онъ теперь гудитъ, а не щебечетъ. Странно было и для меня такое превращеніе: но я скоро призналъ *Пушкина*. Поэтъ только переменялъ голосъ: а вамъ чудится, что онъ спалъ съ голоса... — „Мнѣ чудится“ — перервалъ *Тинискинъ*—„что меня кличутъ И дѣйствительно!.. Прощай, любезный!.. Ты можешь витійствовать, какъ угодно: но—дѣло сдѣлано!.. *C'en est fait*... Гласъ народа, гласъ Божій!.. *Годунову* не воскреснуть...“ Онъ порхнулъ подобно зефиру... „Ахъ!“ вскричалъ я, оставшись одинъ. „Зачѣмъ *Пушкинъ* умѣлъ только сказать эту высокую истину:

Блаженъ, кто про себя тайлъ  
Души великія созданья  
И отъ людей, какъ отъ могилъ,  
Не ждалъ за пѣсни воздаянья!“

*Н. Надеждинъ.*

\* \* \*

\*) *Борисъ Годуновъ* есть такое стихотвореніе, которое во всякомъ случаѣ заслуживаетъ особенное вниманіе ли-

\*) „Синъ Онегана“ 1831 г., т. 23, ч. 115, XX 40 и 41. Статья II. Ср. Каманскія, и тѣ же слова: „Ище о Борисѣ Годуновѣ, стихотвореніи А. С. Пушкина“.

тературной критики и какъ произведеніе Автора, сосредоточившаго въ себѣ всю поэтическую нашу дѣятельность, и какъ сочиненіе, совершенно въ новомъ родѣ у насъ, Русскихъ. Въ нѣсколькихъ журналахъ были уже напечатаны замѣчанія на сію Поэму-Трагедію; едва ли не вышло еще нѣсколько брошюрокъ, въ которыхъ разбирается это послѣднее сочиненіе Пушкина; даже Сѣверный Меркурій поподчивалъ почтенную публику своими выходками на Бориса Годунова; даже Колокольчикъ проброячалъ какую-то бранью въ снисходительныя уши своихъ читателей.—И не удивительно, такова участь хорошихъ Писателей; но сказали ли Гг. Критики что-нибудь существеннаго относительно Бориса Годунова? На это конечно читающая публика дала уже судъ свой.

По нашему мнѣнію, въ Сѣверномъ Меркуріи и Колокольчикѣ, не во гнѣвъ Гг. Издателямъ ихъ, о Борисѣ Годуновѣ напечатаны совершенныя недѣльности: напечатано что-то дѣльное, но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ будто нарочно недѣльное, увертливое, шумливое въ 4 номерѣ Телескопа, и наконецъ что-то благонамѣренное, но неопредѣленное, къ сожалѣнію, не конченное, въ Литературной Газетѣ\*).

Впрочемъ, не имѣя причины входить въ распри съ Сѣвернымъ Меркуріемъ и Колокольчикомъ, или изъяснять журнальныя хитрости Телескопа, мы замѣтимъ только, что даже и послѣ нихъ сказать что-нибудь положительно о новомъ произведеніи Поэта, постоянно обращавшаго на себя вниманіе литературной публики, произведеніи въ особенномъ родѣ—никакъ не можетъ быть лишнимъ, и тѣмъ болѣе теперь, когда не видно еще ни одной дѣльной рецензии Бориса Годунова, не слышно еще до сихъ поръ объ немъ общаго мнѣнія.—И такъ обратимся къ самому дѣлу.

Но прежде нежели станемъ говорить собственно о сочиненіи, постараемся оправдать Пушкина отъ напраслины, которую взводятъ на него нѣкоторые изъ его читателей.

\* ) Жаль, что критикъ не сдѣлалъ своего мнѣнія о рецензии Г. Писаксина въ Сынѣ Отечества. Изд.

Есть толки—будто Пушкинъ уронилъ себя въ своемъ послѣднемъ стихотвореннн. Это не правда! Это доказываетъ только, что или на Пушкина смотрѣли въ увеличительное стекло, или не умѣютъ понять и оцѣнить Бориса Годунова.

Пушкинъ никогда не былъ литературнымъ гениемъ, разумѣя подъ этимъ словомъ лице, подобное Данту, Шекспиру, Байрону, Гете; мы увѣрены, что нашъ Поэтъ самъ отказался бы отъ подобной чести; отказались бы, можетъ быть, и сн великіе люди отъ Бориса Годунова, наравнѣ съ другими сочиненіями Пушкина; но что онъ у насъ первый, что онъ маленькій Дантъ, Шекспиръ, Байронъ, Гете въ тѣсномъ кругу Русской Литературы, и ничѣмъ не ниже Виктора Гюго—это также не подлежитъ сомнѣнію, и въ такомъ случаѣ Борисъ Годуновъ станетъ опять съ честію въ ряду такъ называемыхъ Поэмъ его. Пушкинъ совершилъ великое дѣло въ нашей Литературѣ: онъ для Поэзии сдѣлалъ то, что Н. М. Карамзинъ для Прозы; онъ всѣхъ научилъ писать довольно легкіе, звучные стихи, чѣмъ въ глазахъ людей поверхностныхъ дѣйствительно унизилъ можетъ быть нѣсколько цѣну своихъ собственныхъ произведеній, которыя впрочемъ всегда блистаютъ какъ солнце посреди своихъ собратій; но уменьшилась ли этимъ сколько нибудь заслуга его? Конечно нѣтъ!—Чего жъ хотѣли отъ Бориса Годунова?—Это опять тотъ же прелестный, цвѣтистый, сильный Пушкинъ въ новой рамѣ драматическаго разсказа—однако не Дантъ, не Гете, не творецъ оригинальный, изъ души своей, единственно изъ души почерпавшій мысль и поэгическіе образы. Но былъ ли онъ такимъ въ Русланѣ, и въ Кавказскомъ Пльвникѣ, и въ Онегинѣ, и въ Полтавѣ, хотя дѣйствительно первая Поэма его еще самостоятельнѣе, нежели прочія? И такъ повторяю: чего хотѣли отъ Бориса Годунова?—Если жъ будутъ утверждать, что, не говоря объ оригинальности, Пушкинъ въ Борисѣ Годуновѣ является ниже А. С. Пушкина, блестящаго поэгическимъ талантомъ въ стихотвореніяхъ своихъ, начиная отъ Руслана до Полтавы, то это совсѣмъ другой вопросъ, и мы не оставимъ отвѣчать на него.



Перендемъ теперь къ самому сочиненію.— Мы сказали уже, что Пушкинъ ни въ одномъ изъ своихъ произведеній не былъ вполнѣ самостоятельнымъ; Русланъ и Людмила, какъ первое стихотвореніе юнаго Поэта, очевидно носятъ на себѣ еще слѣды Карамзинства; въ Кавказскомъ Пльнникѣ, Бахчисарайскомъ Фонтанѣ, Цыганахъ, Онегинѣ и наконецъ въ Полтавѣ кто не видитъ Байроновской тѣни? Борисъ Годуновъ также образовался подъ влияніемъ чуждыхъ элементовъ.

Въ послѣднемъ періодѣ Европейской Литературы, еще со времени Гердера, затлилась мысль объ историческомъ направленіи вѣка. Шлегель развилъ ее: слѣдствіемъ этого былъ Шекспиръ, освобожденный изъ-подъ двухъ вѣковыхъ наростовъ пыли, Шекспиръ возвеличенный, прославленный. Съ другой стороны Вальтеръ-Скоттъ явился съ своими Романами: всѣ принялись за Лѣтописи. Гете, хотя не непосредственно, но также способствовалъ развитію этого духа, который нашелъ опору себѣ даже въ современной Философіи. Такимъ образомъ Исторія сдѣлалась чистымъ языкомъ судебъ для слуха современниковъ; ея пыльные свитки ожили, и хроники обратились въ источникъ Поэзіи. Человѣкъ послѣднихъ столѣтій, увлеченный романтизмомъ времени, нашелъ для себя новую жизнь въ языкѣ событий, въ движеніи царствъ и поколѣній, жизнь, непосредственно вытекающую изъ источника духа, являющагося въ образахъ народовъ, законодателей, героевъ, съ особыми обычаями, особыми мыслями и чувствами; ибо привязанность ко всему историческому есть дѣйствительно порожденіе романтизма.—Классики любили болѣе природу въ пышномъ, цвѣтистомъ ея облаченіи, называемомъ вещественностію, и Гомеръ не занимался столько душою, воспѣвая своихъ героевъ, сколько ихъ тѣломъ.—И такъ это-то историческое направленіе вѣка, котораго вѣтви проникли во всѣ края Европы, о которомъ мы слышали и отъ Шеллинга и отъ Н. В. Кирѣевского, породило между прочимъ и Трилогію Вите, и Кромвеля, и Невилльскіе вечера, и наконецъ Бориса Годунова.

Взявъ одинъ изъ самыхъ важныхъ періодовъ Русской Исторіи, изъ періодовъ, особенно кипящихъ жизнью событій и характеровъ, Пушкинъ конечно не ошибся... Но скажутъ: для чего эта драматическая форма? для чего это смѣшеніе и прозы и стиховъ? для чего эти скачки отъ царскихъ палатъ до корчмы на Литовской границѣ? - Все сіе доказываетъ только, что Пушкинъ постигъ мысль, пробудившую поэтическій талантъ его. Яркости цвѣтовъ, жизни хотѣлъ онъ—и потому старался соблюсти эту цѣль въ самомъ образѣ разсказа!—Постоянно имѣя въ виду Бориса Годунова, котораго онъ выбралъ какъ одинъ изъ первыхъ узловъ Русской Исторіи, онъ долженъ былъ выставить его въ одеждѣ своего времени—и складки этой одежды сквозять во всѣхъ сценахъ его стихотворенія, начиная отъ пированья бродягъ монаховъ до папирскаго негодованья Патріарха. Поэтъ имѣлъ въ виду не честолюбца, преступленіемъ восшегшаго на царство и въ самомъ злодѣяніи своемъ возрадившаго сѣмена гибели для себя и цѣлаго семейства; онъ имѣлъ въ виду не героя какого нибудь Вольтеровскаго, но Царя Русскаго, Бориса Годунова, убійцу Дмитрія, которому настояла борьба съ Самозванцемъ Огреневымъ; имѣлъ въ виду лице изъ отечественной Исторіи, окруженное предметами, напоминающими духъ того времени, и поэтому въ мелочахъ своихъ имѣющими историческую для насъ занимательность; онъ хотѣлъ пробудить въ насъ эстетическое чувство сознаніемъ исторической жизни нашей, указывая на то правдивное разстояніе, которое пробѣжало имя Русскихъ отъ времени замысловъ предприимчиваго Боярина, хитростию сѣвшаго на царство, до бурнаго времени журнальных Телеграфовъ, Телескоповъ и всей литературной механики. Кто жъ упрекнетъ Пушкина тѣмъ, что значение пьесы не отразилось въ изящной ея отдѣлкѣ? Рельефный стиль его въ духѣ современнаго направленія Словесности дышитъ смѣлостію и жизнію; его тонкое чувство, по которому онъ умѣлъ слить свою поэтическую, кипящую прозу съ стихами, освобожденными отъ всѣхъ оковъ однообразія—въ полной мѣрѣ обнаруживаетъ запасъ талантности,

рисующейся подъ его *широкою кистью*. Если бы Пушкинъ сохранилъ намъ свою великую мысль и въ самомъ составѣ событія столько, сколько сохранилъ онъ ее въ отдѣлкѣ, то Борисъ Годуновъ безъ всякаго сомнѣнія былъ бы однимъ изъ совершенныхъ произведеній Литературы.

Вотъ, что мы считали нужнымъ сказать вообще о главномъ основаніи въ послѣднемъ стихотвореніи нашего Поэта! Теперь спрашивается: въ какомъ отношеніи находится оно къ мысли, развитой въ Кавказскомъ Пльвникѣ, Бахчисарайскомъ Фонтанѣ, Онѣгинѣ?—Ибо поэма его Полтава принадлежитъ уже къ сочиненіямъ высшаго разряда. Въ такомъ, въ какомъ находится самъ Борисъ Годуновъ къ пльвному казаку, или свѣтскому молодому человѣку, Евгенію; въ какомъ голова, рисованная кистью Вандика, къ картинамъ Шнейдера. Идея Бориса Годунова есть идея болѣе полная, нежели какая-либо изъ другихъ идей Пушкина. Прежде игривый, искусный въ схватываніи разительныхъ отбѣнковъ, съ запасомъ поэтическаго пламени, но необузданный, вѣтранный, всегда восхищенный первымъ порывомъ, первымъ впечатлѣніемъ, сдѣланнымъ на его душу, всегда нетерпѣливый въ изліяніи своего чувства, онъ не хотѣлъ, можетъ быть не могъ заниматься ничѣмъ, требующимъ соображеній, глубокой внимательности, и не минутной вспышки, не постояннаго пламени. Правда, онъ былъ и тогда прелестенъ: его фонтаны и цыганскіе таборы, его китайская архитектура Онѣгина очаровательны и, что *главное*, понятны для каждаго. Но въ Борисѣ Годуновѣ онъ хочетъ быть художникомъ, принявшимъ создать произведение, достойное зрѣлаго таланта, произведение, болѣе значительное; онъ хочетъ удовлетворить здѣсь не одностороннему вкусу дикой толпы, но всѣмъ многообразнымъ требованіямъ эстетической критики. И въ этомъ-то съ одной стороны заключается даже причина, что толпа не узнала Пушкина въ лучшемъ его произведеніи.

Ибо съ другой—мы находимъ еще нужнымъ дать отчетъ въ томъ, какъ исполнилъ онъ свое намѣреніе во всѣхъ отношеніяхъ.

Мы замѣтили уже, что Пушкинъ не развилъ достаточнымъ образомъ своей богатой мысли въ Борисъ Годуновъ.—Разсмотримъ это

Спрашивается: что должна имѣть въ виду критика въ этомъ отношеніи? Очевидно—три вещи: Поэту, или лучше сказать, жизнь самаго событія, которое блеснётъ оно посреди мелочныхъ происшествій, хранящихся въ Лѣтописяхъ; далѣе—характерность лицъ, исполняющихъ въ немъ свое назначеніе; и наконецъ—народность, эту историческую краску, столько для насъ теперь драгоценную. Если Сочинитель умѣетъ въ произведеніи своемъ удовлетворить требованіямъ критики по симъ тремъ условіямъ, то онъ совершенно выполнитъ свою обязанность.

Недовольные послѣднимъ сочиненіемъ Пушкина, конечно, ожидали отъ насъ только этого, чтобы напасть на Бориса Годунова; и въ этомъ отношеніи конечно они будутъ правы, ибо по крайней мѣрѣ здѣсь смѣло могутъ указать на нѣкоторыя мѣста, которыми безпристрастный читатель не остается удовлетвореннымъ.

Борисъ Годуновъ въ стихотвореніи Пушкина является, какъ лице историческое, въ цѣломъ сочиненіи Поэту предстоитъ развить мысль судьбы, высказанную въ событіи его царствованія. Хитрый вельможа, рѣшившійся на кровавое средство для полученія престола, наконецъ достигаетъ своей цѣли; но первое дѣйствіе его есть уже источникъ всѣхъ послѣдующихъ бѣдъ, какъ для него и его семейства, такъ и для цѣлаго народа; ибо какъ обладатель царства, онъ сосредоточиваетъ въ себѣ судьбу его, въ чемъ заключается и все основаніе его значительности. Теперь этому царю, этому убійцу невиннаго младенца, какъ собственное порожденіе его, ставится поперекъ дороги великанская гѣба Самозванца, терзаетъ его, губитъ, производитъ всеобщій безпорядокъ и повергаетъ въ бездну бѣдствія цѣлое Государство, которое скинулось въ Борисъ, и съ его гибелью точно было слетѣть жестокой припадокъ самой бѣшеннои горячки. Таково истинное историческое значеніе Бориса Годунова въ нашей исторіи! Теперь спрашивается: какъ раскрыть его Пушкинъ въ стихотвореніи своемъ—достойнымъ

ли образомъ, во всѣхъ ли порывахъ его жизненности? Къ сожалѣнію, мы не можемъ отвѣчать на это утвердительно. Пушкинъ ограничился объемомъ болѣе тѣснымъ: выполнилъ мысль свою образомъ болѣе поверхностнымъ. Его сцены въ этомъ отношеніи должны бы были рѣшительными ступенями къ совершенію событій, мгновеніями, которыя въ самыхъ полныхъ, сильныхъ ударахъ выражали бы ходъ его, словомъ, Авторъ долженъ бы показать въ нихъ биеіе пульса народнои жизни того времени. У Пушкина этого нѣтъ; событіе развивается вяло, неясно, сцены взяты не такія, какихъ ожидать бы читатель, — но болѣе-шей части онѣ всѣ весьма незначительны; отъ зоркаго взгляда Сочинителя ускользнули тѣ черты, въ которыхъ это событіе блеснѣтъ всею своей Поэзіей. Мы самого Бориса почти не видимъ: черезъ нѣсколько сценъ отъ той, въ которой онъ показался едва только достигнувшимъ престола — на 23 стр. является онъ уже угрюмымъ; жалуется на народъ, на себя, говоритъ, что *нигдѣ не найду покоя, но не нахожу счастья души своей*; затѣмъ слѣдуетъ превосходная сцена — Царя среди семейства, когда Семень Годуновъ приноситъ первую вѣсть о самозванцѣ, сцена, дѣйствительно вполнѣ соответствующая смыслу сочиненія; но что жъ далѣе? — Вы читаете сильную по своему значенію, но дурно развитую сцену царскаго совѣщанія съ Патріархомъ и Боярами, читаете поэтическую сцену юродиваго, но вмѣстѣ съ тѣмъ опять немѣющую цѣны, если разсматривать ее, какъ отголосокъ, какъ одинъ изъ звуковъ историческаго аккорда, который хотѣлъ взять Пушкинъ въ своемъ стихотвореніи; наконецъ слѣдуетъ сцена кончины Царя, огнюдь немѣющая никакого значенія, но крайней мѣрѣ въ томъ видѣ, въ которомъ составилъ ее Пушкинъ; и здѣсь заключается все, что относится прямо до самого Годунова. Самозванецъ, второе лице, вторая пружина къ развитію событія, также разыгрываетъ довольно дурно историческую роль свою: появленіе его въ кельѣ Пимена исполнено поэтическаго достоинства; картина въ корчмѣ на Литовской границѣ — также имѣетъ значеніе; въ Краковѣ,



въ домъ Вишневецкаго—могла бы имѣть великій смыслъ, если-бъ вѣрно была угадана Авторомъ мысль ея; но всѣ прочія совершенно ничтожны; надобно замѣтить притомъ, что роль Самозванца вообще слишкомъ растянута, много сценъ совсѣмъ лишннихъ, ни сколько не входящихъ въ составъ главныхъ моментовъ происшествія, и замѣчаніе Телескопа въ этомъ случаѣ вполнѣ справедливо, что Самозванецъ *совершенно изгоняетъ Бориса*, — къ сожалѣнію, онъ заслоняетъ его весьма матеріальнымъ образомъ, ибо и самъ не имѣетъ почти живой физіономіи. Что-жъ касается до исторической роли Шуйскаго и другихъ лицъ, то объ нихъ говорить нечего, потому что онѣ—роли подчиненныя. И такъ теперь спрашивается, гдѣ-жъ Поэзія событія? Она исчезла въ стихотвореніи Пушкина, и вотъ почему, прочитавъ Бориса Годунова, восхищаясь каждою отдѣльною сценою, остаешься недоволенъ цѣлымъ: весь составъ стихотворенія есть какой-то легкій, недоконченный очеркъ, намекъ на что-то, но это что-то, которое и есть собственно Поэзія событія, остается невысказаннымъ.

Пушкинъ можетъ въ этомъ оправдывать себя тѣмъ, что самый эпизодъ Бориса Годунова въ Русской Исторіи недовольно обработанъ; что характеръ сего Царя остается еще какою-то загадкою для насъ, потомковъ: дѣйствительно самъ Исторіографъ Карамзинъ не опредѣлилъ его, не сказалъ ничего рѣшительнаго о дѣлахъ семилѣтняго царствованія. Но Поэтъ долженъ былъ постигнуть то, до чего не могла добраться историческая Критика: силою фантазіи своей онъ долженъ былъ угадать то, на что не представляютъ документовъ: иначе ему ненадобно было приниматься за такое дѣло, которое для него выше возможности, или по крайней мѣрѣ выше силъ его. Въ такомъ случаѣ онъ не избавляется отъ обвиненія: ибо самый выборъ всегда зависить отъ него, а безусловнаго производа въ дѣлѣ вкуса допустить нельзя.

Теперь остается рѣшить еще вопросъ, долженъ ли былъ Пушкинъ свои драматическія картины кончить смертію Царя, или нужно было еще продолжать ихъ? Безъ всякаго

сомнѣнія, онъ долженъ былъ бросить еще хотя одну, но рѣзкую черту, чтобъ сдѣлать полнымъ впечатлѣніе, которое остается въ душѣ читателя. Начавъ превосходною сценою между Щуйскимъ и Воротынскимъ въ палатахъ Кремлевскихъ, положивъ художническую черту сценою народа, въ недоумѣніи ожидающаго рѣшенія судьбы своей, словомъ, съ самаго приступа сосредоточивъ въ Борисѣ Годуновѣ всю историческую жизнь тогдашняго Государства, сохраняя нѣсколько этотъ колоритъ въ продолженіе всего стихотворенія (ибо здѣсь заключается основаніе и самой сцены юродиваго, имѣющей въ этомъ отношеніи высокую степень достоинства), Пушкинъ не могъ, не нарушая эстетической нити, покинуть читателя съ рѣшеніемъ судьбы царственного семейства; въ душѣ остается еще одно великое требованіе — судьба народа, и Поэтъ обязанъ былъ удовлетворить ему, показавъ тучу, въ которой должны были выгорѣть преступленія Бориса, какъ Царя, котораго дѣйствія всегда находятся въ нравственномъ отношеніи къ самому народу, какъ мысль головы, за которую отвѣчаетъ тѣло.

И такъ, что жъ теперь слѣдуетъ заключить вообще о Борисѣ Годуновѣ въ отношеніи къ первому, показанному нами требованію эстетической Критики? — То, что Пушкинъ и здѣсь таковъ же, каковъ онъ былъ въ прежнихъ своихъ сочиненіяхъ. Взявъ мысль богатую, онъ не раскрываетъ ея достойнымъ образомъ, не вводитъ насъ во глубину святилища Поэзіи, подобно великому Шекспиру; онъ и здѣсь, какъ и вездѣ, поверхностенъ; проникательный, однакожъ не могучій взоръ его видитъ далѣе, чѣмъ человека обыкновеннаго, ибо Пушкинъ дѣйствительно имѣетъ полное право на названіе Поэта; но онъ скользитъ тамъ, гдѣ дѣло идетъ о творческой фантазіи, которой образы поражаютъ всю систему духовнаго бытія нашего.

Разсматривая стихотвореніе Пушкина въ отношеніи ко второму требованію Литературной Критики, т. е. въ отношеніи къ изображенію характеровъ, мы должны прежде всего замѣтить, что эта часть эстетической обработки въ сочиненіи, подобномъ Борису Годунову, необходимо нахо-

дигся съ развитіемъ самаго событія; ибо характеры суть пружины событія, и въ событіи отражаются изгибы характеровъ, такъ что гдѣ нѣтъ рѣзкихъ чертъ дѣйствія, принимая это слово въ самомъ обширномъ его смыслѣ, тамъ нельзя видѣть и нравственной значительности дѣйствующихъ — Смотря съ этой точки зрѣнія, мы легко объясняемъ себѣ и то, почему въ Борисѣ Годуновѣ нѣтъ ни одного глубокаго характера, тогда какъ всѣ дѣйствующія лица превосходно выноютъ роли свои въ той степени, которую назначилъ имъ Поэтъ, выключая только лице Марини Мнишекъ, неестественное, фантастическое, уродливое, дающее самому Самозванцу въ сценѣ при фонтанѣ видъ литературной нелѣпости: впрочемъ, причина неудачнаго развитія послѣдняго характера также очевидна — ясно, что въ этой одной сценѣ онъ хотѣлъ высказать всю Марину Мнишекъ, надменную Польку, будущую Царицу Русскую; но гений вдохновенія не помогъ ему, и онъ испортилъ оба портрета, и Марину и самого Самозванца; къ тому жъ, мы не понимаемъ, за чѣмъ погнался Поэтъ: — Мнишекъ здѣсь есть лице совершенно второстепенное: оно по всѣмъ правамъ могло быть въ тѣни картины.

Но возьмите самого Бориса Годунова — какъ хорошъ онъ, какъ естественъ въ этомъ маленькомъ объемѣ, который опредѣленъ ему Сочинителемъ! Какое тонкое притворство, какая очаровательная гибкость видны въ первомъ обращеніи его къ Патріарху и Боярамъ!

Ты, отче Патріархъ, вы всѣ, Бояре,—  
Обнажена моя душа предъ вами—  
Вы видѣли, что я пріемлю власть  
Великую и пр.

Далѣе, не назначивъ ему развитія высшаго, Сочинитель дѣлаетъ изъ него въ половину расклинающагося преступника; здѣсь также нѣтъ ничего глубокаго: но сія неглубокая мысль выражена опять превосходно; съ какою полнотою отзывается въ душѣ Бориса это, еще глухое для него чувство:

Я дочь мою *мнилъ* осчастливить бракомъ,  
 Какъ буря смерть уносить жениха.—  
 И такъ молва лукаво нарекаетъ  
 Виновникомъ дочерняго вдовства  
 Меня, меня, несчастнаго отца!  
 Кто ни умереть, я всѣхъ убійца тайный!  
 Я ускорилъ Феодора кончину,  
 Я отравилъ свою сестру Царицу,  
 Монахиню смиренную... все я, и пр.

Или въ словахъ, которыя онъ произноситъ глядя на Ксенію, преслѣдуемый тою же мыслию:

Что, Ксенія? Что, милая моя?  
 Въ невѣстахъ ужъ печальная вдовица...

Соображаясь съ историческими извѣстіями, Пушкинъ не хотѣлъ упустить изъ виду того, что Борисъ начинать уже любить просвѣщеніе; и вы читаете нѣсколько стиховъ самой художнической отдѣлки, въ которыхъ сквозитъ уваженіе къ Наукѣ:

...Вотъ сладкій плодъ ученья!  
 Какъ съ облаковъ ты можешь обозрѣть  
 Все царство вдругъ, и пр.

Эта сцена прерывается приходомъ Семена Годунова. Любимецъ царскій, Семенъ Никитичъ, доноситъ, что дворецкій *Князя Василья и Пушкина слуга* сказывали ему о гонцѣ изъ Кракова, о пированьѣ и тайной бесѣдѣ Шуйскаго съ Пушкинымъ. Въ слѣдъ за симъ Шуйскій является самъ и начинаетъ намекать о Самозванцѣ. Здѣсь странень для насъ приступъ его: видна хитрость, желаніе смягчить несприятную вѣсть, желаніе какъ можно долѣе не произносить роковаго имени; но стихи:

Безсмысленная чернь  
 Измѣнчива, мятежна, суевѣрна.  
 Легко пустой надеждѣ (*на что?*) предана,  
 Мгновенному внушенію послушна,  
 Для истины глуха и равнодушна,  
 А баснями питается она.  
 Ей нравится безстыдная *отвага*.  
 Такъ если сей невѣдомый бродяга...

напоминають какъ-то Онѣгина; здѣсь этотъ тонъ, самая эта рѣчѣвка не могутъ быть приличны.

Но не теряя изъ виду Бориса Годунова, укажемъ въ сей же сценѣ еще на одну изящную черту, рисующую превосходство Царя, въ душѣ сознающаго непрочность своей власти:

Послушай, Князь: взять мѣры сей же часъ ..

И

Подумай, Князь, Я милость обѣщаю,  
Прошедшей лжи опалою напрасной  
Не накажу, но если ты теперь  
Со мной хитришь...

Последняя сцена кончины Царя суха, неестественна; Сочинитель въ ней сбился, какъ въ сценѣ Марини Миншкѣ съ Самозванцемъ.

Такимъ образомъ мы прошли всю роль Бориса, и кромѣ одного замѣчанія относительно умирающаго Царя, сказывающаго какую-то политическую проповѣдь, не могли ни на чемъ болѣе остановиться, какъ только на мѣстахъ, имѣющихъ истинно художническое достоинство, хотя они и не носятъ на себѣ признаковъ глубокой Поэзіи.

Угодно ли обратить теперь вниманіе еще на другія лица? Мы укажемъ на Шуйскаго и Воротынскаго, изображенныхъ отлично хорошо, ибо характеры ихъ развиты столько, сколько можно требовать; укажемъ на всѣ лица второстепенныя, не имѣющія прямого отношенія къ движению событія. Впрочемъ и самозванецъ, исключая несчастную сцену съ Мариной и превосходную съ монахомъ Пименомъ, также вездѣ довольно хорошъ. Онъ незначителенъ, какъ и Борисъ; но о причинѣ этого мы уже говорили. Наконецъ, укажемъ на Курбскаго, этого пылкаго юношу, котораго чистая душа, любящая свое отечество, такъ радостно выливается въ словахъ:

Вотъ, вотъ она, вотъ Русская граница!  
Святая Русь! Отечество! Я твой...

Словомъ, Пушкинъ вездѣ почти превосходно выполнилъ то, что онъ взялъ на себя вѣдѣніе основной своей



мысли: но что онъ слишкомъ мало предположилъ къ выполнению, это всегда будетъ его виною.

Въ заключеніе мѣня нашего о достоинствѣ Бориса Годунова въ отношеніи къ живописи характеровъ, мы должны указать также и на общій недостатокъ сочиненія—это излишній мѣстами лиризмъ въ разговорѣ дѣйствующихъ лицъ и чрезмѣрная иногда охота ихъ къ разсужденію. Сюда относятся въ сценѣ Пимена стихи:

*И пыль вѣковъ отъ хартій отряхнувъ,  
Правдивыя сказанья перепишетъ,  
Да выдадутъ потомки.....  
.....  
Минувшее проходитъ предо мною—  
Давно-ль оно несло съ собою  
Волнуня, какъ море Океанъ?  
Теперь оно безмолвно и спокойно.  
.....  
Я угадать хотѣлъ, о чемъ онъ пишетъ:  
О темномъ ли владычествѣ Татаръ?  
О казняхъ ли свирѣпыхъ Іоанна?  
О бурномъ ли Новгородскомъ Вѣчѣ?  
О славѣ ли отечества . . . . .  
.....  
Такъ точно Дьякъ, въ приказахъ поспѣшный.*

Въ рѣчи Бориса:

*Не такъ ли  
Мы смолоду влюбляемся . . . . .  
.....  
Я отворилъ имъ житницы, и злато  
Разсыпалъ имъ . . . . .*

Вся почти сцена, гдѣ къ самозванцу подходятъ Курбскій, Собальскій Хрущовъ, Карела и наконецъ Поэтъ, дышитъ какъ-то, не смотря на все изящество отдѣлки, ходульною Поэзіей отцовъ-классиковъ. О разговорѣ же Марины Мишиекъ съ Самозванцемъ и длинной рѣчи умирающаго Царя—нами было уже замѣчено.

Теперь остается еще сказать объ историческомъ колоритѣ Бориса Годунова. Въ этомъ отношеніи Пушкинъ --

само совершенство. Никто до сихъ поръ изъ нашихъ поэтовъ не умѣлъ съ такимъ искусствомъ и силою списывать предметы, какъ онъ, ибо Пушкинъ собственно Поэтъ натуры; доказательство этому мы видѣли во всѣхъ прежнихъ его сочиненіяхъ. Теперь, обратившись къ исторіи, національный по поэтическому значенію, онъ и здѣсь превосходно выполнилъ мысль свою въ этомъ отношеніи: въ Борисѣ Годуновѣ, какъ въ художнической панорамѣ, вы видите весь духъ того времени, все значеніе тогдашней Руси, начиная отъ словъ Бориса:

А тамъ—сзывать весь нашъ народъ на пиръ,  
Всѣхъ, отъ вельможъ до нищаго слѣпца,  
Всѣмъ вольный входъ, всѣ гости дорогие...

до благочестиваго негодованія Патріарха:

„Ужъ эти мнѣ грамоты! Ока ересь! Буду Царемъ на Москвѣ! .  
Поймать, поймать врагоугодника!“

Начиная отъ боярскаго пированья въ домѣ Шуйскаго и картины Царева семейства, до желѣзнаго колпака юродиваго, битвы 21 декабря 1604 года и собранія народнаго на Лобномъ мѣстѣ:

Въ угоду ли семейству Годуновыхъ  
Подымете вы руку на Царя  
Законнаго, на внука Мономаха?

Н а р о д ъ.

Вѣстимо нѣтъ . . . . .

Н а р о д ъ.

Что толковать? Бояринъ правду молвилъ.  
Да здравствуетъ Димитрій, нашъ отецъ!

Мужикъ на амвонѣ.

Народы! народы! въ Кремль! въ царскія палаты,  
Ступай вязать Борисова щенка!—

Потомъ въ Кремлѣ у Борисова дома:

Ищѣти. Данте милостиву, Христа ради!..

Стража. Поди прочь . . . . .

Одинъ изъ народа. Братъ да сестра!

Бѣдныя дѣти, что пташки въ клѣткѣ!

Другой. Есть о комъ жалѣть! проклятое племя. . и проч.

Вотъ все, на что считаемъ мы нужнымъ указать при разсмотрѣніи и оцѣнкѣ такого сочиненія, каково Борисъ Годуновъ. Говорить о языкѣ Пушкина значило бы только хвалить его. Нѣсколько ничтожныхъ замѣчаній, сдѣланныхъ съ стараніемъ журнальнаго Критика, подбирающаго соринки, не послужили бы здѣсь ни къ чему — и мы предоставляемъ этотъ трудъ охотникамъ. Притомъ же всѣ мелочныя недостатки въ стихотвореніи Пушкина такъ видны каждому изъ читателей съ образованнымъ вкусомъ, что не стоитъ даже и труда останавливаться на нихъ.

И такъ результатъ замѣчаній сихъ есть слѣдующій. Въ Борисъ Годуновѣ, изложенномъ поверхностно, слегка, не раскрыта истинная Поэзія событія, имѣющаго особенное значеніе въ нашей Исторіи, но тѣмъ не менѣе онъ остается изящнымъ произведеніемъ Пушкина: Борисъ Годуновъ, по мысли своей, стоитъ выше другихъ сочиненій Пушкина, хотя и не удовлетворяетъ вполне разнообразію родившихся притомъ требованій относительно отдѣлки: наконецъ Борисъ Годуновъ есть Онѣгинъ, Онѣгинъ высшаго объема, въ которомъ рисуются черты народной жизни точно такъ, какъ въ Евгеніи Онѣгинѣ вы видите черты жизни частной.

Въ заключеніе всего предстоитъ намъ еще вопросъ: сдѣлалъ ли Пушкинъ хорошо, что, оставивъ прежній, цвѣтистый, игривый и неполный по объему своему родъ стихотвореній, обратился къ новому, болѣе значительному, болѣе обширному, но вмѣстѣ съ тѣмъ и болѣе трудному, котораго требованія простираются на большую степень талантности, нежели требованія сочиненія, подобнаго Онѣгину?—Мы здѣсь въ особенности указываемъ на Онѣгина потому, что онъ есть чистый и полный результатъ всего

прежняго направленія Поэзии Пушкина. Словомъ: по силамъ ли своимъ избрать Пушкинъ новое для себя поприще? Рѣшить этого мы еще не можемъ. Что Борисъ Годуновъ не удовлетворяетъ условіямъ своего рода—мы уже видѣли, потому, что сдѣлать изъ него историческаго Онегина, изваять сцены, внесенныя прозаическимъ перомъ монаха—Льтописца въ хроники Русскаго народа, не ожививъ ихъ игрою поэтической идеи, какъ сказалъ Пушкинъ, значитъ писать Исторію въ стихахъ и неудовлетворительно, ни въ отношеніи содержанія сочиненія, ни въ отношеніи самаго мѣтня о Сочинителѣ: но Борисъ Годуновъ есть еще первое произведеніе нашего Поэта въ семь родѣ, и если А. С. Пушкинъ когда-нибудь въ этой пространной рамѣ раскроетъ талантъ свой столько, сколько раскрылъ его въ кругу мелкихъ происшествій съ плѣннымъ казакомъ, Алеко и лицами свѣтскаго быта, то, безъ всякаго сомнѣнія, стократно выкупить все неудачи, возможныя для пера его.

И. Ср. Каманевъ.

\* \* \*

\*) О Борисѣ Годуновѣ, сочиненіи Александра Пушкина.

*Разговоръ Помѣщика, проезжающаго изъ Москвы черезъ узанскій городокъ, и вольнопрактикующаго въ ономъ учителя Россійской Словесности.*

Учитель. Добрый день, Петръ Алексѣевичъ (выходитъ съ книгою и тетрадью).

Помѣщикъ. Здравствуй, Ермилъ Сергѣичъ! Что? съ Борисомъ и замѣчаніями? Ну, послушаемъ, что сказалъ ты о первоклассномъ нашемъ поэтѣ?

Учит. *(отскакиваетъ и кладетъ тетрадь въ карманъ)*. Какъ, батюшка, о первоклассномъ? Хорошую же вы сыграли со мною штуку!

\*) Отдѣльное изданіе. Москва, 1831 г.

Помѣщ. *въ удивленіи*. Что такое, братецъ? Что съ тобой сдѣлалось?

Учит. Да если бы зналъ я, что авторъ Бориса Годунова въ первомъ классѣ, ни за что бы не принялся дѣлать на него замѣчаній: ну, Боже упаси, какъ это огласится! Мудрено ли первому классу задавить двѣнадцатый!

Помѣщ. Вотъ то-то и есть, что вы здѣсь въ глуши ничего не знаете. Вѣдь это, другъ мой, не чинъ, равный, напримѣръ, съ фельдмаршалскимъ... это названіе дають за отличяѣйшія произведенія.

Учит. Кто же это, почтеннѣйшій Петръ Алексѣевичъ?

Помѣщ. Ну, журналисты, издатели газетъ, пріятель, товарищи.. *(смѣется)* за чашей круговою.

Учит. Вотъ что! такъ по этому и нашему брату не невозможно...

Помѣщ. Разумѣется. Но приступимъ къ дѣлу. Читай замѣчанія. Съ чего началъ?

Учит. Позвольте доложить: прочитавъ со вниманіемъ не однажды эту книжицу, я самъ себѣ сдѣлалъ нѣсколько вопросовъ.

Помѣщ. Читай, читай!

Учит. Вопросъ 1-й. Къ какому роду изящной Словесности принадлежитъ сіе твореніе?

Помѣщ. Ужъ это, кажется мнѣ, сущій вздоръ, любезный Ермилъ Сергѣевичъ: это поэма.

Учит. *(съ жаромъ)*. Него, сударь весьма него. Поэма должна имѣть необходимо связь въ продолженіи всего повѣствованія и сохранять, хотя не вполне, освященныя вѣками правила. Согласенъ: можно уничтожить старинное *пою*, ибо нынче никто поэмъ не поетъ. Можно забыть призываніе какого нибудь языческаго божества или олицетвореннаго идеальнаго существа для подмоги въ дѣлѣ, ибо видно, что сии божества и существа не многимъ помогали—да и сущность повѣствованія отъ того ничего не терпигъ. Но бросаться и туда и сюда, безъ всякой связи, право, не простительно. А сверхъ всего, смѣю доложить, ищутся ли *поэмы* прозою? Въ сочиненіи же г. Пушкина есть много *прозы*.



Помѣщ. Да вѣдь это должна быть поэма романтическая—понимаешь ли?

Учит. И понимать не хочу, Петръ Алексѣвичъ! Вамъ извѣстно, что тѣ, которые, по словамъ Вольтера, не умѣли написать ни Трагедіи, ни Комедіи, начали писать Драмы, а къ тому прибавить можно: не умѣвшіе и Драмы написать, стали сочинять Мелодрамы и тому подобное, такъ по этому и думаю, что и *безправильный* Романтизмъ, или, сказать пооткровеннѣе, это бессмысленное слово выдуманно тѣми, которые не умѣли написать ничего *правильнаго*. Все мы, кто хоть немножко поучился, читывали Поэмы, и древнія и новыя, да кому приходило въ умъ раздѣлять ихъ на Классическія и Романтическія? Знающіе толкъ восхищались хорошимъ и порицали дурное.

Помѣщ. Побывалъ бы ты въ Петербургѣ или въ Москвѣ. Дали бы тебѣ знать! Да теперь не признающихъ Романтизмъ считаютъ наравнѣ съ Богоотступниками.

Учит. Не тѣ ли же такъ думаютъ, Петръ Алексѣвичъ, которые въ первый-то классъ друзей своихъ производятъ?

Помѣщ. Вѣдь надобно-же, братецъ, дать какое-нибудь названіе *Борису Годунову*. Ну, Трагедія?

Учит. Избави, Господи! А что тутъ есть трагическаго? Не прикажете ли представить ее на театрѣ? У кулисныхъ-то мастеровъ заболѣли бы руки. Это, сударь, настоящія *Китайскія тѣни*. Дѣйствіе перескакиваетъ изъ Москвы въ Польшу, изъ Польши въ Москву, изъ кельи въ корчму... Есть нѣчто подобное въ драматическихъ произведеніяхъ Шекспира, да все-таки посоветуйте. Къ тому же Шекспиръ писалъ тогда еще, когда одноземцы его и понятія не имѣли объ изящномъ вкусѣ.

Помѣщ. Съ тобой не сговоришь. Ну такъ повѣсть? И то сказать: *да что намъ нужно отъ названья?* Положимъ... что *Борисъ*...

Учит. И въ самомъ дѣлѣ! Какое тутъ названье, когда и самъ родитель никакимъ именемъ не окрестилъ своего дѣтища? Позвольте, далѣе: Вопросъ 2-ой: Кто герой въ этомъ сочиненіи?

Помѣщ. Вопросъ второй, кто герой? — заговорилъ на виршахъ!—Ты не безъ толку же по толкамъ читаешь; видѣль, напечатано крупными литерами: *Борисъ Годуновъ*.

Учит. Оно такъ-съ; да если бы типографскій-то наборщикъ ошибся, и на мѣсто *Бориса Годунова* напечатасть *Гришка Остреньвъ*? Тогда бы что вы изволили сказать?

Помѣщ. Вздоръ какой! не пропустилъ бы корректоръ.

Учит. Пускай и вздоръ, Петръ Алексѣевичъ! Не спорю. Но разберите сами—васъ получше насъ учили—разберите, за какіе подвиги можно назвать *Бориса* героемъ повѣсти? (да будетъ повѣсть!) Начнемъ съ начала!

Помѣщ. А мы слушаемъ.

Учит. Борисъ является въ первый разъ на страницѣ 10-й, гдѣ избираютъ его царемъ; тутъ нѣтъ никакихъ отличныхъ подвиговъ; потомъ показывается одинъ и говоритъ самъ съ собою вслухъ такой ужасный монологъ, отъ котораго и у самаго крѣпкаго актера заболѣло бы горло,— а о чемъ говоритъ? — Немножко расканвается въ своихъ прегрѣшеніяхъ, бранитъ чернь за разныя на него (яко бы) клеветы; потомъ у него Бориса

Какъ молоткомъ стучить въ ушахъ упрекомъ;  
И все тошнить и голова кружится...

Помѣщ. Остановись-ка на минуту. Что ты скажешь объ этомъ *тошнить*?

Учит. Не хорошо, Петръ Алексѣевичъ, весьма отвратительно.

Помѣщ. А вотъ какъ не хорошо: это прелесть; это значитъ, что Авторъ подслушалъ голосъ природы; это національность, народность—требованіе нашего вѣка.

Учит. Вѣдь подслушать-то, сударь, съ позволенія сказать, мало ли что можно, да рассказывать объ этомъ и печатать не должно. Вы слышали, думаю, о разговорѣ двухъ знаменитыхъ нашихъ Поэтовъ. У одного изъ нихъ написано было въ стихахъ что-то объ арбузахъ да объ солѣныхъ огурцахъ; другой замѣтилъ, что природу надобно искать не въ овощномъ рынкѣ. Такъ и здѣсь, при словѣ *то-*

*ининъ*, не можетъ ли нѣмому чувствительному читателю представиться послѣдствіе тошноты... словомъ сказать, весьма огорчительно. Не ужели Авторъ *Бориса* не слыхивалъ объ *изящной* природѣ? Далѣе: Борисъ показывается въ палатахъ у дочери и сына. Это явленіе начинается прозою, оканчивается подупрозою. Онъ проситъ дочь, чтобъ не плакала о *мертвомъ женѣ*; сына хвалить за то, что изобразилъ *миро* на бумагѣ всѣ области Русскія. Но замѣтимъ однако: Борисъ не могъ разобрать, гдѣ на этомъ чертежѣ Москва, Новгородъ, Астрахань, и не узналъ Волги. И такъ, позвольте спросить, *миро* ли написанъ былъ чертежъ?

Помѣщ. Ну, братецъ, это дѣло постороннее; что привязываться къ пустякамъ? Продолжай!

Учит. Извольте-съ. Въ продолженіи сего явленія Борисъ узнаетъ,

Что въ Краковѣ явился Самозванецъ,  
И что Король и Паны за него.

.....  
Такъ, если сей невѣдомый бродяга  
Литовскую границу перейдетъ,  
Къ нему толпу безумцевъ привлечетъ  
Димитрія воскреснувшее имя.

То-есть: онъ узналъ уже, что Самозванецъ принялъ имя убіеннаго Царевича Димитрія Іоанновича. Шуйскій увѣряетъ его, что Царевичъ дѣйствительно скончался. — Довольно, удались, — говоритъ Борисъ Шуйскому...

Ухъ, тяжело!

Тяжело, почтеннѣйшій Петръ Алексѣевичъ, какъ этотъ ухъ дѣлаетъ бухъ въ нашъ слухъ!

Помѣщ. Опять за вирши! да говори, любезный, о дѣлѣ, — о подвигахъ героя Бориса.

Учит. До 95-й страницы, герой нашъ совсѣмъ не показывался. Между тѣмъ побывали мы въ Краковѣ, въ

Самборѣ у Мишки, погуляли въ саду съ Мариною, были на границѣ Литовской...

Помѣщ. Ну, далѣе.

Учит. Съ вышепоказанной-то страницы, правду молвить, Борисъ началъ дѣйствовать: приказалъ послать указы къ *Воеводамъ*, чтобъ на коня сядились...

Помѣщ. Постой, постой, Ермилъ Сергѣевичъ! Какъ? Всѣ Воеводы на одного коня?

Учит. Ба! да я этого и не замѣтилъ. Извините.

Помѣщ. Это сказалъ я такъ, въ скобкахъ. Продолжай.

Учит. ...И чтобъ людей высылали на службу, и отобрали бы въ монастыряхъ служителей причетныхъ; и что онъ, Борисъ, *виноя киящие умы*, желалъ бы предупредить казни; но чѣмъ и какъ? спрашиваетъ у Патріарха. — Коротко сказать, эта аудіенція кончилась тѣмъ, что Борисъ приказалъ перенести мощи св. Страдальца младенца въ Кремль, въ Архангельскій Соборъ.

Помѣщ. Да, помнится, и въ этомъ его не послушали.

Учит. А вотъ, сударь, на страницѣ 102-й, Патріархъ отговорилъ ему и обѣщалъ самъ выдти на помощь и обнаружить народу *злой обманъ бродяги*. Тѣмъ и прекратились распоряженія Годунова: всѣ разошлись съ миромъ. Теперь является онъ, съ Басмановымъ на стр. 122-й; какъ вдругъ у него *кровь хлынула изъ устъ и изъ ушей*; онъ чувствуетъ приближеніе смерти, поспригается, умираетъ. Богъ вамъ, Петръ Алексѣевичъ, весь герой Поэмы, или повѣсти, какъ угодно.

Помѣщ. Ну, говори о Самозванцѣ.

Учит. Когда въ корчмѣ узнали, что онъ дѣйствительно бѣснѣй монахъ и хотѣли схватить, онъ вынулъ кинжалъ, бросился въ окно — и давай Богъ поги. Правда, тутъ нѣтъ героизма, однакожь не станемъ совершенно осуждать Огренѣва. Продолженіе впродъ. Въ Краковѣ онъ собираетъ дружину, у Мишка соблазняетъ Марину; но мало-по-малу приближается къ своей цѣли, побѣждаетъ Русскихъ при Новгородѣ-Сѣверскомъ — и велитъ ударить отбой. *Мы побѣдили, говоритъ онъ: довели до конца Русскую кровь. Отбой!* Эта черта показываетъ, по крайней

мѣрь, что Огрепьевъ умѣетъ управлять войскомъ и умѣетъ заставить думать о привязанности своей къ Русскому народу; онъ не труситъ пятидесяти тысячъ, съ которыми, по словамъ плѣнника, идетъ на него Шуйскій. *Друзья, скажите онъ своимъ, не станемъ ждать мы Шуйскаго; я поздравляю васъ на завтра бой.* Здѣсь должно признаться, Самозванецъ показывается настоящимъ героемъ — и рѣчь его была не пустая: онъ на Престолѣ Московскомъ. И такъ, повторимъ, кто болѣе обращаетъ на себя вниманіе читателя, Борисъ или Гришка? Кто заслуживаетъ болѣе названіе героя Поэмы?

Помѣщ. Миѣ, Ермиль Сергѣевичъ, все равно. А что о другихъ-то лицахъ?

Учит. Былъ у меня заготовленъ вопросъ третій: хорошо ли выдержаны характеры *отъствующихъ* лицъ? Но подъ этою статьею поставилъ я *нуль*. О другихъ, кромѣ Бориса и Огрепьева, нечего и сказать. Они кое-что поговаривали, а не *дѣйствовали*.

Помѣщ. Такъ ужъ рассказывай скорѣе.

Учит. Ничего не говорю я о стопосложеніи. Для меня все стихи равны: гекзаметры, пентаметры, александрійскіе, бѣлые, съ римами — это одна оболочка, была бы поэзія; вотъ главное! Пушкинъ избралъ *ямбическія пентаметры* безъ рима, съ *присъщеніемъ* послѣ первыхъ двухъ стопъ. Почему жъ и не такъ? Вольному воля. О гладкости въ стихахъ ни слова не скажу: она есть не отъемлемая собственность Пушкина. Много мѣстъ превосходнѣйшихъ! Напримеръ, разговоръ Пимена съ Григорьемъ. Миѣ очень понравилось сдѣланное Григорьемъ *сравненіе*, когда онъ говоритъ, что во время сочиняемой Пименомъ лѣгописи, не могъ прочесть его сокрытыхъ думъ:

Все тотъ же видъ смиренный, величавый.  
Такъ точно Дьякъ въ приказахъ посѣдѣлый  
Спокойно зрѣть на правыхъ и виновныхъ,  
Добру и злу внимая равнодушно,  
Не вѣдая ни жалости, ни гнѣва.

Разсказъ о кончинѣ Царевича также очень хорошъ.



Прекрасна и молитва, произносимая мальчикомъ за Царя, по приказанію Шуйскаго. Я выписалъ ее:

Царю небесъ, вездѣ и присносущій,  
Своихъ рабовъ моленію внимли:  
Помолимся о нашемъ Государѣ,  
Объ избранномъ Тобой благочестивомъ,  
Всѣхъ христіанъ Царѣ самодержавномъ,  
Храни его въ палатахъ, въ полѣ ратномъ.  
И на путяхъ, и на одрѣ ночлега.  
Поддай Ему побѣду на враги,  
Да славится онъ отъ моря до моря.  
Да здравіемъ цвѣтетъ его семья,  
Да осѣняютъ ея драгія вѣтви  
Весь міръ земной—а къ намъ, своимъ рабамъ,  
Да будетъ онъ, какъ прежде, благодатенъ,  
И милостивъ и долготерпѣливъ,  
Да мудрости Его неистощимой  
Пронстекутъ источники на насъ:  
И, Царскую на то воздвигнувъ чашу,  
Мы молимся Тебѣ, Царю Небесъ.

Помѣщ. Эту молитву, Ермилъ Сергѣичъ, прочиталъ я нѣсколько разъ, подразумѣвая нынѣшнее время.

Учнт. И прекрасно изволили придумать.—Далѣе: удачно сдѣлано и описаніе черни.

.....Безмысленная чернь  
Измѣнчива, мятежна, суевѣрва,  
Легко пустой надеждѣ предана,  
Мгновенному внушенію послушна,  
Для истины глуха и равнодушна,  
А баснями питается она.

Съ пріятностью можно прочесть стихъ, сказанный Шуйскимъ Царю:

Не казнь страшна; страшна твоя немилость.

и слѣдующій Бориса:

Охъ, тяжела ты, шапка Мономаха.

Разговоръ Самозванца съ Мариною не заключаетъ въ себѣ отличныхъ красотъ, онъ, такъ, ни хорошъ, ни дуренъ: въ немъ нѣтъ ни жару, ни большой стужи. Конецъ довольно смѣшонъ. Разсерженный на Марину Отрепьевъ по уходѣ ея говоритъ:

Нѣтъ—легче мнѣ сражаться съ Годуновымъ,  
Или хитрить съ придворнымъ Езуитомъ,  
Чѣмъ съ женщиной. Чѣртъ съ ними, *мочи нѣтъ*.  
И путаетъ, и вьется, и ползетъ,  
Скользить изъ рукъ, шипитъ, грозитъ и жалитъ.  
Змѣя! змѣя!

Такия выраженія, Петръ Алексѣвичъ, *чужды съ ними*, а особенно: *мочи нѣтъ*, при всякой романтической национальности—ни куда не годятся.

За симъ, что называется *съ отцомъ*, слѣдуетъ прекрасное *обращеніе* Курбскаго къ своему отечеству:

Вотъ, вотъ она, вотъ Русская граница!  
Святая Русь! Отечество! Я твой!  
Чужбинны прахъ съ презрѣньемъ отряхую  
Съ моихъ одеждъ, пью жадно воздухъ новій:  
Онъ мнѣ родной! Теперь твоя душа,  
О мой отецъ, утѣшилась, и въ гробъ  
Опалыня возрадуются кости... и проч.

Помѣщ. Да! если бы такъ написана была вся повѣсть...

Учит. Тогда бы стали хвалить.

Помѣщ. Ну-ка, доходи скорѣе до Французскаго-то съ Нѣмецкимъ! До этого мѣста, помнится, нѣтъ ничего значительнаго, кромѣ разказа Патриарха о слѣдствѣ, прозрѣвшемъ у гроба св. младенца.

Учит. Такъ, это порядочно. А какъ увидѣлъ я *смыслъ Русскій съ Нѣмецкимъ и Французскимъ* признаюсь, подумалъ, можно ли было ожидать отъ Пушкина такой галиматіи? Что за школьническая игра въ словахъ Quoi, Quoi, ква, ква!

Помѣщ. Да помилуй, Ермилъ Сергѣичъ, обсердыся по

пустому: вѣдь Маржеретъ и Розенъ не умѣли говорить по Русски; ну и говорили какъ могли.

Учит. Такъ позвольте жъ объясниться: развѣ Самозванецъ съ патеромъ Черниковскимъ, съ Мариною и съ другими, въ Польшѣ, говорили по Русски? Развѣ Вишневецкій и Мишневскіе говорили по Русски? Слѣдовательно бы разговоры ихъ также напечатать по Польски, ужъ смѣшнить, такъ смѣшнить! Какъ вы думаете, Петръ Алексѣевичъ?

Помѣщ. *(смотря въ книгу)*. Sie haben Recht.

Учит. *(говоритъ странную тавтологію)*. Но истинѣ: Es ist Schande.

Помѣщ. Не полно-ли? Развѣ есть еще что-нибудь?

Учит. Вотъ, надобно замѣнить рѣчь, обращенную Борисомъ при смерти къ сыну его Феодору. Хотя и нѣтъ въ ней отлично хорошихъ мыслей, да есть порядочные стихи. И не выписать ее: слишкомъ длинна, и много между прочимъ пустого.

Теперь осталось только показать нѣкоторыя *рѣзки* мысли, встрѣчаемыя въ продолженіи Повѣсти; напримѣръ, патерь Черниковскій говоритъ справедливо:

Притворствоваться предъ оглашеннымъ свѣтомъ  
Намъ иногда духовный долгъ велить.

Эту Езуитскую мораль лучше бы не выдавать въ оглашенный свѣтъ.

Или въ семь Разговоръ Бориса съ Басмановымъ:

Лишь дай сперва смятеніе народа  
Мнѣ усмирить.

Б а с м а н о в ъ.

Что на него смотрѣть?  
Всегда народъ къ смятенію тайно склоненъ.

Помѣщ. Богъ вздоръ какой? *Богъ да склоненъ*. Пустое, съ этимъ я совершенно несогласенъ; какъ-бышь ты давнѣе сказать? да, него, весьма него. И Русскому ли Боярину такъ отзывать о Православномъ Русскомъ народѣ?

Лишь строгостью мы можемъ неусплной  
 Сдержатъ народъ...  
 Нѣтъ, милости не чувствуетъ народъ:  
 Твори добро—не скажетъ онъ спасибо;  
 Грабь и казни—тебѣ не будетъ хуже.

Учит. А Борисъ-то... (*читаетъ наизусть*).

Помѣщ. Полно, братецъ, полно! Чтобъ не подслушали.

Учит. Да вѣдь это говоритъ Борисъ въ печатномъ

Помѣщ. Такъ можно примолвить: и милостиво и премудро! Нѣтъ не вѣрю, чтобы Борисъ, каковъ ни былъ онъ, сталъ говорить такимъ Макиавельскимъ языкомъ.

Учит. А сыну-то при смерти говорить:

Со временемъ и понемногу, снова  
 Затягивай державныя бразды...

И вотъ еще извольте взглянуть на страницу 139-ю! Каково, мужикъ кричитъ народу съ какого-то *Ливона*:

Ступай! Вязать Борисова щенка!

то-есть, Осодора, Борисова сына, которому присягнули въ вѣрности! *Борисова щенка!* Какой изящный вкусъ!—И это *національность*?

Помѣщ. Ну, пора перестать. Что жъ ты думаешь о *первоклассности* Сочинителя?

Учит. Не мое дѣло. Миѣ, сударь, ни жаловать, ни разжаловать невозможно.

Помѣщ. И подлинно: безъ суда никто не наказывается, а судъ даетъ потомство.

Учит. Только надобно желать, Петръ Алексѣевичъ, чтобъ это потомство какъ можно скорѣе показалось; а до поздняго, кажется, не дожить нынѣшнему *Борису Годунову*.

\* \* \*

\*) (*О Борисѣ Годуновѣ, сочиненіи Александра Пушкина. Разговоръ.* Москва. Въ Университетской типографіи, 1831 г.

Въ 8. (16 стран.). (Продается въ магазинѣ Смирдина по рублю экземпляръ).

Въ числѣ критикъ, вышедшихъ на извѣстное произведение А. С. Пушкина, эта маленькая брошюрка, по нашему мнѣнію, должна занять, если не самое первое, то, по крайней мѣрѣ, почетное мѣсто. Впрочемъ, намъ кажется, что Критикъ смотритъ на произведение Пушкина болѣе съ строгой точки, нежели надлежало. Всѣмъ тѣмъ, которые принимаютъ участіе въ *Борисѣ Годуновѣ*, не мѣшало бы прочесть и сію книжку: вѣроятно, найдутъ ее занимательною.

Г. З—ая.

\* \* \*

\*) О *Борисѣ Годуновѣ*, сочиненіи Александра Пушкина. *Разговоръ*. Москва. Въ Университетской типографіи 1831 г., 16 стр., въ 8.

Странная участь Бориса Годунова! Еще въ то время, когда онъ не извѣстенъ былъ публикѣ вполне, когда изъ этого сочиненія былъ напечатанъ одинъ только отрывокъ, онъ произвелъ величайшее волненіе въ нашемъ литературномъ мірѣ. Люди, выдающіе себя за Романтиковъ, кричали, что эта трагедія затмитъ славу Шекспира и Шиллера; такъ называемые Классики въ грозномъ таинственномъ молчаніи двусмысленно улыбались и пожимали плечами; люди умѣренные, не принадлежащіе ни къ какой изъ вышеупомянутыхъ партій, надвѣялись отъ этого сочиненія многого для нашей Литературы. Наконецъ Годуновъ вышелъ; всѣ ожидали шума, толковъ, споровъ — и что же? Одинъ изъ С.-Петербургскихъ журналовъ о новомъ произведеніи знаменитаго Поэта отозвался съ личною бранью; Московскій Телеграфъ, который (какъ самъ о себѣ неоднократно объявлялъ) не оставляетъ безъ вниманія никакаго замѣчательнаго явленія въ литературѣ, на этотъ разъ изложилъ свое сужденіе въ нѣсколькихъ строкахъ общими мѣстами и упрекнулъ Пушкина въ томъ,

\*) „Листокъ“ 1831 г., № 45. (Библиографія).



какъ ему не стыдно было посвятить своего Годунова памяти Карамзина, у котораго Издатель Телеграфа силится похитить заслуженную славу. Въ одномъ только Телеграфѣ Борисъ Годуновъ былъ оцененъ по достоинству. Извѣстныи Г. Надоумко, который, вѣроятно, Издателю этого журнала не чужой и который нѣкогда совѣтовалъ Пушкину сжечь Годунова, теперь сіе же самое твореніе взялъ подъ свое покровительство. Но это сдѣлано имъ, кажется, только для того, что онъ, Г. Надоумко, какъ самъ признается, любить и звать противъ воды, идти наперекоръ общему голосу и вызывать на бой общее мнѣніе.

Теперь появилась особенная брошюрка, подъ названіемъ: О Борисѣ Годуновѣ, сочиненіи Александра Пушкина. Разговоръ. Что жъ это такое? спросятъ Читатели. Это, Милостивые Государя, одно изъ тѣхъ знаменитыхъ твореній, которыми наводняютъ нашу литературу Г. Орловъ и ему подобные. Какой-то Помѣщикъ Петръ Алексѣевичъ, проѣзжающій изъ Москвы чрезъ уѣздный городокъ, завелъ разговоръ о Борисѣ Годуновѣ съ какимъ-то знакомымъ ему вольнопрактикующимъ учителемъ Россійской словесности, Ермилѣмъ Сергѣевичемъ. Автору этого Разговора хотѣлось, вѣроятно, написать критику, и вотъ онъ началъ толковать о Годуновѣ по своему. Не желая искушать терпѣніе читателей, не входимъ въ подробное разсмотрѣніе этой брошюрки, а выписываемъ изъ оной нѣсколько отрывковъ, которые могутъ дать понятіе объ ономъ сочиненіи.

„Учит. Съ вышеноказанной-то страницы, правду молвить, Борисъ началъ дѣйствовать: приказать послать къ Воеводамъ, чтобы на коня сажались.

Помѣщ. Постой, постой, Ермилъ Сергѣевичъ, какъ? Всѣ Воеводы на одного коня?“

„Учит. Каково, мужикъ кричитъ народу съ какого-то амвона:

Ступай! Вязать Борисова щенка!

то-есть, Феодора, Борисова сына, которому присягнули въ вѣрности! Борисова щенка! Какой изящный вкусъ! И это національность?

Помѣщ. Ну, пора перестать. Что жъ ты думаешь о первокласности Сочинителя?

Учит. Не мое дѣло. Миѣ, сударь, ни жаловать, ни разжаловать невозможно.

Помѣщ. И подлинно: безъ суда никто не наказывается, а судъ даетъ потомство.

Учит. Только надобно желать, Петръ Алексѣвичъ, чтобъ это потомство какъ можно скорѣе показалось, а до поздняго, кажется, не дожидъ нынѣшнему Борису Годуну“.

Каково? Въ заключеніе, нельзя не замѣтить, что самое названіе этой школярной болтовни предвѣдомляетъ, въ какомъ духѣ написанъ Разговоръ о Борисѣ Годуновѣ; напечатанъ же особою брошюркою онъ, вѣроятно, потому, что по какимъ-нибудь причинамъ не могъ явиться ни въ одномъ журналѣ.

Изъ „Листка“ 1831 г.

\* \* \*

\*) О Борисѣ Годуновѣ, сочиненіи Александра Пушкина. *Разговоръ*. Москва, въ Университетской тип. 1831 г., въ 8 д. л., 16 стр.

Новѣйшая Поэзія имѣетъ особенный характеръ, которымъ она отличается и отъ Древней и отъ Романтической. Сей отличительный признакъ заключается въ ея отношеніи къ теоріи Искусства и къ Критикѣ. Во всѣхъ ея произведеніяхъ замѣтно, что они произошли подъ вліяніемъ извѣстныхъ литературныхъ правилъ или миѣній. Съ этою зависимою необходимо сопряжены два недостатка или, лучше сказать, два ложныя направленія Поэзіи. Съ одной стороны превращаютъ ее въ простое механическое стихотворство люди, которые почитаютъ себя Поэтами потому только, что навывкли въ ремесленной части Поэзіи, которые полагаютъ сущность ея во внѣшнихъ формахъ, и недостатокъ творческаго генія думаютъ замѣнить искусствомъ стихосложенія. — Съ другой стороны виновниками искаже-

\*) „Сѣверная Пчела“ 1831 г., № 167. (Новыя книги).

нія Поэзии бываютъ Поэты, которые вовсе отрицаютъ необходимость изучать правила и законы своего Искусства; умышленный трудъ, постоянный и усердный, для нихъ ненавистенъ; отвергая все формы, они не хотятъ вѣрить, что Поэзія есть искусство, и выдаютъ себя за Поэтовъ оригинальныхъ, природою вдохновенныхъ, національныхъ, которые, въ силу сего, должны писать, что и какъ имъ въ голову прійдетъ. — Обязанность Критики надзирать за сими заблуждающимися, и приводить ихъ на истинную стезю съ пути ложнаго, гдѣ они бесполезно растрачиваютъ свои лучшія силы. Но и сама Критика можетъ являться въ двухъ ложныхъ видахъ, соответствующихъ означеннымъ выше ошибочнымъ направленіямъ Поэзии. Есть люди, коимъ изученіе одной или двухъ Литературъ и выводъ изъ нихъ нѣсколькихъ неполныхъ и невѣрныхъ правилъ стоили такъ много труда, что совершенно ихъ утомили. Отъ того, рабѣяствуя предъ сими мнимыми законами Искусства, хотятъ они наложить то же ярмо и на творческую силу Поэта, и ко всему твореніямъ его примѣняютъ свое органическое мѣрило. За то бываютъ Критики другаго рода, которые еще легче добываютъ право суденъ литературныхъ: они не признаютъ никакихъ законовъ, творятъ судъ и расправу, какъ имъ заблагоразсудится. *Tel est notre bon plaisir* — вотъ основаніе ихъ приговоровъ; другаго, болѣе законнаго основанія они не знаютъ, и знать не хотятъ. Критики перваго рода смѣшны своею ограниченностію; но судьи-самозванцы вреднѣе ихъ.

Истинно великимъ Поэтомъ нашего времени можно быть только тому, кто къ высокому поэтическому дарованію присоединитъ глубокое основательное изученіе своего Искусства. Точно также и право Критика истиннаго уступается лишь только тому, кто, обладая чувствомъ, открытымъ для всего прекраснаго, не подѣвился трудною стезею умозрѣнія проникнуть до основныхъ, вѣчно истинныхъ законовъ Изящнаго, и повѣрить, подкрѣпить оныя историческимъ изученіемъ разнообразныхъ проявленій красоты въ различныхъ Литературахъ. — Судья *Гориза Голуцкая* не принадлежитъ къ числу сихъ избранныхъ. Поло-

жимъ, что никакому практикующему учителю Россійской Словесности, какъ ни были бы ограничены его теоретическія и историческія свѣдѣнія, нельзя запретить судить о Поэтѣ современномъ, ибо знаменитость сего Поэта можетъ быть оправдана потомствомъ, но можетъ быть и отринута; по крайней мѣрѣ, не позволительно съ такими слабыми средствами хотѣть быть судьей геніевъ великихъ, Шекспира, напримѣръ. „Шекспиръ, говоритъ Г. вольно-практикующій учитель, писалъ тогда еще, когда одноземцы его и понятія не имѣли объ изящномъ вкусѣ“. Справимся съ Исторіею. По расчисленіямъ Малона, Чальмерса и Драка, доставшіяся намъ отъ Шекспира Драмъ написаны имъ между 1589 и 1614 годами. Его современниками и соперниками были: Бенъ-Джонсонъ (род. 1574 г., ум. 1637 г.), многоначитанный ученикъ знаменитаго Камдена, опутавшій свой смѣлый геній веригами ложно понятаго Аристотеля (*Aristotelia* — Ермилъ Сергѣичъ!); Франсъ Бомонъ (род. 1584 или 1585, ум. 1615), который въ Кембриджѣ и Лондонѣ основательно изучилъ Классическую Словесность, и сотрудникъ его Джонъ Флетчеръ (род. 1576, ум. 1625). Упомянемъ еще объ отличномъ, по силѣ языка, Комикѣ Массингерѣ и о Чанманѣ (род. 1578, ум. 1635), переводчикѣ Илиады и подражатель Теренцію. — И одноземцы сихъ мужей не имѣли понятія объ изящномъ вкусѣ? Они имѣли даже испорченныя понятія объ изящномъ вкусѣ? Они имѣли даже испорченныя понятія, ибо нашлись люди, коихъ мнѣнія объ изящномъ сходились съ понятіями Г. вольно-практикующагося учителя, и которые сами вѣрили и на нѣкоторое время заставили другихъ вѣрить, что Джонсонъ, Бомонъ и Флетчеръ выше Шекспира. — Но сами сии мужи, потому именно, что были истинно образованы, умѣли цѣнить своего великаго современника. Не взирая на свое уваженіе къ Древнимъ, ученый Бенъ Джонсонъ ставитъ Шекспира на принадлежащую ему степень достоинства. Въ стихотвореніи, въ которомъ Джонсонъ оплакалъ смерть Шекспира, онъ говоритъ:

„Торжествуй, моя Британія! въ замѣну всѣхъ пѣвцовъ, которыхъ произвели надменная Греція или гордый Римъ

или которые потомъ возникли изъ подъ пера, ты можешь указать на одного, предъ коимъ благоговѣютъ все драматическія сцены Европы. Онъ принадлежитъ не одному вѣку; онъ есть достояніе всехъ временъ. — И его Музы еще все въ полномъ цвѣтѣ красоты“. Изъ „Сѣверной Пчелы“ 1831 г.

\* \* \*

\*) Повѣсти покойнаго Ивана Петровича Бѣлкина, изданныя А. П. — С.-Петербургъ. Въ типографіи Плюшара, 1831. Въ 12. (XIX и 137 страницъ). (Продается въ маг. Смирдина по 5 руб., съ перес. по 6 р. экз.).

Поставляемъ обязанности своею обратить вниманіе прекрасныхъ нашихъ Читательницъ на сію книжку: чтеніе оной доставитъ имъ особенное удовольствіе. Въ ней помѣщено пять Повѣстей: *Вистрѣлъ*, *Метель*, *Станціонный Смотритель*, *Гробовщики* и *Барышня-Крестьянка*. Мы хотѣли было рассказать вкратцѣ содержаніе каждой изъ сихъ Повѣстей, но подумали, что повредимъ этимъ интересу, который будутъ имѣть ихъ читательницы.

Изъ „Гирлянды“ 1831 г.

\* \* \*

\*\*) Повѣсти покойнаго Ивана Петровича Бѣлкина, изданныя А. П. С.-Петербургъ.

Какъ приятно, въ тѣсномъ дружескомъ кругу, предъ каминомъ, слушать рассказы умнаго, образованнаго человека — рассказъ о чемъ бы то ни было: о необыкновенномъ происшествіи, о забавной встрѣчѣ, о странномъ свидѣніи. Рассказчикъ не утомляетъ васъ подробностями, которыя были бы уместны только въ настоящихъ Повѣсти, легко очеркиваетъ свои изображенія, но бросаетъ черты сіи не безъ разбору, каждая изъ нихъ необходима для составленія цѣлаго; иногда забываетъ онъ роль рассказчика, и на нѣсколько минутъ самъ становится дѣйствующимъ ли-

\*) „Гирлянда“ 1831 г., ч. 2, № 28—29. (Библіографія).

\*\*) „Сѣверная Пчела“ 1831 г., № 255. (Новыя книги).



немъ, замѣняя свои картины повѣствовательныя сценою драматическою, причѣмъ и выраженіе лица, и голосъ, и слогъ рѣчей его измѣняются. — Вы имѣете ширій случай пользоваться прелестями такого разсказа, не трудясь искать расканика. возьмите Повѣсти Бѣлкина. Въ сей книжкѣ помѣщены шесть анекдотовъ, приключеній, странныхъ случаевъ, — какъ вамъ угодно назвать ихъ, разсказанныхъ мастерски: быстро, живо, пламенно, плѣнительно. — Жалуются, что содержаніе сихъ Повѣстей слишкомъ просто: что, прочитавъ нѣкоторыя изъ нихъ, спрашиваешь: только то? Да, только, а если этого недовольно, возьмите другую книжку, потолще — она будетъ и подешевле. — Въ предисловіи описана жизнь Автора, умершаго въ двѣнадцать лѣтъ:

Но вы, красавицы...

Не ахайте объ немъ и не смущайте духъ!

У Поэта, которому довелось издавать сии разсказы, есть, говорятъ, еще препорядочный запасецъ сочиненій покойнаго его пріятеля. Жаль, что въ этой поэтической книжкѣ, мѣстами и корректура поэтическая. такъ, напримѣръ, на стр. 2-й сказано: „Одинъ человекъ принадлежалъ нашему обществу“, вм.: *Ка* нашему обществу“. На стр. 75 *запирокъ!* Впрочемъ эти бездѣльные опинѣки бросаются въ глаза именно потому, что слогъ всей книжки самый правильный и пріятный“.

Изъ „Сѣверной Пчелы“ 1831 г.

\* \* \*

\*) Повѣсти покойнаго Ивана Петровича Бѣлкина

Вотъ также пять маленькихъ сказочекъ, которыя напечаталъ Г-нъ А. П., почитая ихъ *анимашъ для* малы, вѣроятно, не для дѣтей, а для взрослыхъ.

Помнится, въ Сѣверной Пчелѣ было сказано нѣсколько словъ о забавномъ подражаніи нашихъ литераторовъ нынѣшней модѣ Французской и Англійской. Во Франци и

\*) „Московский Телеграфъ“ 1831 г., ч. 42, № 22. „Рассказъ о...“

Англіи выдаютъ нынѣ книги, на половину, безъ подписи имени или съ подложными именами сочинителей. И у насъ стали дѣлать тоже: являются безирестанно *анонимы* и *псевдонимы*. Но что у Англичанъ и Французовъ происходитъ отъ избытка силы, то у насъ пустое обезьянство. Многие сочинители наши могутъ подписывать и не подписывать имена свои, и все-таки останутся — *anonymes dans les deux cas* (по выраженію А. де-Виньи). Этотъ П. П. *Бѣлкинъ*, этотъ Издатель сочиненій его, который подписывается буквами: А. П., и о которомъ въ объявленіи книгопродавцевъ говорятъ, какъ о *главномъ нашемъ поэтѣ*, не походятъ-ли они на дитя, закрывшее лицо руками и думающее, что его не увидятъ?

Впрочемъ, буквы: А. П., были необходимы въ другомъ отношеніи: безъ этого никто и не замѣтилъ бы *Повѣстей Бѣлкина*. Теперь, по крайней мѣрѣ, ихъ прочитали.

Кажется, Сочинителю хотѣлось испытать: можно-ли увлечь вниманіе читателя разсказами, въ которыхъ не было-бы никакихъ фигурныхъ украшеній ни въ подробностяхъ разсказа, ни въ слогѣ, и никакого романизма въ содержаніи (принимая здѣсь слово *романизмъ* какъ *умозвѣщеніе*, въ чемъ, по увѣренію нашихъ риторовъ, заключается сущность романа).

Дарованія В. Ирвинга въ наше время, кажется, рѣшили уже этотъ вопросъ. Но зналъ-ли Гнѣ Бѣлкинъ, что это верхъ силы дарованія огромнаго? Эта мнимая простота показываетъ геркулеса, безъ всякаго усилія, шута, ломающаго огромныя деревья.

Возьмите какую-нибудь В. Ирвингову повѣсть. Педантъ, школьный учитель, влюбился въ дѣвушку: любовникъ красавицы пугаетъ педанта мертвецами и заставляетъ бѣжать. Англичанинъ, съѣхавшись въ дорогѣ съ молодою Венецианкою, спасаетъ ее отъ разбойниковъ. Вотъ содержаніе двухъ повѣстей. Что можетъ быть этого проще? Въ разсказѣ той и другой повѣсти нѣтъ ни риторическихъ фигуръ, ни печальностей, ни блесковъ. Но въ этомъ-то отсутствіи шумихи содержанія и слога заключается высокое искусство. Всего болѣе показать свою степень, если можно

такъ сказать *безмысленнаго искусства*, В. Ирвингъ въ тѣхъ разсказахъ, гдѣ вовсе нѣтъ у него никакой завязки. Читайте его: *Рассказы о Сэрѣ*, свиданіе съ В. Скоттомъ, вороновъ и воронъ — неподражаемо! И. П. Бѣлкину явно хотѣлось попасть въ колесо В. Ирвинга. Но какъ *Евгеній Оньгинъ* далекъ отъ *Донъ Жуана*, такъ *Повѣсти Бѣлкина* далеки отъ созданій В. Ирвинга.

Лучшею изъ всѣхъ *Повѣстей Бѣлкина* намъ показалась — *Смачионини Сдотрини*. Въ ней есть нѣсколько мѣстъ, показывающихъ знаніе человѣческаго сердца. Забавна и шутка, названная: *Гробовищкѣ*. За то въ повѣстяхъ: *Вьстрѣтъ*, *Метѣ* и *Барышня-Крестьянка* нѣтъ даже никакой вѣроятности, ни поэтической, ни романической. Это фарсы, затянутые въ корсетъ простоты, безъ всякаго милосердія \*).

## 1832 г.

\*) *Евгеній Оньгинъ*, романъ въ стихахъ. Сочиненіе Александра Пушкина. Главы повѣстныя. Спб., въ тип. Депарг. Народнаго Просвѣщенія, 1832 г. (въ 12-ю д. л. 51 стр.) \*\*\*)

Этотъ *осьмюю* главой заключается поэтическій романъ, созданный А. С. Пушкинымъ. Авторъ утаить у насъ подъ спудомъ *подлинную осьмюю главу*, въ которой описано было путешествіе *Оньгина* по Россіи, и остроумно оговариваетъ сию утайку въ своемъ предисловіи. Въ послѣдней главѣ *Евгеній* снова встрѣчается съ Татьяной, но уже не за-

\*) Сюда не вошли рецензіи о Пушкинѣ 1831 года, напечатанныя въ слѣдующихъ изданіяхъ: „Сѣверномъ Меркуріи“, NN 1, 23 и 37 („Борисъ Годуновъ“ и „Повѣсти Бѣлкина“); „Колокольникъ“, № 6, стр. 23—24 („Борисъ Годуновъ“); „Литературной Газетѣ“, № 1 и 2, стр. 7—8 и 15—17 („Борисъ Годуновъ“); „Сѣверномъ Вѣстникѣ“, № 2, стр. 62—64 („Борисъ Годуновъ“); „Жо“, № 2, стр. 47—57 („Борисъ Годуновъ“); „Литературный Приблѣженіе къ Русскому Инвалиду“, № 8 и 93, стр. 59 и 735 („Послѣдъ“ и „Повѣсти Бѣлкина“). *Примѣч. Г. Златовѣт.*

\*\*) „Русскій Инвалидъ“ 1832 г., № 26. („Новая книга“).

\*\*\*) Продается въ Спбурѣ въ всѣхъ книжныхъ магазинахъ по 5 р. за экземпляръ. За пересылку въ другое города прилагается 50 коп.

стѣичивую провинціалкой, а ловкою свѣтскою Княгиней. Демонъ тщеславія, всегдашній кумиръ *Онѣгина*, пробуждаетъ въ сердцѣ его любовь къ той, которую прежде онъ отвергнулъ; но Татьяна какъ будто бы не замѣчаетъ ни вѣдоховъ, ни страстныхъ преслѣдованій челоуѣка, нѣкогда покорившаго ея неопытное сердце. За прежній совѣтъ его, она платитъ ему тоже совѣтомъ, не столь великодушнымъ, но за то болѣе разсудительнымъ и назидательнымъ; признается, что еще любитъ его, но хочетъ остаться вѣрною своему долгу... и оставляетъ *Онѣгина*. Поэтъ также оставляетъ его „надолго... навсегда“, заключая свою поэму слѣдующими стихами:

„Блаженъ, кто праздникъ жизни рано  
Оставилъ, не допивъ до дна  
Бокала полнаго вина,  
Кто не дочелъ ея романа  
И вдругъ умѣлъ разстаться съ нимъ,  
Какъ я съ Онѣгинымъ моимъ“.

*Изъ „Русскаго Инвалида“ 1832 г.*

\* \* \*

Въ „Сѣверной Пчелѣ“ помѣщенъ фельетонъ, заключающій въ себѣ выписки изъ 3-й главы „Евгенія Онѣгина“. Въ концѣ фельетона, между прочимъ, сказано:

\*) Такое окончаніе Онѣгина примиритъ всякаго съ Авторомъ. Нужно ли распространяться о достоинствѣ сего произведенія перваго нашего Поэта? Оно еще не опредѣлено критикою, какъ и всѣ почти произведенія Русской Литературы, въ томъ мы согласны; но каждый изъ читателей составилъ себѣ *свою* идею о семъ произведеніи, сообразно *своему* понятію объ изящномъ. Скажемъ только, что осьмая и послѣдняя глава Евгенія Онѣгина показываетъ, что Поэтъ писалъ ее въ состояніи одушевленія, часто вдохновенія, и

\*) „Сѣверная Пчела“ 1832 г., № 51.—Замѣтка П. С.

что она принадлежит къ лучшимъ главамъ сего поэтического Романа.

*Изъ „Сѣв. Пислы“ 1832 г.*

\* \* \*

\*) *Послѣдняя глава Евгения Онѣгина*. Сочиненіе Александра Пушкина.

Изъ читавшихъ первыя главы *Онѣгина*, вѣроятно, не многіе думали такъ скоро увидѣть конецъ сей повѣсти, вызвавшей много толковъ, споровъ, осужденій и восхищеній, холодныхъ порывовъ, и — можетъ быть — нѣсколько слезокъ, падшихъ украдкой. Но какъ-бы то ни было воть послѣдняя глава, конецъ Онѣгина! Чѣмъ-же кончилась эта *исторія*, сказка, или романъ? спросятъ читатели. Чѣмъ?... да чѣмъ обыкновенно кончится все въ мірѣ? И Богъ знаетъ! Иной живетъ лѣтъ восемьдесятъ, а жизни его было всего лѣтъ тридцать. Такъ и Евгений Онѣгинъ: его не убили, и самъ онъ еще здравствовалъ, когда Поэтъ задержнулъ занавѣсъ на судьбу своего героя. Въ послѣдній разъ читатель видитъ его въ спальнѣ Татьяны, уже Княгини NN, свѣтской, высшаго тона дамы, которая упрекаетъ бывшаго властителя ея сердца за прежнее и настоящее, и оставляетъ его въ раздумьѣ, съ мужемъ своимъ Княземъ NN.

И здѣсь героя моего,  
Въ минуту злую для него,  
Читатель, мы теперь оставимъ.  
Надолго... навсегда. За нимъ  
Довольно мы путемъ однимъ  
Бродили по свѣту. Поздравимъ  
Другъ друга съ берегомъ. Ура!  
Давно-бъ (не правда-ли?) пора!

Нѣтъ! Мы пожалѣли не о томъ, что судьба (возлею Поэта) такъ неожиданно оставила Онѣгина, какъ будто на распутіи; мы пожалѣли объ *свѣтлой глаголющей*, извѣстной публикѣ.

\*) „Московскій Телеграфъ“ 1832 г., ч. 43, № 1.

БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ  
ПРИКАЗЧИКА  
ЛУБА.



по отрывкамъ. „Авторъ чистосердечно признается, что онъ — выпустить изъ своего романа цѣлую главу, въ коей описано было путешествіе Оуѣгина по Россіи. Отъ него зависѣло означить сію выпущенную главу точками или цифрами; но во избѣжаніе соблазна, рѣшился онъ лучше выставить, вмѣсто девятаго номера, осьмой, надъ послѣднею главою Оуѣгина, и пожертвовать одною изъ окончательныхъ строфъ:

Пора: перо покоя просить;  
И девять пѣсень написать;  
На берегъ радостный выносить  
Мою ладью девятый валъ.  
Хвала вамъ, девяти Каменамъ, и проч.

Такъ объясняется Поэтъ въ Предисловіи. Невольно поркорствуемъ его волѣ.

Говорить о содержаніи сей Главы нечего. Оно живо полнотою и прелестью самаго разсказа, а не связывающею нитью, которая въ Оуѣгинѣ такъ обыкновенна и проста. Подѣлимся наслажденіемъ съ читателями, выпиравъ изъ окончанія *Оуѣгина* нѣсколько разныхъ мѣстъ. Вотъ, на-примѣръ, горсть афоризмовъ, очень обыкновенныхъ, *ходячихъ*; но языкъ — прелесть! Невольно затверживаешь этотъ гармоническій лепетъ:

Блаженъ, кто смолода былъ молодъ,  
Блаженъ, кто во время созрѣлъ,  
Кто постепенно жизни холодъ  
Съ лѣтами вытерпѣть умѣлъ:  
Кто страннымъ снамъ не предавался,  
Кто черни свѣтской не чуждался;  
Кто въ двадцать лѣтъ былъ франтъ иль хватъ,  
А въ тридцать выгодно женатъ:  
Кто въ пятьдесятъ освободился  
Отъ частныхъ и другихъ долговъ,  
Кто славы, денегъ и чиновъ  
Спокойно въ очередь добился,  
О комъ твердили цѣлый вѣкъ:  
NN прекрасный человекъ.

Но грустно думать, что напрасно  
 Была намъ молодость дана,  
 Что измѣняли ей всечасно,  
 Что обманула насъ она;  
 Что наши лучшія желанья,  
 Что наши свѣжія мечтанья  
 Истлѣли быстрой чередой,  
 Какъ листья осенью гнилой.  
 Несносно видѣть предъ собою  
 Однихъ обѣдовъ длинный рядъ,  
 Глядѣть на жизнь, какъ на обрядъ,  
 И вслѣдъ за чинною толпою  
 Идти, не раздѣляя съ ней  
 Ни общихъ мнѣній, ни страстей.

Вотъ картинка моднаго свѣта:

Тутъ былъ однако свѣтъ столицы,  
 И знать, и моды образцы,  
 Вездѣ встрѣчаемыя лица,  
 Необходимые глупцы;  
 Тутъ были дамы пожилыя  
 Въ чепцахъ и въ розахъ, съ виду злыя;  
 Тутъ было нѣсколько дѣвицъ,  
 Неулыбающихся лицъ;  
 Тутъ былъ посланникъ, говорившій  
 О государственныхъ дѣлахъ;  
 Тутъ былъ въ душистыхъ сѣдинахъ  
 Старикъ, по старому глупившій,  
 Отмѣнно тонко и умно,  
 Что нынче нѣсколько смѣшно.

Между тѣмъ Онѣгинъ кто-бы повѣрилъ? — сдѣлался  
 мечтателемъ! -

Онъ такъ привыкъ теряться въ этомъ,  
 Что чуть съ ума не сворогилъ,  
 Или не сдѣлался поэтомъ.  
 Признаться: то-то бѣ одолжилъ!  
 . . . . .  
 Дни мчались; въ воздухѣ нагрѣтомъ  
 Ужъ разрѣшалася зима;  
 И онъ не сдѣлался поэтомъ,  
 Не умеръ, не сошелъ съ ума.

Весна живить его: впервые,  
 Свои покои запертые,  
 Гдѣ зимовалъ онъ какъ сурокъ.  
 Двойныя окна, камелекъ  
 Онъ яснымъ утромъ оставляетъ,  
 Несется вдоль Невы въ савяхъ:  
 На синихъ изстѣченныхъ льдахъ  
 Играетъ солнце; грязно таетъ  
 На улицахъ разрытый снѣгъ....

Читатели видятъ, что Поэтъ не разучился рисовать сѣверную природу. Но они вполне помирятся съ нимъ — если бы и таился въ душѣ ихъ какой-нибудь холодъ къ Олѣгину — прочитавъ заключеніе романа, по нашему мнѣнію, одно изъ лучшихъ мѣстъ во всемъ этомъ сочиненіи.

Кто-бъ ни былъ ты, о мой читатель,  
 Другъ, недругъ, я хочу съ тобой  
 Разстаться нынче какъ пріятель.  
 Прости. Чего бы ты за мной  
 Здѣсь ни искалъ въ строфахъ небрежныхъ:  
 Воспоминаній-ли мятежныхъ,  
 Отдохновенья-ль отъ трудовъ,  
 Живыхъ картинъ, иль острыхъ словъ,  
 Иль грамматическихъ ошибокъ,  
 Дай Богъ, чтобъ въ этой книжкѣ ты,  
 Для развлеченья, для мечты,  
 Для сердца, для журнальныхъ ошибокъ,  
 Хотя крупицу могъ найти.  
 За симъ разстанемся: прости.

Прости-жъ и ты, мой спутникъ странный,  
 И ты, мой вѣрный идеаль,  
 И ты, живой и постоянный,  
 Хоть малый трудъ. Я съ вами зналъ  
 Все, что завидно для поэта;  
 Забвенье жизни въ буряхъ свѣта,  
 Бесѣду сладкую друзей.  
 Промчалось много, много дней  
 Съ тѣхъ поръ, какъ юная Татьяна  
 И съ ней Олѣгинъ въ смутномъ снѣ  
 Явились впервые мнѣ...  
 И далъ свободнаго романа

И сквозь магическій кристалъ  
Еще не ясно различалъ.

Но тѣ, которымъ въ дружной встрѣчѣ  
И строфы первыя читалъ...  
Иныхъ ужъ нѣтъ, а тѣ далече,  
Какъ Садя нѣкогда сказалъ  
Безъ нихъ Онѣгинъ дорисованъ.  
А та, съ которой образованъ  
Татьяны милый идеаль...  
О, много, много рокъ отъялъ!  
Блаженъ, кто праздникъ жизни рано  
Оставилъ, не допивъ до дна  
Бокала полнаго вина,  
И вдругъ умѣлъ разстаться съ нимъ,  
Какъ я съ Онѣгинымъ момъ.

Это вздохъ музыки, долго плѣнявшій слухъ и душу!...  
Если-бы Поэтъ *вездѣ и во всемъ* оставался такъ вѣренъ  
своему высокому призванію, какъ въ этихъ стихахъ, то ему  
конечно не пришлось бы написать:

...Журналы,  
Гдѣ поученья намъ твердятъ,  
Гдѣ нынче такъ меня бранятъ,  
А гдѣ такіе мадригалы  
Себѣ встрѣчалъ я иногда....

Если и опять будутъ гдѣ нибудь колотъ Автора Онѣгина,  
то конечно *не за послѣднія строфы* поэтического его ро-  
мана.

Изъ „Моск. Телеграфа“.

§  
\* \* \*

\*) Уже текущій годъ, говоря народною Русскою рѣчью,  
*перестомился*: и вотъ весь поэтический его приходъ, кото-  
рый можно отложить въ сохранныю казну воспоминанія!

\*) „Телескопъ“ 1832 г., ч. IX, № 9. Статья, подъ заглавіемъ „Тѣло и  
отечественной литературы“. Въ этой статьѣ вмѣстѣ съ произведеніями  
Пушкина разбираются также стихотворенія Виктора Тендрякова  
и, великій, русская критика.

Чуждое дѣло! Неужели скудость поэтической производительности, оплаканная нами при обозрѣніи истекшаго года, должна оставаться неотъемлемымъ удѣломъ нашей бѣдной словесности? Неужели сладкія надежды, коими украшали мы будущность, суть обманчивые призраки? И немногія страницы нашей слишкомъ тонкой библиографии должны ли наполняться одними жалкими, печальными Іереміадами?

Къ сожалѣнію, по крайней мѣрѣ на сей разъ, жестокій опытъ подтверждаетъ, кажется, сіи зловѣщія предчувствія. Изъ трехъ книжекъ, составляющихъ единственный поэтический плодъ цѣлыхъ шести мѣсяцевъ литературной нашей жизни, только одна послѣдняя можетъ собственно назваться новостью. Двѣ первыя принадлежатъ поэту, давно извѣстному, и заключаютъ въ себѣ стихотворенія также болѣею частію извѣстныя или вполне или въ отрывкахъ. Но не одна количественная, численная, такъ сказать, скудость новыхъ поэтическихъ произведений ужасаетъ насъ въ итогъ истекшаго полугода. Въ самомъ внутреннемъ ихъ достоинствѣ обнаруживается крайняя бѣдность поэтической жизни, не радостная для патріотовъ Русской словесности.

Было время когда каждый стихъ *Пушкина* считался драгоценнымъ приобрѣтеніемъ, новымъ перломъ нашей литературы. Какой общій, почти единодушный восторгъ привѣтствовалъ первые свѣжіе плоды его счастливаго таланта! Какія громозвучныя рукоплесканія встрѣтили *Евгенія Онегина* въ колыбели? Можно было по всей справедливости примѣнить къ юному поэту горделивое изреченіе Цезаря: *пришелъ, увидѣлъ, побѣдилъ!* Всѣ преклонились предъ нимъ до земли: всѣ единогласно поднесли ему вѣнецъ поэтического безсмертія. Усумниться въ преждевременномъ апотеозѣ героя считалось литературнымъ святотатствомъ: и нѣсколько послѣднихъ лѣтъ въ исторіи нашей словесности по всѣмъ правамъ можно назвать эпохою *Пушкина*. Не будемъ оскорблять минувшее бесполезными истязаніями: что было, то было! Скажемъ болѣе: имя *Пушкина* и безъ прихотливаго каприза моды, коей былъ онъ любимымъ временщикомъ, имѣло бы всѣ права на почетное мѣсто въ



нашей литературы: энтузіазмъ, имъ возбуждаемый, не былъ совершенно не заслуженный! Но теперь—какая удивительная перемена! Произведенія *Пушкина* являются и проходятъ почти непримѣтно. Блистательная жизнь *Евгенія Онегина*, коего каждая глава бывало считалась эпохой, оканчивается почти насильственно, перескокомъ чрезъ цѣлую главу: и это не производитъ никакого движенія, не возбуждаетъ никакого участія.

*Третья часть* стихотвореній *Пушкина*, обогащенная обширною сказкою въ новомъ родѣ, котораго геній его еще не испытывалъ, скромно, почти никогдѣ, прокрадывается въ газетныхъ объявленіяхъ, на ряду съ мелкою рухлядью цеховаго рифмоплетнаго рукодѣлья; и (о верхъ униженія!) между журнальными насѣкомыми, *Сиверная Пчела*, ползавшая нѣкогда предъ любимымъ поэтомъ, чтобы поживиться отъ него хотя росинкой сладкаго меду, теперь осмѣливается жужжать ему въ привѣтствіе, что въ послѣднихъ стихотвореніяхъ своихъ *Пушкинъ отжилъ!!!... Sic transit gloria mundi!...*

Что жъ значить сія перемена?... Приписать ли это внезапное охлажденіе той же вѣтротлѣнной прихотливости моды, которая прежде баловала такъ поэта, или видѣть въ немъ добросовѣстное раскаяніе вразумившагося безпристрастія?.. Вопросъ сей должно рѣшить внимательнымъ разсмотрѣніемъ послѣднихъ произведеній *Пушкина*. Начнемъ съ *Послѣдней Главы Онегина*. Признаемся откровенно, сія послѣдняя глава показалась намъ ни чѣмъ не хуже первыхъ. Та же прихотливая рѣзвость вольнаго воображенія, порхающаго легкокрылымъ мотылькомъ по узорчато-му, но безплодному полю свѣтской бездушнѣйшей жизни; та же яркая пестрота красокъ и цвѣтовъ, мелькающихъ подвижною калейдоскопическою мозаикой; то же бѣглое, но цѣпкое остроуміе, вездѣ оставляющее слѣды легкаго юмористическаго угрызенія; та же чистота и гладкость стиха, всюду льющагося тонкой хрустальной струей. Однимъ словомъ, мы нашли здѣсь продолженіе той же пародіи на жизнь, вѣтренной и легкомысленной, но вмѣстѣ затѣйливой и остроумной, коей мы любовались отъ души

въ первыхъ главахъ *Евгенія*. Посему, читая ее, мы не испытали никакого разочарованія, не подверглись никакому непріятному впечатлѣнію; и если иногда приходило намъ въ голову, что поэту создавшему *Бориса Годунова*, время бѣ быть постепеннѣе, то мы оправдывали его необходимостію: надобно жѣ было кончить, что начато!... Но отдавая искренній отчетъ въ собственныхъ нашихъ чувствованіяхъ, мы не думаемъ, чтобъ ихъ раздѣляло съ нами общее мнѣніе. Большинство публики, въ минуты перваго упоенія, обмороченное вѣроломными кликами шарлатановъ, спекулировавшихъ на общій энтузіазмъ къ *Пушкину*, видѣло въ *Онигинѣ* какое-то необыкновенное чудо, долженствовавшее разродиться неслыханными послѣдствіями. Оно думало читать въ немъ полную исторію современнаго человѣчества, управляемую въ роскошныя поэтическія рамы; ожидало найти въ немъ Русскаго Чайлд-Гарольда. И могло ли устоять долго это добродушное ослѣпленіе, когда откровенная искренность поэта сама его разрушала безпрестанно? Каждая глава *Онигина* яснѣе и яснѣе обнаруживала непритязательность *Пушкина* на исполинскій замысль, ему приписываемый. Съ каждою новою строкою становилось очевиднѣе, что произведеніе сіе было не что иное, какъ вольный плодъ досуговъ фантазіи, поэтическій альбомъ живыхъ впечатлѣній таланта, играющаго своимъ богатствомъ. Напрасно самое пристрастное доброжелательство усиливалось отыскать въ немъ черты высшаго эстетическаго значенія. Его воздушная легкость ускользала отъ всѣхъ покушеній пріязненной критики, домогавшейся узаконить его въ рангъ художественнаго произведенія, имѣющаго извѣстныя права и подчиненнаго извѣстнымъ условіямъ. *Евгеній Онигинъ* не былъ и не назначался быть въ самомъ дѣлѣ *романомъ*, хотя имя сіе, подъ которымъ онъ явился первоначально, осталось навсегда въ его заглавіи. Съ самыхъ первыхъ главъ можно было видѣть, что онъ не имѣетъ притязаній ни на единство содержанія ни на цѣльность состава, ни на стройность изложенія: что онъ освобождаетъ себя отъ всѣхъ искусственныхъ условій, коихъ критика въ правѣ требо-

вать отъ настоящаго романа. Въ такъ называемомъ *романѣ Пушкина*, отъ начала до конца, мелькають, говоря его же словами:

Ни съ чѣмъ не связанные сны,  
Угрозы, толки, предсказанья,  
Иль длинной сказки вздоръ живой,  
Иль письма дѣвы молодой.  
И постепенно въ усыпленье  
И чувствъ и думъ впадаетъ онъ,  
А передъ нимъ воображенье  
Свой пестрый мечетъ фараонъ.

Самое явленіе его, неопредѣленно-періодическими выходами, съ безпрестанными пропусками и скачками, показываетъ, что поэтъ не имѣлъ ни цѣли, ни плана, а дѣйствовалъ по свободному внушенію играющей фантазіи. Смѣло можно было угадывать, что при первой главѣ *Онегина*, *Пушкинъ* и не думалъ, какъ онъ кончится: и вотъ собственное его откровенное признаніе въ *Послѣдней Главѣ*.

Промчалось много, много дней  
Съ тѣхъ поръ, какъ юная Татьяна  
И съ ней Онегинъ въ смутномъ снѣ  
Явились впервые мнѣ —  
И далъ *свободнаго романа*  
И сквозь магическій кристалъ  
Еще не ясно различалъ.

Но сіе признаніе сдѣлано уже слишкомъ поздно. Оно не спасло откровеннаго поэта отъ мести тѣхъ, кои, думая видѣть въ мыльныхъ пузырькахъ, пускаемыхъ его затѣйливымъ воображеніемъ, роскошныя огни высокой поэтической фантазмагоріи, наконецъ должны были признать себя жалко обманувшимися. Раздраженная толпа вымещаетъ теперь свое чрезмѣрное ослѣпленіе несправедливой холодностью. *Послѣдняя Глава Онегина* наказывается незаслуженнымъ пренебреженіемъ, отъ того, что первымъ удалось возбудить восторгъ, не совсемъ заслуженный. Самъ поэтъ, безъ сомнѣнія, это предчувствовать: ибо послѣднее прощаніе его съ читателями, коимъ онъ заключаетъ сію *Послѣднюю Главу*, растворено юмористическою

ѣдкостью, изобличающею тайное недовольство самимъ собой и представляющею разительную противоположность съ тѣмъ разгульнымъ одушевленіемъ веселаго самодовольства, коимъ проникнуты первыя главы *Онегина*.

Кто бъ ни былъ ты, о мой читатель,  
 Другъ, недругъ, я хочу съ тобой  
 Разстаться нынче какъ пріятель.  
 Прости. Чего бы ты со мной  
 Здѣсь ни искалъ въ строфахъ небрежныхъ:  
 Воспоминаній ли мятежныхъ,  
 Отдохновенія ль отъ трудовъ,  
 Живыхъ картинъ, иль острыхъ словъ,  
 Иль грамматическихъ ошибокъ,  
 Дай Богъ, чтобъ въ этой книжкѣ ты  
 Для развлеченья, для мечты,  
 Для сердца, для журнальныхъ сшибокъ,  
 Хотя крупицу могъ найти.  
 За симъ разстанемся, прости.

Не знаемъ, какъ принято сіе обращеніе другими: что жъ касается до насъ, то мы извлекли изъ него поучительное заключеніе, къ чести поэта, но — не въ добрую примѣту для нашей словесности. Явно, что *Пушкинъ*, съ благороднымъ самоотверженіемъ, созналъ наконецъ тщету и ничтожность поэтического суслоія, коимъ, увлекая другихъ, не могъ конечно и самъ не увлекаться. Его созрѣвшій умъ проникъ глубже и постигъ вѣриѣ тайну поэзии: онъ увидѣлъ, что для гения — повторимъ давно сказанную остроту — не довольно создать *Евгенія*... Но лучше ли отъ того нашей словесности? При ея крайнемъ убожествѣ, блестящая игрушка, подобная *Онегину*, все по крайней мѣрѣ, наполняла собой ужасную ея пустоту. Видѣть эту игрушку, разбитую руками, ее устроившими, и не имѣть чѣмъ замѣнить ее — еще грустиѣ, еще безотрадниѣ.

*Третья часть* стихотвореній *Пушкина* оставалась единственною опорою, къ коей мы хотѣли приковать наши зыблющіяся надежды. Признаемся искренно, что въ *Борисѣ Годуновѣ* мы думали видѣть разсвѣтъ новаго періода художнической жизни поэта, отъ котораго ожидали мно-

гаго для нашей поэзіи; и потому съ жаромъ ухватились за собраніе новыхъ, послѣднихъ его произведеній, дабы найти въ нихъ пріятное оправданіе нашимъ мечтаніямъ. И къ сожалѣнію, съ тою же искренностію, должны мы теперь сознаться, что мечтанія сіи оказались не сбывшимися. Скажемъ напередъ нашъ образъ мыслей, который для иныхъ можетъ показаться страннымъ: стихотворенія мелкія мы считаемъ самыми важными документами для изученія постепеннаго образованія художнической жизни поэта. Въ произведеніяхъ первой величины, бывающихъ обыкновенно плодомъ долговременнаго напряженія всѣхъ силъ поэта, геній является, такъ сказать, въ парадѣ, затаенный во всѣ формы искусственнаго приличія, какія только для него возможны: но мелкія стихотворенія, вырывающіяся небрежно изъ души, въ минуты поэтическаго наитія, трепещутъ свободою, безыскусственною, неподдѣльною жизнью минуты, ихъ породившей. Слѣдовательно въ нихъ собственно должно изучать внутреннюю исторію поэта. Это особенно имѣетъ силу въ отношеніи къ *Пушкину*, коего всѣ произведенія, сколько-нибудь пообширнѣе (силы ль у него не доставало или терпѣнія, не беремся здѣсь рѣшать!) никогда вполне не удавались. Кто хочетъ вызвать истинную глубину его таланта, тотъ долженъ вслушаться въ его могучую бесѣду съ *моремъ*, или въ вѣдую думу о *Наполеонѣ*. Посему-то, повторяемъ, мы особенно надѣялись на *Третью Часть* его стихотвореній. Сія *Третья Часть* содержитъ въ себѣ произведенія трехъ послѣднихъ лѣтъ, съ 1829 по 1831 годъ: и, признаемся, сіи три года показались намъ печальною лѣтвицею ошутительнаго упаданія поэта. Не то, чтобы дарованіе *Пушкина* дряхлѣло и истощалось въ силахъ: напротивъ, оно напрягается иногда до исполинскаго, заоблачнаго величія, какъ н. п. въ поэтической думѣ о *Казбекѣ*, принадлежащей 1829 году:

Высоко, надъ семьей горъ,  
Казбекъ, твой царственный шатеръ  
Сіяетъ вѣчными лучами.  
Твой монастырь за облаками,



Какъ въ небѣ рѣющій ковчегъ,  
 Паритъ, чуть видный надъ горами.  
 Далекій, возжеланный брегы!  
 Туда бѣ, сказавъ прости ущелью,  
 Подняться въ вольной вышинѣ!  
 Туда бѣ, въ заоблачную келью,  
 Въ сосѣдство Бога скрыться мнѣ!..

Но, не оскудѣвая въ силахъ, талантъ *Пушкина* ощутительно слабѣетъ въ силѣ, теряетъ живость и энергію, выдыхается. Его блестящее воображеніе еще не увяло, но осыпается цвѣтами, липающими постепенно болѣе и болѣе своей прежней благовоиной свѣжести. Напрасно привычнымъ ухомъ вслушиваешься въ знакомую мелодію его звуковъ: они не отзываются уже тою неподдѣльно-естественною, неистощимо-живою, безбоязненно-самоувѣренною свободою, которая, въ прежнихъ стихотвореніяхъ его, увлекала за собой непреодолимымъ очарованіемъ. Какъ будто рѣзвыя крылья, носившія прежде вольную фантазію поэта, онали; какъ-будто тайный враждебный демонъ затянулъ и осадилъ рѣянаго коня его. И на что лучше свидѣтельства самого поэта? Послушаемъ собственнаго его признанія, которое находится въ той же *Третьей Части*. Поэтъ обращается къ *Цыганамъ*, коихъ поэтическая жизнь вдохнула ему одно изъ прекраснѣйшихъ его стихотвореній:

Надъ лѣсистыми берегами,  
 Въ часъ вечерней тишины,  
 Шумъ и пѣсни надъ шатрами,  
 И огни разложены.

Здравствуй, счастливое племя!  
 Узнаю твои костры:  
 Я бы самъ въ иное время  
 Провожалъ сіи шатры.

Завтра съ первыми лучами  
 Вашъ исчезнетъ вольный слѣдъ.  
 Вы уйдете—но за вами  
 Не пойдетъ ужъ вашъ поэтъ!

И дѣйствительно въ послѣднихъ стихотвореніяхъ *Пуш-*

кина, то *иное* блаженное время, въ которое вольная его фантазія кочевала самобытно въ широкомъ полѣ свободнаго вдохновенія, едва мелькаетъ въ догорающихъ воспоминаніяхъ. Сія потеря силы тѣмъ прискорбнѣе, что не сопровождается совершенно потерей силъ въ поэтѣ. Талантъ его сохраняетъ еще свою дѣятельность и пыгается всячески воспроизвести себя. Онъ ощупываетъ всѣ лады поэтическаго одушевленія, дабы найти тонъ для новаго періода своей художнической жизни: то подпираясь силой мысли, какъ въ *Пирѣ во время Чумы*, въ *Моцартѣ* и *Сальери*, то согрѣваясь огнемъ патріотическаго энтузіазма, какъ въ лирическомъ воззваніи къ *Клеветникамъ Россіи* или празднованіи *Бородинской годовщины*. Но надъ нимъ сбываются вполнѣ поэтическія *примѣты*, заключающія какъ бы нарочно сію *третью часть* стихотвореній, третій томъ жизни *Пушкина*. Исторія его прошедшихъ мечтаній и на стоящаго разочарованія слишкомъ выразительно обрисовывается сими двумя куплетами:

И ѣхалъ къ вамъ: живые сны  
За мной вились толпой игривой,  
И мѣсяцъ съ *правой* стороны  
Сопровождалъ мой бѣгъ ретивой.  
И ѣхалъ *прочь*: *иные* сны...  
Душѣ влюбленной грустно было,  
И мѣсяцъ съ *левой* стороны  
Сопровождалъ меня уныло.

Наконецъ, по естественному ли закону кругообращенія человѣческой дѣятельности или по обдуманному расчету, основанному на воспоминаніи о прежнихъ успѣхахъ. *Пушкинъ* возвратился опять на точку, съ коей началъ свое поприще, ухватился за струну, прозвучавшую впервые его славу. Онъ обратился къ Русской народной старинѣ, въ коей волшебной, прозрачной мглѣ, разыгрались первыя мечты его поэтической юности. Это новое покушеніе обратило на себя все наше вниманіе. Мы надѣялись увидѣть здѣсь первый шагъ къ тому обратному разрѣшенію зрѣлаго мужества въ первобытную дѣтскую простоту, къ тому

второму, искусственному, мудрому младенчеству, которое по законамъ бытія, составляетъ послѣднюю степень созрѣнія жизни. Но, къ прискорбію, мы нашли одно принужденное усиленіе, tout de force могущественнаго, но безжизненнаго искусства. Съ одной стороны нельзя не согласиться, что сія новая попытка Пушкина обнаруживаетъ тѣснѣйшее знакомство съ наружными формами старинной русской народности: но смыслъ и духъ ея остается все еще тайною, не разгаданною поэтомъ. Отсюда все произведеніе носитъ на себѣ печать механической поддѣлки подъ старину, а не живой поэтической ея картины. Не смотря на искусный подборъ словъ и выражений въ тонѣ Русскихъ народныхъ сказокъ, въ немъ изобличаются безпрестанно слѣды новой работы. Гомерическія повторенія однихъ и тѣхъ же рѣчей—кон, въ оригинальныхъ преданіяхъ старины, плѣняютъ своею естественною, младенческою наивною — производятъ скуку, когда видѣшь въ нихъ умыселъ поддѣлывающагося искусства. Какое различіе между *Русланомъ и Людмилой* и *Сказкою о Царѣ Салтанѣ*? Тамъ конечно меньше истины, меньше вѣрности и сходства съ Русскою стариною въ наружныхъ формахъ; но зато, какой огонь, какое одушевленіе! Невольно забываешь все археологическія пригизанія, чтобы любоваться прелестями свѣжей, роскошной поэзіи. Здѣсь напротивъ одна сухая мертвая работа—старинная пыль, изъ которой, съ особеннымъ попеченіемъ, выведены искусные узоры!.. Такимъ образомъ въ *Третьей Части* стихотвореній Пушкина мы увидѣли рядъ неудачныхъ попытокъ таланта, разочарованнаго въ юношескихъ своихъ мечтахъ и не умѣющаго найти опоры для своихъ зрѣлыхъ помысловъ и вдохновеній.

Какое жъ общее заключеніе должно вывести отсюда?... Мы уже имѣли случай высказать, что довѣренность наша къ неистощенной полнотѣ юной Русской жизни, только что слегка завывающей надеждами, предохраняетъ насъ отъ совершеннаго отчаянія въ дѣлѣ поэзіи, обнаруживаемаго такъ громко и ясно современною Французскою критикою. И тамъ подобное отчаяніе есть грѣхъ противъ человѣческой

природы, коей творческая сила составляет наследственное, неотъемлемое достоинство: у насъ оно было бы двойнымъ преступленіемъ. Франція уже пресытилась жизнью, и напряженными чрезъ мѣру усиліями истощила предъ собою всю перспективу будущности, заключающейся на горизонтѣ обыкновенной предусмотрительности. Но мы еще только-что начинаемъ жить: будущее наше еще не почато. Должно однако предполагать, что подобныя черныя мысли находятъ доступъ и къ намъ: по крайней мѣрѣ видно, что ихъ боятся и берутъ противъ мѣры. Такъ *Стихотворенія Тютчева*, поэта новаго, не покровительствуемаго ни шумомъ наемной молвы, ни титулами благопріобрѣтеннаго авторитета, являются на свѣтъ подъ оборонительной эгидой предисловія, которое заключаетъ въ себѣ формальную апологію поэзии. Признаемся, намъ пріятно было встрѣтить въ этомъ *предисловіи* ту же свѣтлую, живую, несокрушимую вѣру въ безсмертіе поэзии, которое сами исповѣдуемъ. Сочинитель его съ благороднымъ негодованіемъ возстаетъ противъ тѣхъ, кои, твердя объ *исполнскихъ шагахъ* современнаго просвѣщенія, ограничиваютъ все его достоинство и весь отличительный характеръ стремленіемъ къ *физическому благополучію*: для него, какъ и для насъ, поэзія есть лучшій цвѣтъ человѣческой жизни, вѣщающійся полное развитіе. Точно также, согласно съ нами, въ настоящемъ безплодіи нашей поэтической производительности, видитъ онъ не безнадежное истощеніе пресытившейся, одряхлѣвшей жизни, но младенчество, богатое дѣвственною будущностью. „Чѣмъ же, какой поэзіей успѣли мы до сихъ поръ пресытиться?“ говоритъ онъ. „Гдѣ наши Шекспиры, Гёте, Байроны? Гдѣ эта длинная цѣпь именъ знаменитыхъ? Неужели Кантемиръ, Тредьяковскій и даже Ломоносовъ съ Державинимъ и Озеровымъ совершили вполнѣ ожиданія своего отечества? Честь и слава Пушкину, Жуковскому, Батюшкову: но ими ли все для насъ должно кончиться?“ Наблюдательность его, будучи дробнѣе, простирается еще далѣе. Живо чувствуя настоящую поэтическую ничтожность нашу, онъ допрашивается у современныхъ поэтовъ, не они ли сами причиною ея жалкаго без-

силія; и рѣшеніе его запечатлѣно горькою, неподслащенною истиною. „Если душа художника“ — разсуждаетъ онъ — „имѣеть нужду въ созвучіи, въ сердечномъ отголоскѣ согражданъ своихъ, то тѣмъ болѣе художникъ — это вѣрное зеркало идеальной жизни своего отечества — долженъ, кажется, сберегать всеми силами святую чистоту души своей. Мы не намѣрены разбирать разныхъ постороннихъ обстоятельствъ подавляющихъ у насъ истинное вдохновеніе: но этимъ ли цинтическимъ насѣкомымъ — батракамъ какого-нибудь литературнаго промышленника — негодовать на невнимательность публики? Горестно видѣть, до какой степени наша литература превратилась нынѣ въ меркантильность самую ремесленную!“ Что правда, то правда! Мы охотно присоединяемъ голосъ свой къ обличенію, коего справедливость чувствуемъ и признаемъ въ полной мѣрѣ. Но, одобряя отъ всего сердца образъ мыслей почтеннаго сочинителя *предисловія къ Стихотвореніямъ Г. Теплякова*, мы не можемъ не попенять ему нѣсколько за обманъ, въ который онъ, конечно, неумышленно ввелъ насъ. По его рѣзкому, значительному тону, мы увѣрены были, что онъ приготовляетъ насъ къ новому, оригинальному явленію въ нашей словесности, вскрывающему, хотя въ темныхъ предчувствіяхъ, нашу вождельную поэтическую будущность: и между тѣмъ, отдавая всю справедливость *Стихотвореніямъ Г. Теплякова*, мы не можемъ не признать въ нихъ отзвуковъ той же самой настроенности, коей гармоническій *Requiem* слышали въ послѣднихъ аккордахъ звучной лиры *Пушкина*. Но такъ какъ лице и талантъ *Г. Теплякова* слишкомъ новы и незнакомы въ нашей словесности, то мы подвергнемъ ихъ особенному, внимательному разсмотрѣнію.

*Стихотворенія Г. Теплякова* отличаются преимущественно роскошью поэтической живописи. Въ нихъ преобладаетъ воображеніе могущественное, смѣлое, яркое. Языкъ возведенъ до высочайшей степени изобразительнаго великолѣпія. Во избѣжаніе ненужнаго многословія, приведемъ здѣсь, для примѣра, нѣсколько строкъ изъ прекрасной



картины *Ганимеса*, которую, безъ восточнаго преувеличенія, можно назвать жемчужнымъ ожерельемъ поэзи:

На скалахъ лѣсистой Иды  
День алмазный догоралъ,  
И лазурный одръ Оетиды  
Яркимъ блескомъ осыпалъ.  
И надъ пѣной волнъ игривой  
За Киверою ночной,  
Какъ за прелестью стыдливой,  
Покатился молчаливо  
Мѣсяць блѣдно-золотой.  
Долгой ловлей утомленный,  
Съ лукомъ, спущеннымъ у ногъ,  
Близъ Гаргары осребренной  
Спалъ прекрасный полубогъ.  
Брать ли это Галатеи—  
Изваянный сердца бредъ?  
Иль возлюбленный Психеи?  
Иль томимой страстью феи  
Фантастическій предметъ?  
Или чадъ розы юной  
Другъ златаго мотылька?—  
Нѣтъ! подобнаго въ подлунной  
Не видалъ никто цвѣтка!—  
На ланитахъ полныхъ рдѣть  
Блескъ вечернихъ облаковъ:  
Мраморъ на груди бѣлѣть:  
Въ розахъ устъ волшебныхъ млѣть  
Сладострастная любовь.  
И какъ ленты струевыя  
Въ чистомъ озера стеклѣ,  
Бьются жилки голубыя  
На опаловомъ челѣ,  
Нѣгой дышетъ вѣтръ игривый,  
По густымъ рѣзвясъ кудрямъ  
И склоняя ихъ извивы,  
Какъ листы плакучей ивы,  
Къ алебастровымъ плечамъ,  
Кто сорветъ цвѣтокъ чудесный?  
Къ сердцу кто его прижметъ?  
Взгляните: тлится сводъ небесный,  
Громъ надъ юношей реветъ!  
И сверкнулъ перунъ летучій,  
И уснувшій вздрогнулъ доль,

И, колебля мракъ зыбучій,  
Выплываетъ изъ-за тучи  
Громовержущій орелъ!

Такой роскоши кисти, такой яркости красокъ, поискать и у *Пушкина*. Но дабы яснѣ представить себѣ параллель между обоими поэтами, возьмемъ нѣкоторыя черты изъ поэтическихъ описаній *Кавказа*, надъ которыми оба они испытывали свои силы. Вотъ картина *Пушкина*:

Кавказъ подо мною. Одинъ въ вышинѣ  
Стою надъ снѣгами у края стремнины:  
Орелъ, съ отдаленной поднявшись вершины,  
Паритъ неподвижно со мной наравнѣ.  
Отсель я вижу потоковъ рожденье  
И первое грозныхъ обваловъ движенье.  
Здѣсь тучи смиренно идутъ подо мной;  
Сквозь нихъ низвергаясь, шумятъ водопады:  
Подъ ними утесовъ нагія громады:  
Тамъ ниже мохъ тощій, кустарникъ сухой;  
А тамъ уже рощи, зеленныя сѣни,  
Гдѣ птицы щебечутъ, гдѣ скачутъ олени.

Теперь послушаемъ *Теплякова*:

Отчизна горъ въ моихъ очахъ,  
Окаменѣлые гиганты предо мною:  
Громады мрачныя, какъ будто на часахъ.  
Стоять гранитною стѣною.  
Въ вѣнцѣ изъ темнаго кустарника одна,  
Зеленымъ бисеромъ унизана другая:  
Тамъ голыхъ скалъ семья чернѣетъ вѣковая,  
Надъ ней волнистыхъ тучъ клубится пелена!  
Подъ тяжкими ея стопами  
Вокругъ богатыми махровыми коврами  
Луга холмистые лежатъ.  
На нихъ, изъ сердца горъ, кипячіе фонтаны,  
Бушующе, серебромъ растопленнымъ летятъ:  
Въ гранитныхъ броняхъ великаны,  
Склонясь на пропасти, ихъ грозно сторожатъ.

Различіе довольно ощутительно и въ тонѣ и въ выраженіи. Первое, безъ сомнѣнія, должно приписать различію

положеніи обоихъ поэтовъ относительно изображаемаго предмета. *Пушкинъ* видѣлъ Кавказъ *подъ* собой, *Тепляковъ*—*предъ* собою; тамъ мысль чувствовала себя выше природы, здѣсь — наравнѣ съ ней; отсюда тамъ больше спокойствія, здѣсь больше усилій; или лучше, скажемъ словами обоихъ поэтовъ: тамъ воображеніе, какъ орелъ, поднявшись съ отдаленной вершины, паритъ недвижно; здѣсь, подобно кипучему фонтану, летитъ, брызгаетъ, растопленнымъ серебромъ. Но различіе въ яркости выраженія неоспоримо должно отнести къ личному, характеристическому различію обоихъ поэтовъ. Въ самыя блестящія минуты своихъ первыхъ вдохновеній, *Пушкинъ* больше рисовалъ, чѣмъ разцвѣчивалъ свои картины. У *Теплякова* напротивъ господствуетъ колоритъ. Отсюда стихотворенія *Пушкина* легки, прозрачны, воздушны: стихотворенія *Теплякова* напротивъ обременены красками, сгущающимися нерѣдко до мрачности. Таково особенно послѣднее въ изданіи теперь собраніи, называемое: *Чуждыи Домъ*, гдѣ роскошное богатство яркихъ поэтическихъ цвѣтовъ отливаетъ какою-то туманною мглою, непроницаемою для мысли. Мы, конечно, далеки отъ того, чтобы новаго, только-что явившагося выходца, поставить на одну доску съ заслуженнымъ корифеемъ нашей словесности: но при всемъ томъ признаемся, что талантъ *Теплякова*, по нашему крайнему разумѣнію, кажется, обѣщаетъ въ себѣ достойное продолженіе таланта *Пушкина*. Если онъ не будетъ такъ живъ, такъ богатъ, такъ затѣйливъ, то, съ другой стороны, можетъ даже превзойти его великолѣпіемъ и пышностью поэтическаго убранства. Но это все не обогатитъ нашей бѣдной словесности никакимъ важнымъ пріобрѣтеніемъ. Въ стихотвореніяхъ *Теплякова*, не смотря на ихъ наружный ослѣпительный блескъ, замѣчательно отсутствіе самобытнаго, могущественнаго, родотворно-зидительнаго вдохновенія, которое одно производитъ для вѣчности. Новый поэтъ можетъ продолжить для насъ эпоху *Пушкина*, можетъ наполнить болѣе или менѣе яркими, искусственными блестками ужасную пустоту нашей словесности; но — не ослѣменить ее для новой, самобытной, самопроизводитель-

ной жизни! И такъ вотъ что остается въ итогъ нашихъ изслѣдованій. Поэзія наша рѣшительно не двигается впередъ, но, обращаясь въ одномъ и томъ же кругѣ, только что повторяетъ сама себя, въ болѣе и болѣе тусклѣющихъ отраженіяхъ. Это однако не значитъ, чтобы внутренняя полнога жизни истощалась въ нѣдрахъ нашего отечества: она еще и не раскрывалась сама изъ себя. Доселѣ во всѣхъ поэтическихъ нашихъ условіяхъ господствовало вдохновеніе не самобытное, чужое, экзотическое: лучшіе, блистательнѣйшіе цвѣты нашей поэзіи выращены въ оранжерейной атмосферѣ подражанія. Мы еще не имѣли своей, Русской, народной поэзіи. У *Пушкина* были притязанія на имя Русскаго народнаго поэта, и онъ долго считался таковымъ: но его народность ограничивалась тѣснымъ кругомъ нашихъ гостинныхъ, гдѣ Русская богатая природа выложена подражательностью до совершеннаго безличія и бездушія. Отсюда непрочность его успѣховъ и славы. Но ничто не изобличаетъ такъ ярко чужеземнаго, не Русскаго вдохновенія, господствующаго въ современной нашей поэзіи, какъ стихотворенія Г. Теплякова. Поэтъ самъ не хотѣлъ скрывать того. Каждое изъ его стихотвореній носить, можно сказать, на лбу печать своего чужеземнаго происхожденія: каждое начинается иностраннымъ эпиграфомъ, заключающимъ въ себѣ его главную тему. Обстоятельство, повидимому, случайное, но имѣющее глубокий смыслъ, подающее поводъ къ важнымъ соображеніямъ! Значитъ, у поэта не доставало собственныхъ оригинальныхъ мотивовъ поэтическаго вдохновенія, когда каждый его аккордъ имѣлъ нужду въ заимствѣнномъ, чужеземномъ текстѣ. Что же должно заключить отсюда? То, что поэзіи нашей не дождался обновленія, пока Русскій духъ не обратится внутрь себя, не отыщетъ въ самомъ себѣ источника новой, самобытной жизни!.. Но какъ приняться, какъ начать это великое дѣло?... Европейскія литературы возвращаютъ теперь свою народность, обращаясь къ своей сторонѣ. У насъ это возможно ли? Такого ли наше прошедшее, чтобы возстановленіемъ его можно было бы осыменить нашу будущность?.. Сей важный вопросъ мы предоставляемъ себѣ

разрѣшить въ послѣдствіи, когда дойдетъ очередь до тѣхъ произведеній нашей словесности, кои, подъ именемъ *романовъ*, стремятся собственно и исключительно къ поэтическому возсозданію старины Русской.

Изъ „Телескопа“ 1832 г.

\* \* \*

\*) Стихотворенія Александра Пушкина. Часть третья. Спб. 1832 г., въ тип. Дев. Нар. Просвѣщенія, въ 8-ю д. л. 203 стр. \*\*).

Истинный подарокъ любителямъ чтенія къ Свѣтлому празднику! Здѣсь, кромѣ многихъ стихотвореній, восхищавшихъ насъ въ разныхъ альманахахъ и періодическихъ изданіяхъ, находимъ мы прекрасную Русскую сказку: (*О Царѣ Салтанѣ, Царевичѣ Гвидонѣ и Прекрасной Царевнѣ Лѣбодѣ*), рассказанную съ тою свободою и прелестью стиха, съ тѣмъ знаніемъ Русскаго сказочнаго типа, съ тѣмъ счастливымъ даромъ примѣнягся къ вымысламъ, повѣрьямъ и быту народныхъ нашихъ рассказовъ, коими читатели Русскіе любовались въ эпилогѣ къ *Руслану* и *Тюдмилѣ* и во многихъ мѣстахъ самой сей поэмы. Сказка о Царѣ Салтанѣ и о прочихъ, по объему своему, могла бы сама составить особую книжку; ибо она больше любовью изъ главъ *Евгенія Онегина*; и въ семъ отношеніи А. С. Пушкинъ, по совѣсти сказать, подарилъ своихъ читателей. Поэтъ болѣе *Гайфроническій*, то есть, менѣе безкорыстный, конечно, наложилъ бы сею сказкою новую дань на алчное любопытство публики.

Въ 3-й части *Стихотвореній Пушкина* помѣщены стихотворенія 1829, 1830 и 1831 годовъ. Сверхъ того 10 стихотвореній, написанныхъ Авторомъ прежде, но не вошедшихъ въ 1-ю и 2-ю ч. Всѣхъ стихотвореній числомъ 53.

\*) „Русскій Инвалидъ“ 1832 г., № 86.

\*\*) Продается во всѣхъ книжныхъ лавкахъ, по 10 р. экземпляръ, за пересылку прилагается 1 р.



Въ томъ числѣ есть нѣсколько большихъ (*Посланиі къ Вильможъ, Пиръ во время чумы, Моцартъ и Сальери, Бородинская годовщина* и проч.).

Изъ „Русск. Инвалида“ 1832 г.

\* \* \*

1) Стихотворенія Александра Пушкина, 3-я часть.

А. С. Пушкинъ принадлежитъ къ малому числу тѣхъ счастливицевъ - гениевъ, коихъ первые подвиги знаменовались правомъ на триумфъ, и вся литературная жизнь коихъ была и есть громкое, непрерывное торжество. Сказать сіе, нельзя не вспомнить о великомъ — теперь уже не *нашимъ* — Гете! Отъ раннихъ лѣтъ до поздней кончины онъ наслаждался единодушнымъ удивленіемъ свѣта — и опочилъ въ царственной могилѣ. Хотя вокругъ него иногда и шипѣла зависть и злоба: хотя нѣкто — довольно значимый человекъ — когда-то принимался доказывать, что Гете не знаетъ по-*Нѣмецки*; хотя въ наше время Менцель, фанатикъ какой-то ложно-понимаемой нравственности Поэзии, своими почти всегда несправедливыми сужденіями силится разочаровать славу великаго — но что значать сіи тщетныя покушенія? Хулительный свистъ злобы производитъ одно негодованіе, а Менцелевы критики напоминаютъ только трогательныя слова, произносимыя рабомъ триумфатора! Менцель, сдѣлавшись триумфаторскимъ рабомъ Гете, и отправляя сію должность по фанатическому убѣжденію своему, не думаетъ, по крайней мѣрѣ, возвыситься надъ господиномъ, а одинъ нашъ смѣливый журналистъ понимаетъ это дѣло гораздо лучше: ему самому захотѣлось сѣсть въ торжественную колесницу Карамзина! Мы не упоминали бы объ этомъ, но говоря словами сего самаго Журналиста — *это пришло къ стати!*

Если бъ позволили предѣлы газетной статьи, то мы съ особеннымъ удовольствіемъ теперь — когда міръ лишился

\*) „Сѣверная Пчела“ 1832 г., № 81. „Новыя Книжки“. Статья *Барона Розена*.

*Гёте*, означили бы нѣкоторыя съ нимъ весьма сходныя черты въ нашемъ *Пушкинѣ*, а именно тѣ, кои не всегда отличаются и превосходи́йшія дарованія. Но кои между тѣмъ должно назвать высренними качествами такихъ гениевъ, какъ Шекспиръ и Гёте. Сии-то качества, явнѣе всего проявляющіяся въ Драмѣ: Борисъ Годуновъ, суть вѣри́йшее поручительство въ томъ, до чего достигнетъ нашъ Пушкинъ, если онъ, какъ должно думать, всегда будетъ слушаться демоническаго голоса своего генія, какъ онъ слушался понынѣ. Подобныя сужденія отвлекли бы насъ отъ подлежащей книги. и такъ мы, предоставляя всякому умному читателю отыскивать самому эти черты сходства, обращаемся къ дѣлу.

Сія третья часть Стихотвореній Пушкина заключаетъ въ себѣ 53 пьесы, написанныя въ три послѣдніе года. Долженствовало бы казаться, что сии пьесы, столь рѣзко отличающіяся отъ произведеній другихъ нашихъ Поэтовъ, сильнѣе дѣйствуютъ на читателей въ литературномъ сборникѣ (т. е. среди пьесъ прочихъ Писателей) нежели въ отдѣльномъ изданіи; но мы убѣждаемся на опытъ, что онѣ и здѣсь не только имѣютъ равное прежнему дѣйствіе, но и отъ совокупности своей еще получаютъ новую прелесть. Вообразимъ, что на свѣтѣ есть возвышенное племя, каждый членъ коего проявляетъ собою идею оригинальности и особенной красоты, одушевляющую творца; представимъ себѣ, что сіе племя разсыяно на большомъ пространствѣ. Каждый изъ нихъ очаровываетъ отдѣльно, гдѣ бы ни находился; но если всѣ собраны въ одной свѣтлой залѣ — въ домѣ своего отца — каково должно быть общее дѣйствіе сего собранія! Сіе угодобленіе само собою представляется уму, при видѣ соединенныхъ пьесъ нашего Поэта. Каждую изъ нихъ привѣтствуемъ какъ милую знакомку, которой мы уже платили дань удивленія, но съ коей встрѣчаться рады, припоминая ея свѣжую прелесть. Когда же всѣ представляются вмѣстѣ, то трудно рѣшить, кому изъ нихъ отдать преимущество, за исключеніемъ нѣкоторыхъ, по своему назначенію рѣшительно возвышающихся надъ другими, какъ-то драма *Моцартъ и Сальери*.

Но въ сей книгѣ есть и новыя пьесы, между коими особеннаго вниманія достойна *Сказка о Царѣ Салтанѣ, о сынѣ его славномъ и могучемъ богатырѣ Гвидонѣ Салтановичѣ и о прекрасной Царевнѣ Лебеди*. — Большая прелестная пьеса, которая отдѣльно составила бы довольно порядочную книжку. Дабы всѣ области Поэзии были воздѣланы нашимъ Поэтомъ, онъ обратился къ простонародной сказкѣ, доказавъ уже прежде своей народною баллагою: *Натанша*, до какой степени онъ освоился съ Русскимъ духомъ. Отдѣленная отъ сора и нечистоты, и сохранившая только свое золото, Русская сказка у него золотозвучными стихами извивается по чудесной области народно-романтического. Геній старины, омывшись, какъ лебедь, въ Кастальскѣмъ ключѣ Пушкинской Поэзии, посится мимо насъ легкимъ мелодическимъ полетомъ! Удивительно счастливо здѣсь соединена народность выраженія со всею очаровательностью Пушкинской дикции! Для примѣра выпишемъ начало этой сказки...“ (Слѣдуетъ отрывокъ, начинающійся стихомъ:

„Три дѣвицы подъ окномъ...“

и кончающійся:

„И завидуютъ онѣ  
Государевой женѣ...“

Кто не полюбопытствуется узнать дальнѣйшую судьбу этой Царицы, происхождения царевича Гвидона и прекрасной Царевны Лебеди, рассказанныя такъ мило, такъ очаровательно!

1

*Баронъ Розенъ.*

\* \* \*

### **\*) Борисъ Годуновъ.**

Каждый народъ, имѣющій свою трагедію, имѣетъ и свое понятіе о трагическомъ совершенствѣ. У насъ еще нѣтъ

\*) „Пропеѣвъ“ 1832 г., ч. I, № 1 „Обзоръ русскон литературы 1831 г.“.

ни того ни другаго. Правда, что когда Французская школа у насъ господствовала, мы думали имѣть образца въ Озеровѣ; но съ тѣхъ поръ вкусъ нашей публики такъ измѣнился, что трагедіи Озерова не только не почитаются образцовыми, но врядъ ли изъ десяти читателей одинъ отдаетъ ему половину той справедливости, которую онъ заслуживаетъ; ибо оцѣнить красоту, начинающую увядать, еще труднѣе, чѣмъ отдать справедливость совершенной древности, или восхищаться посредственностію новою, и я увѣренъ, что большая часть нашихъ самозванцевъ - романтиковъ готова промѣнять все лучшія созданія Расина за любую Морлакскую пѣсню.

Чего же требуемъ мы теперь и чего должны мы требовать отъ трагедіи Русской? Нужна ли намъ трагедія Испанская? или Нѣмецкая? или Англійская? или чисто Греческая? или составная изъ всехъ сихъ родовъ? и какого рода долженъ быть сей составъ? Сколько какихъ элементовъ должно входить въ нее? И нѣтъ ли элемента намъ исключительно свойственнаго? Вотъ вопросы, на которые критикъ и публика могутъ отвѣчать только отрицательно: прямой отвѣтъ на нихъ принадлежитъ поэту. Ибо ни въ какой литературѣ правила вкуса не предшествовали образцамъ. Не чужіе уроки, но собственная жизнь, собственные опыты должны научить насъ мыслить и судить. Покуда мы довольствуемся общими истинами, не примѣненными къ особенности нашего просвѣщенія, не извлеченными изъ коренныхъ потребностей нашего быта, до тѣхъ поръ мы еще не имѣемъ своего мнѣнія, либо имѣемъ ошибочное; не цѣнимъ хорошаго-приличнаго потому, что ищемъ невозможнаго - совершеннаго, либо слишкомъ цѣнимъ недостаточное потому, что смотримъ на него издали общей мысли, и вообще мѣряемъ себя на чужой аршинъ и твердимъ чужія правила, не понимая ихъ мѣстныхъ и временныхъ отношеній.

Это особенно важно въ исторіи новѣйшей литературы, ибо мы видимъ что въ каждомъ народѣ рожденію собственной словесности предшествовало поклоненіе чуждой, уже развившейся. Но если первые поэты были вездѣ подража-

телями, то естественно что первые судьи ихъ держались всегда чужаго кодекса и повторяли наизусть чужія правила, не спрашиваясь ни съ особенностями своего народа, ни съ его вкусомъ, ни съ его потребностями, ни съ его участіемъ. Не менѣе естественно и то, что для такихъ судей лучшими произведеніями казались всегда произведенія посредственныя: что лучшая часть публики никогда не была на ихъ сторонѣ, и что явленіе истиннаго гения не столько поражало ихъ воображеніе, сколько удивляло ихъ умъ, смѣшивая всѣ расчеты ихъ прежнихъ теорій.

Только тогда, когда новыя поколѣнія, воспитанныя на образцахъ отечественныхъ, получаютъ самобытность вкуса и твердость мнѣнія, независимаго отъ чужеземныхъ вліяній, только тогда можетъ критика утвердиться на законахъ вѣрныхъ, строгихъ, обще-принятыхъ, благотельныхъ для поствдователей и страшныхъ для нарушителей. Но до тѣхъ поръ приговоръ литературнымъ произведеніямъ зависитъ почти исключительно отъ особеннаго вкуса, особенныхъ идей, и только случайно сходится съ мнѣніемъ образованнаго большинства.

Вотъ одна изъ причинъ, почему у насъ до сихъ поръ еще нѣтъ критики. Да, я не знаю ни одного литературнаго сужденія, которое бы можно было принять за образецъ истиннаго воззрѣнія на нашу словесность. Не говоря уже о критикахъ, внушенныхъ пристрастіемъ, не говоря о безогчетныхъ похвалахъ или порицаніяхъ друзей и недруговъ,—возьмемъ тѣ сужденія объ литературѣ нашей, которая составлены съ самою большою отчетливостію и съ самымъ меньшимъ пристрастіемъ, и мы вездѣ найдемъ зависимость мнѣнія отъ вліяній словесностей иностранныхъ. Тотъ судитъ насъ по законамъ, принятымъ въ литературѣ Французской, тотъ образцомъ своимъ беретъ литературу Нѣмецкую, тотъ Англійскую, и хвалитъ все, что сходно съ его идеаломъ, и порицаетъ все, что не сходно съ нимъ. Однимъ словомъ, нѣтъ ни одного критическаго сочиненія, которое бы не обнаруживало пристрастія автора къ той или другой иностранной словесности, пристрастія по болышей части безогчетнаго, ибо тотъ же



критикъ, который судить читателей нашихъ по законамъ чужимъ, обыкновенно самъ требуетъ отъ нихъ національности и укоряетъ за подражательность.

Самымъ лучшимъ подтвержденіемъ сказаннаго нами могутъ служить вышедшіе до сихъ поръ разборы Бориса Годунова. Иной критикъ, помня Лагарпа, хвалитъ особенно тѣ сцены, которыя болѣе напоминаютъ трагедію Французскую, и порицаетъ тѣ, которымъ не видитъ примѣра у Французскихъ классиковъ. Другой въ честь Шлегелю требуетъ отъ Пушкина сходства съ Шекспиромъ, и упрекаетъ за все, чѣмъ поэтъ нашъ отличается отъ Англійскаго трагика, и восхищается только тѣмъ, что находитъ между обоими общаго. Каждый повидимому приноситъ свою систему, свой взглядъ на вещи, и ни одинъ, въ самомъ дѣлѣ, не имѣетъ своего взгляда, ибо каждый запялъ его у писателей иностранныхъ, иногда прямо, но чаще по наслышкѣ. И эта привычка смотрѣть на Русскую литературу сквозь чужіе очки иностранныхъ системъ до того ослѣпила нашихъ критиковъ, что они въ трагедіи Пушкина не только не замѣтили, въ чемъ состоятъ ея главные красоты и недостатки, но даже не поняли, въ чемъ состоитъ ея содержаніе.

Въ ней нѣтъ единства, говорятъ нѣкоторые изъ критиковъ, нѣтъ поэтической гармоніи, ибо главное лице: Борисъ, *застѣнено* лицомъ второстепеннымъ, Отрепьевымъ.

Нѣтъ, говорятъ другіе, главное лице не Борисъ, а Самозванецъ; жаль только, что онъ не довольно развитъ, и что не весь интересъ сосредоточивается на немъ; ибо гдѣ нѣтъ единства интереса, тамъ нѣтъ стройности.

Вы ошибаетесь говорить третій: интересъ *ни* долженъ сосредоточиваться ни на Борисѣ, ни на самозванцѣ; трагедія Пушкина есть трагедія *историческая*, слѣдовательно не страсть, не характеръ, не лице должны быть главнымъ ея предметомъ, но цѣлое время, *вѣкъ*. Пушкинъ то и сдѣлалъ: онъ представилъ въ трагедіи своей вѣрный очеркъ вѣка, сохранилъ все его краски, все особенности его цвѣта. Жаль только, что эта картина начертана поверхностно и не полно, ибо въ ней забыто многое характеристическое,

и развито многое лишнее, наприм., характеръ Марини и т. п. Если бы Пушкинъ понялъ глубже время Бориса, онъ бы представилъ его полнѣе и оощутительнѣе, то есть, другими словами, подражая болѣе Шекспиру, Пушкинъ болѣе удовлетворилъ бы требованіямъ Шлегеля. Но забудемъ на время нашихъ критиковъ и Шекспира и Шлегеля и всеъ теории трагедій, посмотримъ на Бориса Годунова глазами, не предубѣжденными системою, и не заботясь о томъ, что *должно* быть средоточіемъ трагедіи, спросимъ самихъ себя, что составляетъ главный предметъ созданія Пушкина?

Очевидно, что и Борисъ, и самозванецъ, и Россія, и Польша, и народъ, и царедворцы, и монашеская келья, и Государственный совѣтъ—всеъ лица и всеъ сцены трагедіи развиты только въ *одномъ отношеніи*: въ отношеніи къ послѣдствіямъ цареубійства. Тѣмъ умерщвленнаго Дмитрія царствуетъ въ трагедіи отъ начала до конца, управляетъ ходомъ всеѣхъ событій, служитъ связью всеѣмъ лицамъ и сценамъ, разставляетъ въ одну перспективу всеъ отдѣльныя группы, и различными краскамъ даетъ одинъ общій тонъ, одинъ кровавый отбѣнокъ. Доказывать это значило бы переписать всю трагедію.

Но если убійство Дмитрія съ его государственными послѣдствіями составляетъ главную нить и главный узелъ созданія Пушкина, если критики не смотря на то искали средоточія трагедіи въ Борисѣ или въ самозванцѣ или въ жизни народа и т. п., то очевидно, что они по *совѣсти* не могли быть довольны поэтомъ и должны были находить въ немъ и нестройность, и неполноту, и мелкость, и безрѣдность, ибо при такомъ отношеніи судей къ художнику, чѣмъ болѣе гармоніи въ твореніи послѣдняго, тѣмъ оно кажется разногласіемъ для первыхъ, какъ вѣрно рассчитанная перспектива для избравшаго ложный фокусъ.

Но если бы вмѣсто *фактически*хъ послѣдствій цареубійства, Пушкинъ развилъ намъ болѣе его *психологическое* вліяніе на Бориса, какъ Шекспиръ въ Макбетѣ: если бы вмѣсто Русскаго монаха, который въ темной кельѣ произноситъ надъ Годуновымъ приговоръ судьбы и потомства,

поэтъ представилъ намъ Шекспировскихъ вѣдѣмъ, или Мюльнерову волшебницу-цыганку, или пророческій сонъ:

Pendant l'horreur d'une profonde nuit,

тогда конечно онъ былъ бы скорѣе понять и принять съ большимъ восторгомъ. Но чтобы оцѣнить Годунова, какъ его создалъ Пушкинъ, надобно было отказаться отъ многихъ ученыхъ и школьных предразсудковъ, которые не уступаютъ никакимъ другимъ ни въ упорности, ни односторонности.

Большая часть трагедій, особенно новѣйшихъ, имѣетъ предметомъ дѣло совершающееся, или долженствующее совершиться. Трагедія Пушкина развивается послѣдствія дѣла уже совершеннаго, и преступленіе Бориса является не какъ *événement*, но какъ сила, какъ мысль, которая обнаруживается мало по малу, то въ шопотѣ царедворца, то въ тихихъ воспоминаніяхъ отшельника, то въ одинокихъ мечтахъ Григорія, то въ силѣ и успѣхахъ Самозванца, то въ волненіяхъ народа, то наконецъ въ громкомъ испроверженіи несправедливо царствовавшего дома. Это постепенное возрастаніе коренной мысли въ событіяхъ разнородныхъ, но связанныхъ между собою однимъ источникомъ, даетъ ей характеръ сильно-трагическій и, такимъ образомъ, позволяетъ ей заступитъ мѣсто господствующаго лица, или страсти, или поступка. Такое трагическое воплощеніе мысли болѣе свойственно древнимъ, чѣмъ новѣйшимъ. Однако мы могли бы найти его и въ новѣйшихъ трагедіяхъ, наприм., въ Мессинской невѣстѣ, въ Фаустѣ, въ Манфредѣ: но мы боимся сравненій: гдѣ дѣло идетъ о созданіи новаго, примѣръ легче можетъ сбить, чѣмъ навести на истинное возрѣніе.

Согласимся однако, что такого рода трагедія, гдѣ главная пружина не страсть, а мысль, по сущности своей не можетъ быть понята большинствомъ нашей публики: ибо большинство у насъ не толпа, не народъ, наслаждающійся безотчетно, а гг. читатели, почитающіе себя образованными: они, наслаждаясь, хотятъ вмѣстѣ *смыслѣть*, и боятся прекраснаго-непонятнаго, какъ злаго искушителя, заста-

вляющаго чувствовать противъ совѣсти. Если бы Пушкинъ вмѣсто Годунова написалъ Эсхиловскаго Промеоея, гдѣ также развивается воплощеніе мысли, и гдѣ еще менѣе *ощутительной* связи между сценами, то вѣроятно трагедія его имѣла бы еще меньше успѣха, и ей не только бы отказали въ правѣ называться *трагедіей*, но врядъ ли бы признали въ ней какое-нибудь достоинство, ибо она написана явно противъ всѣхъ правилъ новѣйшей драмы. Я не говорю уже объ насъ, бѣдныхъ критикахъ; наше положеніе было бы тогда еще жалче: напрасно ученическимъ помазкомъ старались бы мы расписывать красоты великаго мастера,—намъ отвѣчали бы одно Промеоей не трагедія, это стихотвореніе безпримѣрное, какого нѣтъ ни у Нѣмцевъ, ни у Англичанъ, ни у Французовъ, ни даже у Испанцевъ,—какъ же вы хотите, чтобы мы судили объ ней? на чье мнѣніе можемъ мы сослаться? ибо извѣстно, что намъ самимъ

Не должно смѣть  
Свое сужденіе имѣть.

Таково состояніе нашей литературной образованности. Я говорю это не какъ упрекъ публикѣ, но какъ *фактъ*, и болѣе какъ упрекъ поэту, который не понялъ своихъ читателей. — Конечно въ Годуновѣ Пушкинъ выше своей публики: но онъ былъ бы еще выше, если бы былъ общепонятнѣе. Своевременность столько же достоинство, сколько красота, и Промеоей Эсхила въ наше время — былъ бы анахронизмомъ, слѣдовательно ошибкою \*).

Изъ „Европейца“ 1832 г.

\* Сюда не вошли рецензии за 1832 г., помѣщенные въ слѣдующихъ периодическихъ изданияхъ: „Дамскомъ Журналѣ“, часть 37, №№ 10 и 11, стран. 157—159 и 171—175 (о „Евгении Онегинѣ“); тамъ же, часть 34, № 19, стран. 95—96 (о 3-й части стихотворенія А. Пушкина); „Литературныхъ прибавленій“ къ „Русскому Инвалиду“, № 21, стран. 163 (по поводу „Подвѣтовъ Бѣликина“); тамъ же, № 22, стран. 174—176 (о „Евгении Онегинѣ“); тамъ же, № 33, стран. 262—263 (о стихотвореніяхъ А. С. Пушкина); „Отечественный Печетъ“, № 33 (краткая театральная рецензія о „Моцартѣ и Сальери“).

## 1833 г.

\*) *Евгеній Онъгинъ*, романъ въ стихахъ. Сочиненіе Александра Пушкина. Спб. 1833 г. Въ тии. А. Смирдина. 287 стр. in 8.

До сихъ поръ *Онъгинъ* продавался цѣною, малослыханною въ лѣтніеяхъ книжной торговли: за 8 тетрадокъ надобно было платить 40 рублей! Много ли тутъ было лишняго сбора, можно судить по тому, что теперь *Онъгинъ*, съ дополненіями и примѣчаніями, продается по 12 рублей. Хвала Поэту, который сжалился надъ тощими карманами читающихъ людей! Веселіе Руси, въ которой богатые покупаютъ книги такъ мало, а небогатымъ покупать *Онъгина* было такъ неудобно!

Этимъ меркантильнымъ замѣчаніемъ могли бы и хотѣли бы мы ограничиться въ извѣстїи о *полномъ Онъгинѣ*. Но есть привязчивые люди, которые непременно требуютъ отъ Журналиста сужденія на заданную тему. „Какъ не сказать ничего о такомъ явленіи! Всѣ мы читали *Онъгина* урывками, давно, и въ восемь лѣтъ не грѣхъ позабыть, что говорили о немъ прежде Журналы“. Признаться, потери немного, если и забудутъ читатели всѣ сужденія объ *Онъгинѣ*. Онъ остался задачею нерѣшенною, и остался ею донинѣ. О немъ хотѣли разсуждать какъ о произведеніи полномъ, а Поэтъ и не думалъ о полнотѣ. Онъ хотѣлъ только имѣть рамку, въ которую можно было бы вставлять ему свои сужденія, свои картины, свои сердечныя эпиграммы и дружескіе мадригалы. Онъ достигъ своей цѣли. *Онъгинъ* вѣрно служилъ ему, и Поэтъ свободно награ-

Въ 1832 году появились въ печати слѣдующія литературныя произведенія, относящіяся вообще къ Пушкину: „*А. С. Пушкину (1829 г.). Посланы Павла Катенина, Сочиненія и переводы въ стихахъ П. Катенина*. Спб. 1832. Ч. 1, стр. 98—100. (Отвѣтъ Пушкина на это посланіе помещенъ въ альманахѣ „Сѣверное Цвѣтъ“). „*А. С. Пушкину при прочтеніи скажи его о царѣ Салтанѣ*“. П. Гнѣдича, Стихотворенія Н. Гнѣдича. Спб. 1832 г., стр. 187. *Примѣч. В. Зелинскаго.*

† „Московскій Телеграфъ“ 1833 г., ч. 50. А 6 (мартъ). „Русская Литература“ (Новыя книги).



ждать его богатствами своего ума и своихъ чувствованій. Какая неизмѣримая коллекція портретовъ, картинъ, рисунковъ и очерковъ, начиная отъ дяди старика, до Княгини Татьяны, отъ жизни Петербургскаго повѣсы, до деревенскаго быта Таринныхъ отъ пламенныхъ обращеній Поэта къ самому себѣ, до мимолетныхъ эниграммъ на друзей и дамъ, на жителей большаго свѣта и степенныхъ помѣщиковъ, на сельскихъ домоводовъ и Журналистовъ! Сколько наблюденій и замѣтокъ прелестныхъ, сколько ума и остроты, сколько души и чувства во всѣхъ страницахъ *Онигина*! Но въ подробностяхъ все достоинство этого прихотливаго созданія. Спрашиваемъ: какая общая мысль остается въ душѣ послѣ *Онигина*? Никакой. Кто не скажетъ, что *Онигинъ* изобилуетъ красотами разнообразными: но все это въ отрывкахъ, въ отдѣльныхъ стихахъ, въ эпизодахъ къ чему-то, чего нѣтъ и не будетъ. Слѣдственно, при создани *Онигина* Поэтъ не имѣлъ ни какой мысли: начавши писать, онъ не зналъ чѣмъ кончить, и оканчивая могъ писать еще столько же главъ, не вреда общности сочиненія, потому что ея нѣтъ. Любовь Татьяны къ Онѣгину и Онѣгина къ Татьянѣ, конечно, основа слишкомъ слабая, даже для чувствительнаго романа. Но .. при встрѣчѣ съ Онѣгинимъ, не хочется говорить худо о немъ. Мы такъ много провели съ нимъ минутъ усладительныхъ!

Въ шифшнемъ изданіи, въ концѣ книги Поэтъ прибавилъ нѣсколько новыхъ примѣчаній и разбросанныхъ по Журналамъ отрывковъ изъ *Онигина*, не вошедшихъ въ составъ цѣлаго. Хотя Авторъ и увѣряетъ, что они принадлежатъ къ напечатанной главѣ, но безъ всякаго волшебства можно угадать, что это просто отрывки. Въ заключеніе нашей статьи, выпишемъ одинъ изъ нихъ. Онѣгинъ посѣщаетъ Тавриду.

Воображенью край священный:  
Съ Атридомъ спорить тамъ Пизадъ,  
Тамъ закололся Митридатъ,  
Тамъ пѣлъ Мицкевичъ вдохновенный.  
И, посреди прибрежныхъ скалъ,  
Свою Литву воспоминалъ.

Прекрасны вы, брега Тавриды,  
Когда васъ видишь съ корабля,  
При свѣтѣ утренней Киприды,  
Какъ васъ впервой увидѣлъ я.  
Вы мнѣ предстали въ блескѣ брачномъ:  
На небѣ синемъ и прозрачномъ  
Сіяли груди вашихъ горъ,  
Долинъ, деревьевъ, сель узоръ  
Разостланъ былъ передо мною.  
А тамъ, межъ хижинокъ татаръ  
Какой во мнѣ проснулся жаръ!  
Какой волшебною тоскою  
Стѣснилась пламенная грудь!  
Но, Муза! Прошлое забудь.

---

Какія-бъ чувства ни таились  
Тогда во мнѣ—теперь ихъ нѣтъ:  
Они прошли, иль измѣнились...  
Миръ вамъ, тревоги прошлыхъ лѣтъ!  
Въ ту пору мнѣ казались нужны  
Пустыни, волнъ края жемчужны,  
И моря шумъ, и груди скалъ,  
И гордой дѣвы идеаль,  
И безымянныя страданья...  
Другіе дни, другіе сны:  
Смирились вы, моей весны  
Высокопарныя мечтанья,  
И въ поэтическій бокаль  
Воды я много подмѣшалъ.

---

Иныя нужны мнѣ картины:  
Люблю песчаный косогоръ,  
Передъ избушкой двѣ рябины,  
Калитку, сломанный заборъ,  
На небѣ сѣренькія тучи,  
Передъ гумномъ соломы кучи,  
Да прудъ подъ сѣнью ивъ густыхъ,  
Раздолье угокъ молодыхъ:  
Теперь мила мнѣ балалайка,  
Да пьяный топотъ трепака  
Передъ порогомъ кабака.  
Мой идеаль теперь—хозяйка,  
Мои желанія—покой,  
Да шей горшокъ, да самъ большой.

---

Порой дождливою намедни  
 Я, завернувъ на скотный дворъ...,  
 Тьфу! прозаическія бредни.  
 Фламандской школы пестрый соръ!  
 Таковъ ли былъ я расцвѣтая?  
 Скажи, фонтанъ Бахчисарая!  
 Такія-ль мысли мнѣ на умъ  
 Навелъ твой безконечный шумъ.  
 Когда безмолвно предъ тобою  
 Зарему я воображалъ?...

*Изъ „Моск. Телеграфа“ 1833 г.*

\*  
\*

*\*) О характеръ и достоинствъ Поэзии А. С. Пушкина*

„И остави намъ долги наша, яко же  
и мы оставляемъ должникомъ нашимъ“.

Можно ли быть безпристрастнымъ въ сужденіяхъ о современныхъ Писателяхъ?—этотъ вопросъ разрѣшается другимъ: можно ли быть совѣстнымъ? Но въ свѣтъ на все свои предразсудки. Есть весьма много порядочныхъ людей, честныхъ во всѣхъ отношеніяхъ, которые однакожъ не почитаютъ безчестнымъ поступкомъ: обмануть пріятеля при продажѣ лошади, украсть охотничью собаку и завладѣть чужою книгою. Точно также и въ Литературѣ: человекъ, добросовѣстный во всѣхъ случаяхъ жизни, не почитаетъ грѣхомъ позабавиться насчетъ Автора, выставить его въ смѣшномъ видѣ, и даже, въ порывѣ гнѣва, лишить всякаго достоинства, хотя этотъ критикъ и убѣжденъ внутренно, что осмѣиваемый или бранимый имъ Авторъ достоинъ похвалы и уваженія. Оскорбленная личность и духъ партій извиняютъ такіе противосовѣстные поступки въ Литературѣ, точно такъ же, какъ и обманъ и воровство прикрывается именемъ *удальства* между псовыми и лошадиными охотниками. Но моему, и то и другое дурно, негодно.

\*) „Сынъ Отечества“ и „Сѣверная Архивъ“ 1833 г., т. 33, № 6. Стихъ О. Б. Булгарина, подъ заглавіемъ „Письма о Русской Литературѣ“.

недостойно ни Литератора, ни благовоспитаннаго, деликатнаго человѣка.— Не хочу болѣе объясняться объ этомъ предметѣ, и приступлю къ дѣлу, съ твердою волею говорить то, что думаю и въ чемъ убѣжденъ душевно.

Пушкинъ составляетъ эпоху въ Исторіи нашей Литературы.— Съ Державинимъ кончилась у насъ Поэзія классическая и лирическая; Жуковскій создалъ новую гармонию поэтическаго языка и показалъ намъ образцы Германскаго Романтизма: гений Батюшкова, такъ сказать, расправилъ крылья, чтобы взлетѣть выше своего вѣка, вспорхнулъ, и остался между доломъ и высью.

Вокругъ Жуковского и Батюшкова загудѣли и зашѣли на новый ладъ новые и старые Поэты, которые, не двигаясь съ мѣста, думали, что идутъ впередъ новымъ путемъ.— Образованная публика, знакомая съ чужеземными произведеніями, требовала новаго рода въ Поэзіи и въ Литературѣ вообще; остальная часть Русскихъ читателей предчувствовала, что должно быть что-нибудь новое. Всѣ ждали. Явился Пушкинъ. Едва перешагнувъ за рубежъ дѣтскаго возраста, онъ исполинскими шагами опередилъ всѣхъ своихъ предшественниковъ и занялъ первое мѣсто непосредственно послѣ Державина и Крылова, двухъ Поэтовъ, съ которыми Пушкинъ не входилъ въ состязаніе. Публика, оставивъ прежнихъ своихъ идоловъ, бросилась къ Пушкину, который заговорилъ съ нею новымъ языкомъ и представилъ ей Поэзію въ новыхъ формахъ, возбудилъ новыя ощущенія и новыя мысли.

Этого переворота, этого впечатлѣнія нельзя было произвести, не имѣя истиннаго генія; а потому дарованіе Пушкина столь же велико, какъ и заслуга. Но сіе дарованіе и сія заслуга болѣе велики *относительно*, нежели *положительно*, т.-е. то, что Пушкинъ сдѣлалъ въ Россіи и для Россіи, не можетъ сравниться съ тѣмъ, что сдѣлали гени-преобразователи въ Англіи, Германіи и Франціи. Удерживаясь отъ всякихъ сравненій, я постараюсь разобрать отдѣльно и въ общности характеръ Поэзіи Пушкина.

Сію поэзію должно разсматривать: 1) въ отношеніи оригинальности или подлинности; 2) въ мелкихъ или отдѣль-

нихъ стихотвореніяхъ; 3) въ Поэмахъ, и 4) въ Драмѣ.—Талантъ Пушкина не одинаковъ въ мелкихъ стихотвореніяхъ, Поэмахъ и въ Драмѣ, и даже характеръ его Поэзіи столь различенъ въ сихъ трехъ родахъ, что кажется, будто въ каждомъ изъ нихъ дѣйствуетъ, мыслить и чувствуетъ другой человѣкъ, вдохновленный другимъ гениемъ. Въ мелкихъ стихотвореніяхъ Поэтъ паритъ непрерывно въ высотахъ, обозначенныхъ Байрономъ. Въ Поэмахъ Пушкинъ, возносясь порывами въ небеса, спускается частенько на землю и идетъ, иногда блуждая по стезямъ чуждымъ, иногда останавливаясь, чтобъ собраться съ духомъ. Въ Драмѣ Поэтъ еще не опредѣлилъ себѣ мѣста и носится между небомъ и землею, чаще однакожъ придерживаясь земли, нежели увлекаясь въ высь.—Но во всѣхъ сихъ родахъ Пушкинъ стоитъ выше всѣхъ Поэтовъ въ Россіи, и если мы укажемъ нѣсколько мелкихъ шедевровъ другихъ Поэтовъ одинаковаго достоинства съ произведеніями Пушкина, или даже выше ихъ достоинствомъ, то все это еще не отниметъ первенства у Пушкина. Что ни говори, какъ ни раздробляйся въ сужденіяхъ и эстетическихъ тонкостяхъ, а все-таки Пушкинъ со всѣми своими красотами и недостатками (скажу даже, съ важными недостатками), останется первымъ русскимъ Поэтомъ.—Быть первымъ современнымъ Поэтомъ есть то же, что быть первымъ между всѣми Русскими Поэтами, отъ временъ Пѣсни о полку Игоревомъ до 1-го января 1833 года, ибо, что нѣли наши Баяны, того мы не знаемъ, а что выкладывали на рифмы наши дѣды и сверстники нашихъ отцевъ, того никакъ нельзя назвать Поэзіею въ философическомъ смыслѣ сего слова. Исключая разъ навсегда Державина \*) и Крылова. Они въ своемъ родѣ первые, неподражаемы и неприкосновенны.

1) *Взглядъ на Поэзію Пушкина въ отношеніи къ оригинальности.*

Оригиналенъ ли Пушкинъ?—Послушайте нашихъ Сло-

---

\*) О Державинѣ гдѣ рѣчь только какъ о Тирокѣ, а о Крыловѣ, какъ о Баснописцѣ, Соч.



весниковъ, нашихъ умниковъ, нашихъ ученыхъ критиковъ, они вамъ скажутъ, что Пушкинъ — *подрожатель Байрона*. — Почему? Потому, что Пушкинъ пишетъ въ такомъ же неопредѣленномъ родѣ, какъ Байронъ, что Пушкинъ такъ же, какъ и Байронъ не досказываетъ, не обрисовываетъ вполнѣ, не кончаетъ, избираетъ въ герои своихъ Поэмъ не князей и рыцарей, но людей простаго званія, и изображаетъ случаи, обыкновенные въ частной жизни, или такіе, о которыхъ прежде не смѣли даже рассказывать въ гостиницахъ. Вотъ, на чемъ основаны улики въ подражаніи! — А по моему мнѣнію, Пушкинъ есть только *стилистъ* вѣка и Поэзіи Байроновской, но самъ онъ оригиналенъ, а не подражатель. Скажу болѣе (однакожь не въ укоръ Поэту), Пушкинъ не читалъ даже въ подлинникъ произведеній Байрона, и знаетъ ихъ только по Французскимъ переводамъ прозою. Пушкинъ даже не могъ постигнуть всѣхъ красотъ Нѣмецкой Поэзіи, ибо онъ не столь силенъ въ Нѣмецкомъ языкѣ, чтобъ понимать красоты поэтическаго языка \*). Пушкинъ слышалъ вдали невнятные звуки Поэзіи Байрона, Гете и Шиллера, и чувствуя, что душа его полна гармоніи, полна чувства и образовъ, издумалъ испробовать силы свои, ударилъ въ струну — и раздалась Поэзія — Поэзія его собственная, не Байроновская, не Гетевская, не Шиллеровская, но Поэзія своего вѣка и въ духѣ времени. Эзонъ и Пильпай писали Басни въ глубокой древности, ибо первородная Литература есть ни что иное, какъ басня и апологъ. Но ни Лафонтенъ, ни Крыловъ не суть подражатели; они не создали рода, но суть оригинальные Баснописцы, ибо въ Басняхъ ихъ изображены нравы, странности, и порывы ихъ современниковъ, и описаны въ духѣ народномъ. Точно такъ же и Пушкинъ, хотя въ родѣ своей Поэзіи и склоняется болѣе къ роду Байроновскому, но въ немъ кипитъ

\*) Моветъ, быть, А. С. Пушкинъ неслы и понимаетъ совершенно Байрона и Гете въ подлинникъ, но когда онъ началъ писать, онъ не зналъ столъ ко ни Англійскаго, ни Нѣмецкаго языка, чтобъ понимать высшую Поэзію. Это всѣмъ извѣстно. *Соч.*

Русскій умъ, Русское чувство, вездѣ видна наша Русская современность, а въ языкѣ духъ богатаго, неисчерпаемаго Русскаго слова со всею его гибкостью и красою. Россіи есть *слабости* музыки Моцарта; тактика Наполеона есть *слабости* тактики Фридриха Великаго; Гете и Шиллеръ есть *слабости* Поэзии Оссіана и Шекспира; Байронъ есть *слабости* Поэзии Оссіана, Шекспира, Гете и Шиллера, перелитой въ форму *новаго вѣка*. Пушкинъ (повторяю) есть *слабости* Байрона. — Но ни Россіи не есть подражатель Моцарта, ни Наполеонъ Фридриха, ни Гете и Шиллеръ подражатели Шекспира и Оссіана, ни Байронъ подражатель четырехъ послѣднихъ, ни Пушкинъ подражатель Байрона. Они всѣ оригинальны, ибо каждый изъ нихъ дѣйствовалъ своимъ умомъ, своимъ чувствомъ, сообразно потребностямъ своего вѣка, современно и для современниковъ. Больше не хочу распространяться въ доказательствахъ. Кто въ состояніи понять меня, тотъ уже понять, а для тупоумныхъ я не возьму и пера въ руки!

Но оригинальность Пушкина не столь ощутительна, какъ вышеупомянутыхъ мною Поэтовъ, потому именно, что Пушкинъ ниже ихъ достоинствомъ своихъ произведеній, а оригинальность Байрона, Гете, Шиллера отъ того столь блистательна, столь разительна, и преимущество ихъ предъ прочими современными Поэтами отъ того столь явственно, что умъ сихъ великихъ Поэтовъ упитанъ былъ Науками, а душа ихъ созрѣла въ созерцаніи Природы и челоуѣчества. Вообще всѣ великіе Поэты были выше своихъ современниковъ образованностью и познаніями, и даже Шекспиръ, котораго многіе критики упрекаютъ въ невѣжествѣ, заключая о семъ по анахронизмамъ, встрѣчающимся въ его сочиненіяхъ, даже Шекспиръ постигалъ духъ Исторіи своего отечества лучше, нежели сухіе его Критики, и, конечно, не уступалъ въ его познаніяхъ образованнѣйшимъ мужамъ своего времени. Оссіанъ, если онъ существовалъ, безъ сомнѣнія былъ выше своихъ дикихъ соотечественниковъ своими познаніями, столько же, какъ и силою поэтическаго дара. Непремѣнная аксіома, что поэтический даръ не можетъ вполнѣ

развиться, возмужать, укрѣпиться въ самостоятельности, быть подвластнымъ уму до возраста старости (какъ у Гете), и вознестись до высшей степени совершенства, если существо, надѣленное отъ Природы піитическимъ даромъ, отдѣлясь отъ міра Наукъ, ввергнется въ пучину свѣтской жизни, и только въ поры отдохновенія отъ забавъ будетъ ждать сошествія вдохновенія. Правда, что геній ищетъ пищи въ одной Природѣ: но ученіе и созерцаніе есть не отдаленіе отъ Природы, а напротивъ того ближайшее къ ней руководство, вѣрнѣйшій путь.—Вдохновеніе является въ уединеніи и ниспосылается Природою. Это руда. Геній, при помощи Искусства, переплавливаетъ сію богатую руду въ горниль *познаній*, и тогда то мысль и чувство, сливаясь въ форму оригинальности, образуютъ стройное созданіе, которое переживая вѣки, сообщаетъ безсмертіе своему творцу и даетъ характеръ своему вѣку.

И такъ, хотя Пушкинъ оригиналенъ, но оригинальность его не принесетъ такихъ плодовъ, какіе принесла оригинальность Байрона. Есть и будетъ множество подражателей Пушкина (несносное племя!), но не будетъ *слабости* Пушкина, какъ онъ самъ есть *слабости* Байрона. Пушкинъ илѣнилъ, восхитилъ своихъ современниковъ и научилъ ихъ писать гладкіе, чистые стихи, далъ имъ почувствовать сладость нашего языка, но не увлекъ за собою своего вѣка, не установилъ законовъ вкуса, не образовалъ своей школы, какъ Байронъ и Гете. Пушкинъ былъ самъ согрѣтъ тѣмъ небеснымъ пламенемъ, которое должно оживить нашу Литературу: но мы еще ждемъ своего Прометея, долженствующаго возжечь свѣтильникъ небеснаго огня для одушевленія цѣлаго поколѣнія. Почему оригинальность Пушкина не будетъ имѣть тѣхъ послѣдствій, какія произвела оригинальность Байрона, Гете и Шиллера, объяснено тѣмъ, что сказано мною о сихъ трехъ Поэтахъ въ отношеніи къ ихъ познаніямъ и къ ихъ созерцательной жизни. Дальнѣйшія объясненія почитаю излишними.

Разсмотрѣвъ характеръ Поэзіи Пушкина со стороны оригинальности, которой вообще такъ мало въ Русской

Литературѣ, и отдавая полную справедливость его дарованію и заслугамъ, не думаю, чтобы тѣ даже, которые будутъ не согласны со мною, нашли въ моемъ мнѣніи малѣйшее желаніе унижить нашего Поэта. Сохрани меня Богъ отъ этого! Размышляя о Поэзии Пушкина въ тишинѣ моего кабинета, я воображалъ, что цѣлые вѣки раздѣляютъ насъ, и, смотря на Поэта, вовсе не видѣть моего современника. Въ слѣдующихъ письмахъ разсмотрю *три рода* его Поэзии; но предувѣдомляю, что не стану разбирать ни отдѣльныхъ стиховъ, ни отдѣльныхъ сочиненій, а только буду смотрѣть на общій ихъ характеръ. Не хочу даже имѣть теперь передъ глазами его сочиненій, чтобы не увлекаться ни красотами, ни недостатками, а ишу изъ памяти и по чувству, припоминая тѣ впечатлѣнія, которыя произвели во мнѣ неоднократно прочитанія его творенія, и основываясь на томъ, что вѣзало въ моемъ сердцѣ и въ умѣ. Со временемъ разберу и отдѣльно лучшія его произведенія, но это будетъ трудъ другаго рода и другаго вида. Вообразите себѣ странника, который, возвратясь изъ путешествія, рассказываетъ о томъ, что онъ видѣлъ замѣчательнаго, и гдѣ болѣе ощущалъ впечатлѣній. Въ портфель у странника хранятся его записки и рисунки, но онъ рассказываетъ наизусть, и припоминаетъ только то, что сильнѣе поразило его. Слушая его, вы можете опредѣлить характеръ его путешествія. Въ такомъ точно положеніи нахожусь теперь я, бесѣдуя о характерѣ Поэзии Пушкина.

## 2. О мелкихъ стихотвореніяхъ Пушкина.

Человѣкъ слабъ на добро, но твердъ на зло. Добродѣтель дѣйствуетъ на душу его, какъ вѣтерокъ, а злоба, какъ буря, которая наконецъ уноситъ душу въ бездну злодѣйствъ. Есть люди добрые, но они страждутъ подъ игомъ чуждой злобы и угнетенія, и они до тѣхъ поръ не будутъ счастливы на землѣ, пока страсти и сила не покорятся разуму, и пока чувство челоуѣчества не преодолѣетъ эгоизма. (Долго ждать!).

Богъ основная идея Поэзии нашего вѣка. Теперь не мѣсто разсуждать, справедлива ли сія мысль или нѣтъ.



Сія идея представляется въ нынѣшней Литературѣ въ тысячѣ разнообразныхъ видовъ, но не измѣняется въ существѣ своемъ. — Главная ея черта есть выраженіе презрѣнія къ человечеству, вмѣстѣ съ состраданіемъ къ его жалкой участи. На первомъ планѣ картины помѣщаются сильный, торжествующій порокъ и безпомощная, страждущая добродѣтель. Впечатлѣніе, производимое сею Поэзією, есть ужасъ и жалость; слѣдствіе сей Поэзіи есть уныніе и грусть.

Байрона почитаютъ основателемъ сей новой школы, изобрѣтателемъ сего новаго рода Поэзіи. — Мнѣніе сіе основано на томъ, что Байронъ превзошелъ всѣхъ современныхъ Поэтовъ и сталъ на высшей степени совершенства. По моему мнѣнію, Байронъ есть только краснорѣчивый выразитель идей и чувствованій нашего вѣка, создавшаго сію Поэзію необыкновенными событіями. Мгновенное неиспроверженіе царствъ, троновъ, имуществъ, законовъ, обычаевъ, правовъ; безпрерывные ужасы войны, казни, убійства въ теченіе послѣднихъ тридцати лѣтъ предъ появленіемъ Байрона, торжество дерзости, злобы, порока, бѣдствія народныя и частныя—произвели тѣ ощущенія и тѣ идеи, которыя, сосредоточась въ душѣ Байрона, отразились изъ нея въ поэтическихъ образахъ и гармоническихъ звукахъ. Надобно было небеснаго устройства ума и почти сверхъестественной силы души, чтобъ уловить, удержать и столь естественно передать глубокія идеи и ужасныя чувства чуднаго нашего вѣка. Байронъ есть нравственный феноменъ, настоящее чудо. Нанолеонъ Поэзіи!

Идея и чувство той же самой Поэзіи потрясли душу Пушкина, но они раздались въ ней не сильно, а потому и отразились невнятно, неявственно. Но какъ эти звуки были первые на Русскомъ языкѣ, котораго красота, сила и гибкость до сихъ поръ употреблялась почти исключительно на одніѣ блестящія, то слухъ цѣлой Россіи обратился къ Поэту своего вѣка. Начало прельстило, удивило всѣхъ и породило высокія надежды. Не въ гнѣвъ будь сказано Поэту онъ не исполнилъ всѣхъ нашихъ надеждъ, и я



укоряю его потому только, что, по моему убѣжденію, онъ *добровольно* отогналъ отъ себя современное вдохновеніе, и ища новыхъ путей, сбился съ пути, указаннаго ему Природой, пути, на которомъ тщетно и печально ждалъ его покинутый имъ гений!

Сей гений, сіе современное вдохновеніе, сіе чувство и сія идея нашего вѣка, болѣе всего пробивается у Пушкина въ мелкихъ его стихотвореніяхъ, въ тѣхъ пьесахъ, которыя родились въ то время, когда, такъ сказать, гений исторгалъ душу Поэта изъ свѣтскихъ отношеній и уносилъ въ горнія. — Въ нѣкоторыхъ изъ сихъ пьесъ Пушкинъ достигаетъ до высокой точки поэтическаго величія. Таково, напримѣръ, стихотвореніе его *Демонъ*, подъ которымъ Байронъ могъ бы, безъ обиды своего таланта, подписать свое имя. Сія пьеса, имѣющая не болѣе 24-хъ стиховъ, есть цѣлая Поэма. Содержание ея: борьба поэтической души съ эгоизмомъ. Поэмѣ сію можно было бы растянуть такъ широко, какъ *Иліаду*, и все-таки нельзя было сказать ничего сильнѣе того, что сказано въ маленькой пьесѣ изъ 24-хъ стиховъ. Изъ печатныхъ мелкихъ пьесъ Пушкина я ставлю *Демона* выше всѣхъ. Никто не сдѣлалъ столько вреда таланту Пушкина, какъ хвалители его, отъ того именно, что они не постигли ни глубины лучшихъ его произведеній, ни направленія его таланта. Литературные противники Пушкина, жалкіе поборники мнимаго Классицизма, школяры, невѣжды, эти отставшіе отъ стада журавли, и даже личные враги Пушкина не могли повредить ему въ общемъ мнѣніи. Говорить, что Пушкинъ дурной Поэтъ, есть то же, что написать себѣ на лбу адскимъ камнемъ (*lapis infernalis*): я дуракъ. Такъ и сдѣлали мнимые Классики! Сказать, что такая-то пьеса или Поэма Пушкина дурна, не значитъ уронить его дарованіе, ибо и гении производятъ дурныя вещи, когда идутъ не своимъ природнымъ путемъ и берутся не за свое. Байронъ былъ, говорятъ, плохимъ парламентскимъ ораторомъ и не могъ написать новѣсти прозою. Слѣдовательно, писавшіе *противъ* Пушкина не повредили ему, а напротивъ того, могли принести пользу.

Хвалители же его, которымъ онъ вѣрилъ (потому, что весьма пріятно вѣрить похвалѣ и дружбѣ), полагая все достоинство Поэзіи въ гармоніи языка и въ живости картинъ, отвлекли Пушкина отъ Поэзіи идей и чувствований и употребили все свои усилія, чтобы сдѣлать изъ него только *Дрннста*, Музыканта и Живописца. Наши Эстетики и Поэты (разумѣется, не все) никакъ не поняли, что гармонія языка и Живопись суть второстепенныя средства новой Поэзіи идей и чувствований, и что въ наше время Писатель безъ мыслей, безъ великихъ философическихъ и нравственныхъ истинъ, безъ сильныхъ ощущеній — есть просто гударь, хотя бы его рифмы были сладостіе Россиніевой музыки, а образы свѣтлѣ Грезовой головки. — Разумѣется, что нашимъ Критикамъ и хвалителямъ Пушкина болѣе нравятся: *Бысы*, *Русалка*, *Пѣснь о вѣнцѣхъ Олега* и т. п., нежели *Демонъ*, нежели *Андрей Шенье*, нежели *Вакхическая Пѣсня*\*, *Война*, *Элегія: Погасло свѣтило* и проч., *Желаніи Славы*, *Къ Овощю*, *Умнѣнію*, *Къ морю*, *Наша коня*, *Птичка*, *Послание къ Лициною*, *Къ Козлову*, *Къ Прелестницѣ*, *Къ Ч—ву* (начинающееся: Въ странѣ, гдѣ я забылъ, и проч.), *Воспоминаніе* (первый стихъ: Когда для смертнаго умолкнетъ шумный день), *Горюхъ пышный*, и еще нѣсколько рукописныхъ и печатныхъ стихотвореній, которыхъ теперь не припомню.

Трудно или, лучше сказать, почти невозможно избѣжать впечатлѣній окружающаго насъ, особенно, когда окружающія насъ лица и предметы милы сердцу или пріятны вкусу. — Сильная душа и высокій разумъ Байрона расторгли все узды, но почти все другіе Поэты жертвовали слабости нашей природы и увлекались впечатлѣніями прошлаго и окружающаго. Пушкинъ, видя непрерывно вокругъ себя Тиргеевъ въ бумажныхъ лагахъ, бряцающихъ на дирѣ съ деревянными струнами, украшенныхъ тафтяными лаврами изъ цвѣточнаго магазина, слыша напѣвы (*объ словахъ*) наряженныхъ въ театральные костюмы

\* Пѣсня сія состоитъ изъ двухъ куплетовъ перифри обобщеніи, второй заключаетъ въ себѣ нѣсколько чуждаго и глубокаго разума. Слѣ-

Бардовъ, Пушкинъ не могъ выдержать искушенія, пѣлъ на тотъ же ладъ, хотя и лучше прочихъ, и первенство свое принять за усеи́хъ. Дружина Поэта заглушила похвалами своими вопль истины, пробивавшійся изъ благонамѣренныхъ Критикъ, и Поэтъ смѣшалъ друзей своего таланта съ своими недругами. Отъ стеченія сихъ неблагоприятныхъ обстоятельствъ произошелъ вредъ не таланту Поэта, но истиннымъ цѣнителямъ сего таланта, лишившимся лучшаго, хорошаго! Множество произведеній обыкновенныхъ ослабило вниманіе публики къ Поэту, а нѣкоторые изъ недалёковидныхъ Критиковъ и недоброжелатели Пушкина уже провозгласили совершенный упадокъ его дарованія. — Правда, что надобна была сильная вѣра въ сие дарованіе, чтобы не усомниться въ его упадкѣ послѣ такой пьесы, какова, напримѣръ: *Посланіе къ Князю Юсупову!*—Но я пребылъ вѣренъ моему мнѣнію, что дарованіе Пушкина только сбилось съ пути, начертаннаго ему Природою, а не погибло, и Альманахъ *Сѣверныя Цвѣты* на 1832 годъ, обрадовалъ меня чрезвычайно, убѣдивъ, что я не ошибся въ моей вѣрѣ — *Моцартъ и Сальери, Эло, Анчаръ, Древо Иовъ*, суть произведенія дарованія юнаго, сильнаго разумомъ и душою, суть отголоски Поэзии современной, высокой, трогательной, томной, грустной, но крѣпительной и неувядаемой. Звуки сіи не гибнутъ въ воздухѣ, слова не тлѣютъ вмѣстѣ съ бумагою. Такая Поэзия начертываетъ свои звуки въ сердцахъ человѣческомъ, которое тверже сохраняетъ все высокое и сильное, нежели гранить и мѣдь.

И такъ, утѣшьтеся, любители Поэзии высокой, благородной, утѣшьтеся, истинные друзья таланта Пушкина! Сει талантъ не упалъ: онъ еще полонъ силы и жизни, но онъ, подобно соловью, теперь не въ порѣ и не на мѣстѣ пѣнія.

Остается рѣшить вопросъ: почему характеръ Поэзии современной выразился съ бѣльшею силою въ мелкихъ стихотвореніяхъ Пушкина, нежели въ другихъ его произведеніяхъ, стоявшихъ ему, можетъ быть, болѣе труда и болѣе обдуманности? Отвѣчаю рѣшительно: отъ того, что лучшія

мелкія стихотворенія Пушкина суть не плоды чуждыхъ совѣтовъ, не слѣдствія бесѣтъ и совѣщаній, но, такъ сказать, невольныя вспышки его природнаго генія, молнія отъ столкновенія идей и чувствованій, самородный плодъ почвы. — И потому-то мелкія стихотворенія Пушкина — суть тѣ таинственныя буквы, которыми начертанъ *характеръ его Поэзіи*, суть тѣ числа на мѣрѣ, которыми опредѣляется *величіе его дарованія*. — Миѣ кажется, что я разгадалъ и буквы и числа, и потому полагаю, что характеръ Поэзіи Пушкина есть *современность* (опредѣленная мною выше), а мѣсто его между нашими современными Поэтами — *первое*, и не последнее въ небольшомъ кругу Поэтовъ всемірныхъ. Скажу болѣе: я вѣрю, что отъ его собственной воли зависить удержаться, возвыситься или пасть. Геній его просится на просторъ... подъ небеса!...

„Миѣ душно здѣсь, я въ лѣсъ хочу!“

Θ. Б. (Θ. Бугаринъ).

\* \* \*

\*) Читая продолженіе письма о Русской Литературѣ („Сынъ Отечества“ и „Сѣверный Архивъ“ на 1833 годъ, № 6, стр. 1) *невольно хочется* продолжать и выписки изъ него: такъ оно искусительно!

„Есть и будетъ множество подражателей Пушкина (несносное племя!), но не будетъ *смыслѣ* Пушкина, какъ онъ самъ есть *смыслѣ* Байрона“ (стр. 416). Ежели въ *философическомъ смыслѣ* и есть смыслъ въ словѣ: *смыслѣ*, здѣсь употребленномъ, то къ чему же отчаяніе: „Не будетъ *смыслѣ* Пушкина?“ Еще труднѣе было ожидать *смыслѣ* Байрона. Но родился Пушкинъ — и *явилось* *смыслѣ*, которое (между нами) — ежели рѣчь идетъ не о *потомкахъ* какого-либо человѣка — едва ли не то же, что *подражаніе*? Пбо мы подражаемъ тому или другому по

\*) „Дамскій Журналь“ 1833 г., №№ 13, 14, 16, 18, 20 и 21. Разборъ „Писемъ о Русской Литературѣ“, помѣщенныхъ въ „Сынъ Отечества“.

чувству, влекущему насъ болѣе къ тому, нежели къ другому: не есть ли это *слабость* одинаковаго расположенія души и сердца? *Успѣхъ* — другое дѣло. „Пушкинъ былъ самъ согрѣтъ тѣмъ небеснымъ пламенемъ, которое должно оживить нашу Литературу; но мы еще ждемъ своего Прометея, долженствующаго восжечь свѣтильникъ небеснаго огня для одушевленія цѣлаго поколѣнія“ (стр. 317). Слѣдовательно — не дождемся; ибо ежели ни Пушкинъ, *самъ согрѣтый* небеснымъ пламенемъ (казалось бы, чего-жъ болѣе?), ни Державинъ, ни Крыловъ, въ своемъ родѣ *первыя, неподражаемыя и неприкосновенныя*, не суть еще *Прометей*: то какая же надежда?... „Не думаю, чтобъ тѣ даже, которые будутъ не согласны со мною, нашли въ моемъ мнѣніи малѣйшее желаніе унижить нашего Поэта“ (тамъ же). Кому-жъ это придетъ въ голову, когда мы уже видѣли *мнѣніе* ваше, что „Пушкинъ... останется первымъ современнымъ Поэтомъ, а быть первымъ“ (продолжаете вы) „современнымъ Поэтомъ есть то же, что быть первымъ между всѣми Русскими Поэтами, отъ времени Пѣсни о полку Игоревомъ, до 1-го января 1833 года?“

Но вотъ что странно: на другой страницѣ послѣ сей *аксіомы* вы говорите: „Размышляя о Поэзии Пушкина въ тишинѣ моего кабинета, я воображалъ, что цѣлые вѣки раздѣляютъ насъ, и, смотря на Поэта, вовсе не видѣлъ“ (вм. не видалъ) „моего современника. Въ слѣдующихъ шесѣтихъ разсмотрю *три рода* его Поэзіи“. И мы разсмотримъ ваше разсмотрѣніе: а между тѣмъ спрашиваемъ: гдѣ же вы были тогда, когда находили Пушкина первымъ Русскимъ *современнымъ* поэтомъ? и отъ чего же эта современность исчезла въ *тишинѣ кабинета*? Что за волшебный кабинетъ?

„Не въ гнѣвъ будь сказано Поэту“ (Пушкину), „онъ не исполнилъ всѣхъ нашихъ надеждъ, и я укоряю его потому только, что, по моему убѣжденію, онъ *ообродовольно* отогналъ отъ себя современное вдохновеніе, и ища новыхъ путей, сбился съ пути, указаннаго ему природой, пути, на которомъ тѣтено и печально ждалъ его покинутый имъ гений!“ (С. О. и С. Д. М. 6, *страница* 321). И такъ Пушкинъ



не *добровольно*, а по вашему, какъ сами говорите, *убѣжденію* отогнать отъ себя *современное* вдохновеніе и вслѣдствіе того сбился съ пути, на которомъ *тихо* ждалъ его покинутый имъ гений. На что-жь вы это дѣлали? и какимъ же образомъ, послѣ всего этого, онъ сталъ „первымъ *современнымъ* Поэтомъ, отъ времени Пѣсни о полку Игоревомъ до 1-го января 1833 года?“ Загадка!

„Никто не сдѣлалъ столько вреда таланту Пушкина, какъ хвалители его, отъ того именно, что они не постигли ни глубины лучшихъ его произведеній, ни направленія его таланта“ (*Тамъ же*). Но мы сейчасъ привели ваши слова, которыми *хвалите* Пушкина такъ, какъ еще *никто* не хвалить! И отъ чего же именно *ваши* похвалы не сдѣлаютъ ему никакого вреда? Онъ можетъ возгордиться ими и *опочить* на нихъ, какъ на неувядающихъ лаврахъ! Смѣю ли еще спросить, изъ чего заключаете, что въ числѣ его хвалителей не было еще такого, который бы, подобно вамъ, *постигъ и глубину лучшихъ его произведеній, направленіи таланта его*, когда (между тѣмъ) говорите сами, что онъ *сбился съ пути*?... Подлинно *глубина непостижимая въ глаголахъ вашихъ*, м. г.! „Говорить, что Пушкинъ дурной Поэтъ, есть то же, что написать себѣ на лбу адскимъ камнемъ (*lapis infernalis*): я дуракъ. Такъ и сдѣлали мнимые Классики“ (*стр. 322*). Кто бы не пожелалъ видѣть сихъ мнимыхъ Классиковъ съ надписью на лбу: *я дуракъ!* и сказать: *такъ!* Но врядъ ли встрѣтите кому-либо сія Геркуланская ходячая рѣдкость: ибо даже и *мнимый* Классикъ, изъ уваженія къ самому себѣ, не скажетъ *Пушкинъ дурной Поэтъ!* а особливо, когда вспомнитъ о *lapis infernalis!*.... Развѣ подстрекнетъ къ тому ваша же слѣдующая апофеизма: „Писавшіе *противъ* Пушкина не повредили ему, а *напротивъ* того, могли принести пользу“ (*Тамъ же*). Но иѣтъ! *написъ* адскимъ камнемъ остановить и руку, подобно какъ языкъ! По крайней мѣрѣ, на будущія времена.

„Разумѣется, что нашимъ критикамъ и хвалителямъ Пушкина болѣе нравятся: *Битва, Русалка, Пѣснь о вѣщѣмъ Олегѣ*, и т. п., нежели *Андрей Шенья, нежели Вакуличъ*“

ская Пѣсня, Война; Элегіи: Погасло огненное свѣтило и проч., Желаніе Слavy, Къ Овидію, Утоиеніе, Къ морю, Наполеонъ, Птичка, Посланіе къ Лицину, къ Козлову, къ Прелестницѣ, къ Ч — у (начинающееся: Въ странѣ, гдѣ я забытъ и проч.), Воспоминаніе (первый стихъ: Когда для смертнаго умолкнетъ шумный день), Города пышный, и еще нѣсколько рукописныхъ (?) „и печатныхъ стихотвореній, которыхъ теперь не припомню“ (Сынъ Отечества и Сѣверный Архивъ, № 6, стран. 323). Почему же *разумѣется*? Ежели критики или писавшіе *противъ* Пушкина — что все одно — и на предыдущей страницѣ у васъ *принесли пользу* ему, объявили *мнѣніе свое*; то уже и видно, что имъ *больше нравится*; если-жъ нѣтъ; то, можетъ быть, и не *разумѣется*. Въ сію же категорію входятъ и *хвалители*. Но какою категорію можно извинить столь полную достовѣрность къ своему вкусу — не говоримъ о прочемъ — объявляемую во всенародно? Если могли ошибаться въ *предпочтении* стихотвореній Пушкина *многіе*, то *одному* еще легче. Другое дѣло *рукописныя*, извѣстныя, можетъ быть, одному только вамъ. Но и съ вами можно поспорить — какъ это ни страшно по Голицынской силѣ вашей на литературномъ поприщѣ — поспорить о *вкусе*; вы предпочитаете *Демона*, стало, и Домовому, о которомъ даже и не упомянули; но осмѣлюсь сказать, что съ *тѣхъ часовъ*, когда *Демонъ* началъ навѣщать Поэта, кромѣ *непостижимой таинственности*, ничего нѣтъ отмѣнаго въ семь стихотвореній, доказывающемъ *только артиста*, вами не уважаемаго (стран. 322); тогда какъ въ стихотвореніи: *Домовому*, находимъ безсмертнаго отца — *Гофица*, которому въ его стихахъ: *Къ Вафну*, нашъ Поэтъ подражалъ, какъ Суворовъ Цезарю; и такое подражаніе доказываетъ, что одинъ герой родился послѣ другаго: вотъ все *различіе*.

„Пушкинъ, видя безпрестанно вокругъ себя Тиргеевъ въ бумажныхъ латахъ, бряцающихъ на лирѣ съ деревянными струнами, украшенныхъ лаврами и съ цвѣточнаго магазина, слыша напѣвы (*бѣзъ словъ*) наряженныхъ въ театральные костюмы Бардовъ, Пушкинъ не могъ выдержать“ (слушайте! слушайте!) „искушенія, пѣлъ на тотъ же ладъ,

хотя и лучше прочихъ, и первенство свое принять за успѣхъ“. И *принять* именно изъ вашихъ рукъ: ибо вы, не взирая на описанное вами маскарадное общество, искусившее Поэта своими *одревянными струнами*, заставившими и его пѣть на тогъ же ладъ, поднесли Поэту дипломъ на титулъ перваго между всѣми Русскими Поэтами, отъ времени Пѣсни о полку Игоревомъ до 1-го января 1833 года. Пеняйте же на самого себя, тѣмъ болѣе, что ваши напѣвы были не *безъ словъ*! „Дружина Поэта заглушила похвалами своими вопль истины, пробивавшійся изъ благонамѣренныхъ критикъ, и Поэтъ смѣшалъ друзей таланта съ своими недругами“ (*Тамъ же*). Но вы въ головахъ сей дружины, по крайней мѣрѣ теперь; ибо, повторяемъ, никто еще не *заглушалъ*, если не вопль истины, то по крайней мѣрѣ Поэта столь высокопарными похвазами, какъ вы: за что же негодуете на *хвалителей* его? Странное дѣло! Между тѣмъ Поэтъ играть у васъ жалкую роль; онъ *смѣшалъ* друзей своего таланта съ своими недругами“. Смѣшать можно все; но какъ это, отъ чего это, почему это *смѣшано* Поэтомъ въ такомъ случаѣ? волею, или неволею? и какимъ образомъ это обнаружилось? Странное дѣло! „Множество произведеній обыкновенныхъ ослабило вниманіе публики къ Поэту, а нѣкоторые изъ недалековидныхъ Критиковъ и недоброжелателей Пушкина уже провозгласили совершенный упадокъ его дарованія“ (*Тамъ же*). И все это говорится о *первомъ Поэти между всѣми Русскими Поэтами, отъ времени Пѣсни о полку Игоревомъ до 1-го января 1833 года*! Настоящая пѣсня, и пѣсня лебядиная въ своемъ родѣ! „Правда, что надобна была сильная вѣра въ сіе дарованіе, чтобы не усомниться въ его упадкѣ послѣ такой пьесы, какова, напримѣръ: *Посланіе къ Князю Юсупову*!“ (*Тамъ же*). И мы ставимъ знакъ удивленія! и спрашиваемъ: что за роковая *пьеса*? А Поэтъ безъ сомнѣнія *старался блеснуть* своимъ талантомъ въ *Посланіи къ Вельможѣ*!.. Отъ чего же не удалось оно — *первому Поэту между всѣми Русскими Поэтами отъ времени*, и проч? „Но я пребылъ вѣренъ моему мнѣнію, что дарованіе Пушкина только сбилось съ пути, начертаннаго ему Природою, а не по-

гибло...“ (Тамъ же). Какой Мѣшій обошелъ нашего *перваго* Поэта? . давно ли? надолго ли? а вѣдь и „чрезвычайно обрадовавшія насъ произведенія дарованія юнаго, сильнаго разумомъ и душою: *Моцартъ и Сальери, Джо, Анчаръ, Дриво Мое*, есть не иное что, какъ *отголоски* Поэзій современной, высокой, трогательной, томной, грустной, но крѣпительной и неувядаемой“ (страни. 325). Но чьей же именно Поэзій *крѣпительной* и не увядаемой? Стало *иноземной*? потому что вѣдь, кромѣ Пушкина, Державина и Крылова, всѣ наши Поэты *выкладывали на рюмы* — и только. Пребудемъ же и мы вѣрны нашему (или своему) мнѣнію, что *оальновитонскій* Авторъ Письма о характерѣ и достоинствѣ Поэзій А. С. Пушкина *сбивается* немного съ пути, начертываемого Логикою.

„И такъ, утѣшьтеся, любители Поэзій высокой, благородной“ (?) „утѣшьтеся, истинные друзья таланта Пушкина! Сей талантъ не упалъ; онъ еще полонъ силы и жизни; но онъ, подобно соловью, теперь не въ порѣ и не на мѣстѣ пѣнія“ (*Сынъ Отчизны и Сивирныя Архивъ, № 17, страни. 325*). Благодаримъ великодушнаго утѣшителя, безъ котораго мы сами конечно не сумѣли бы (модное словцо Телеграфа и Пчелы) добратся до такой *высокой*, или высокоблагородной Поэзій въ *наблюденияхъ* рецензента, хотя, признаться, никакъ не сумѣемъ угадать, что значитъ: „теперь не въ порѣ и не на мѣстѣ пѣнія“. Отъ чего же *теперь* не въ порѣ! *Когда* же будетъ въ порѣ, и какое же это *мѣсто пѣнія*? Развѣ есть какой-нибудь *крылось* для него? И о комъ же рѣчь идетъ? о *первомъ современномъ Поэтѣ между Русскими Поэтами отъ времени Писни о полку Игоревомъ до 1-го января 1833 года*. (Признаемся также и въ преимуществѣ своемъ, что мы не можемъ довольно налюбоваться тѣмъ, что для другаго, можетъ статься, проскочило бы зайцемъ: говоримъ о геронческомъ сближеніи пѣническихъ эпохъ нашихъ, столь часто повторяемомъ нами съ новымъ удовольствіемъ!). Но уподобленіе *соловью* нимало не объясняетъ загадки, если допустить, что *камеральныя обстоятельства* писателя вовсе не подлежатъ суду рецензента, какъ бы они ему коротко извѣстны ни были.



Другаго ничего придумать не можемъ!—Проницательный утѣшитель истинныхъ друзей таланта Пушкина говорить далѣе... Но мы уже далѣе писать не можемъ: *les bras me tombent...* и спасаемся подъ Эгидь.

„Остается рѣшить вопросъ: почему характеръ Поэзіи современной выразился со большою силою въ мелкихъ стихотвореніяхъ Пушкина, нежели въ другихъ его произведеніяхъ, стоившихъ ему, можетъ быть, болѣе труда и болѣе обдуманности? Отвѣчаю рѣшительно: отъ того, что лучшія мелкія стихотворенія Пушкина суть не плоды чуждыхъ совѣтовъ, не слѣдствіе бесѣдъ и совѣщаній, но, такъ сказать, невольныя вспышки его природнаго генія, молнія отъ столкновенія идей и чувствованій, самородный плодъ почвы.—И потому-то мелкія стихотворенія Пушкина — суть тѣ таинственныя буквы, которыми начертанъ характеръ его поэзіи, суть числа на мѣрѣ, которыми опредѣляется величіе его дарованія. — Мнѣ кажется, что я разгадалъ и буквы и числа, и потому полагаю, что характеръ Поэзіи Пушкина—есть *современность* (опредѣленная мною выше), а мѣсто его между нашими современными Поэтами—*первое и не послѣднее* въ небольшомъ кругу Поэтовъ всемірныхъ. Скажу болѣе: я вѣрю, что отъ его собственной воли зависить удержаться, возвыситься—или пасть. Геній его просится на просторъ... подъ небеса...

„Мнѣ душно здѣсь, я въ лѣсъ хочу!“

Подписано: „Ө. Б.“

А намъ кажется, что мы уже въ лѣсу—и даже въ дремучемъ: ибо вовсе не надѣемся *разгадать ни буквы, которыми начертанъ характеръ Рецензента, ни числа, которыми опредѣляется величіе его дарованія*—противурѣчить самому себѣ непрестанно! Лучшія стихотворенія *перваго современнаго Поэта*, то-есть Пушкина, суть *невольныя вспышки его природнаго генія*, которому *чуждые совѣты* (??) препятствовали выразиться съ большою силою въ произведеніяхъ, *стоившихъ ему, можетъ быть, болѣе труда и обду-*



манности, нежели въ мелкихъ стихотвореніяхъ стало писанныхъ украдкою отъ совѣщателей, а иначе, *можетъ быть, разгадали бы и буквы и числа* — то-есть, что надобно страшиться *малки отъ толкованія (?) пошл и чувствованія, самородныи плодъ почвы?* И что это за Омары противъ Пушкина, который до того обмороченъ ими, что онъ никакъ не можетъ *платушить губитънаго факела, истребляющаго характеръ Поэзии современной*, поставившей Пушкина на высоту, недоступную для другихъ Русскихъ Поэтовъ *отъ времени Писни о полку Игоревомъ до 1-го января 1833 года, и выразившихся единственно въ невольныхъ вскрикахъ?*... Будучи способенъ къ обдуманности своихъ произведеній (хотя — увы! и бесполезной), Пушкинъ, по словамъ грознаго оракула, никакъ не можетъ обдумать чуждыхъ *совѣтовъ*, чтобы предостеречься отъ ужаснѣйшаго коварства ихъ противъ его *природнаго генія*!.. Этого *природнаго* (слушайте! слушайте!), не *благодаря* обдуманнаго генія, который, не взирая на *большій шумъ и большую обдуманность*, прилагаемыхъ къ своимъ крупнымъ произведеніямъ, никакъ не можетъ выразить характера своей *современной Поэзии* иначе, какъ въ *мелкихъ стихотвореніяхъ*!... Кажется, и обыкновенный человѣкъ могъ бы *разгадать буквы и числа* подобныхъ *совѣтовъ, бестовъ и совѣщаній?*.. Но нѣтъ! — Пушкинъ не разгадаетъ, даромъ что мѣсто его между нашими современными Поэтами *первое и не послѣднее въ небольшомъ кругу (?) Поэтовъ всемирныхъ*! Вы вѣрите, м. г., что логъ его собственной воли зависить удержаться, возвыситься — или пасть! Геній его просится на просторъ... *подъ небеса?* А вспомните сказанное вами выше, что и *вѣнчики* его *природнаго генія* — не вольныя; между тѣмъ по *оброу воли* конечно никто не захочетъ *пасть*, а особенно съ такой высоты, на какую поставленъ вами Пушкинъ: но онъ, какъ вы доказываете, *подъ роковымъ вліяніемъ*, силы котораго преодолѣть не въ состояніи ни воля, ни геній; и сколько бы сей послѣдній ни просился на просторъ его не пустить оное; а еще менѣе *подъ небеса*... Такова участь *перваго современнаго Поэта* между кѣмъ Русскими Поэтами *отъ времени Писни о полку Игоревомъ*

до 1-го января 1833 года!!! Симвъ апокрифомъ, пристрастившимъ насъ къ себѣ, наконецъ выходимъ, какъ по нити Ариадниной, изъ лѣсу, гдѣ намъ было *очень* отъ многихъ испарений.. Что-то окажется 1-е января 1834 года — относительно нашихъ Баяновъ!..

Изъ „Дамскаго Журнала“ 1833 г.

55  
\* \*

\*1 Имя А. С. Пушкина безпрерывно встрѣчалось читателямъ въ листкахъ Телеграфа съ самаго начала его изданія. Должно ли этому удивляться? Нѣтъ! ибо, что замѣчательнѣе Пушкина представляла во все это время Русская Словесность? Посему, въ теченіе восьми лѣтъ, Телеграфъ наблюдалъ постоянно все произведенія Пушкина, и представлялъ читателямъ извѣстія и сужденія о литературномъ поприщѣ сего славнаго соотечественника. Еще не рѣшено было первенство Пушкина между современными Поэтами Русскими, когда издатель Телеграфа, въ 1825 году, называлъ его *не вторымъ, а другимъ* послѣ Жуковскаго, и съ добродушнымъ восторгомъ юноши привѣтствовалъ въ томъ же году появленіе его *Онегина* Дико возопили тогда противъ похвалъ Пушкину — похвалъ *наосложъ будущаго*. Теперь спрашиваемъ: не оправдываются ли сіи надежды? Пушкинъ, рѣшительно, не признанъ ли *первымъ* изъ современныхъ Русскихъ Поэтовъ? Въ теченіе восьми лѣтъ много отношений перемѣнялось, но смѣемъ надѣяться, что никто изъ читателей, ни самъ Пушкинъ, не упрекнутъ Телеграфъ въ криводушій, низкопоклонничествѣ или завистливой злобѣ къ лавровому вѣнку его, какъ Поэта. Пристрастенъ могъ быть къ нему иногда Телеграфъ, или ошибаться въ направленіи его дарованія, и смѣло негодовать. Но кто же, человѣкъ съ душою, не лишенною искры неба, не увлекался иногда пристрастіемъ къ прекрасному?

\*) „Московский Телеграфъ“ 1833 г., ч. 49, № 1 и 2. „Борисъ Годуновъ“, сочиненіе Александра Пушкина. Сиб. 1831 г. in—8, 142 стр.

Кто, дорожа рѣдкимъ явленіемъ его въ мірѣ ничтожномъ, холодномъ, безчувственномъ, не негодовалъ, если видѣлъ, что оно тускнѣетъ въ какихъ-нибудь мелкихъ отношеніяхъ свѣта? Положимъ, что послѣднее мнѣніе было бы ошибкою; но подобная ошибка простибельна, если только не злонамѣренность и не нечистая совѣсть бываетъ ея причиною. Послѣ всего этого, смѣемъ думать, что, не боясь подозрѣнія ни въ пристрастіи, ни въ неприязни, Телеграфъ можетъ сказать свое мнѣніе о послѣднемъ большомъ твореніи Пушкина, составляющемъ вѣнецъ всего, что донинѣ создано было нашимъ поэтомъ въ течение полужизни его. Да! полужизни человѣческой совершилось уже Пушкину (онъ родился въ 1799 году)! Уже онъ не юноша: онъ мужъ, онъ человѣкъ, достигнувшій зрѣлости лѣтъ и дарованія: время *опытовъ* для него миновалось; время *сознаній совершенныхъ*, которыя могутъ показать, чѣмъ запишетъ себя Пушкинъ въ исторіи для потомства, для человѣчества — это грозное время для него настало и мчится быстро! Лови его, Поэтъ! лови: оно не ждетъ, и потомъ не воротится никогда. Любопытно теперь, съ послѣдней поэтической высоты, до которой достигъ Пушкинъ, разсматривать его прежніе труды и опредѣлить будущіи его полетъ.

Предполагая подробно разсмотрѣть *Бориса Годунова*, мы знаемъ, что подобная статья не можетъ имѣть цѣны журнальной новости нынѣ, когда послѣ появленія Бориса Годунова прошло два года: но мы и не хотѣли придавать сей цѣны нашему разбору, появленіемъ онаго одновременнѣе. Намъ хотѣлось лучше и вѣрнѣе отдать отчетъ самимъ себѣ въ твореніи Пушкина. Намъ хотѣлось также сообразить и мнѣнія публики и критиковъ Русскихъ. Кажется: наговорились, написались довольно и высказали все мнѣнія. Мы переберемъ сіи мнѣнія; постараемся представить при томъ нѣсколько своихъ соображеній вообще о новѣйшей Драмѣ. Взглядъ на прежнія сочиненія Пушкина самъ по себѣ необходимъ, ибо безъ того выводъ изъ одного *Годунова* будетъ недостаточенъ для сужденія о Пушкинѣ.

Не по времени только появленія въ свѣтъ, но и по сущности, по духу, по взгляду на Поэзію, Пушкинъ есть

совершенно *современный* намъ Поэтъ, сынъ Поэзіи XIX вѣка, начавшейся въ Европѣ въ послѣднія двадцать лѣтъ. Метрическая справка ничего не доказываетъ въ подобномъ случаѣ. Представимъ небольшой примѣръ: М. А. Дмитріевъ, не смотря на издание своихъ сочиненій въ 1831 году, относится къ эпохѣ новѣйшаго французскаго Классицизма, съ небольшою прибавкою Романтизма, чѣмъ отличались Милльвуа, Бауръ - Лорманы и Делили. И теперь есть у насъ современники Ломоносова, Сумарокова, Карамзина, даже Тредьяковскаго — не по лѣтамъ, но по духу, по сущности своихъ созданій, по своему образованію, направленію, даже по языку. По всѣмъ же этимъ примѣтамъ, Пушкинъ оказывается современникомъ Европы нашего, XIX вѣка.

Въ статьяхъ о Державинѣ, Жуковскомъ, мы старались изложить Исторію Русской Литературы и особенно Словесности. Выводомъ нашимъ изъ сихъ изложеній было то, что Жуковскій обозначилъ собою въ Россіи переходъ отъ новѣйшаго Классицизма къ Романтизму новѣйшему: что Жуковскій, Поэтъ очаровательно мелодическій, далъ новыя формы нашему стиху, влилъ въ Поэзію Русскую одну изъ новыхъ идей Романтическихъ—безотчетную мечтательность Шиллера, и что, ухвативъ сію одностороннюю идею, Русскіе Литераторы бросились на Романтиковъ-Нѣмцевъ, какъ прежде крѣпко держались они за Классиковъ-Французовъ. Здѣсь *кончилъ* Жуковскій, и *началъ* Пушкинъ. Обратимся къ Европѣ и постараемся кратко пояснить себѣ, что тамъ дѣлалось въ послѣдніе 20 или 30 лѣтъ.

Главнѣйшія, отличительныя черты переворотовъ въ Европейскомъ Литературномъ мірѣ во все сіе время, по нашему мнѣнію, суть слѣдующія: 1) Обобщеніе Нѣмецкой Философіи и Литературы въ Европѣ и особенно во Франціи; 2) Движеніе въ Европу новой, самобитной Англійской Словесности; 3) Уничтоженіе Классическихъ теорій, и замѣна ихъ новыми, если угодно, Романтическими идеями; 4) Мысль о созданіи самобитныхъ, народныхъ литературъ, почти повсюду, и объ отысканіи для того націо-



нальныхъ элементовъ; 5) Общее направленіе къ Лиризму, Роману и Драмѣ во всѣхъ Европейскихъ Словесностяхъ.

Такъ сильно, такъ глубоко было объединенное отъ остальной Европы особенное стремленіе Германіи, по всѣмъ отраслямъ человѣческаго мышленія и вѣдѣнія, такъ противоположно было оно всеобщему тогда Европѣ Классическому направленію и условнымъ формамъ прежняго образованія, литературнаго и ученаго, что невозможно ему было наконецъ не обратить на себя вниманія всей Европы. Невозможно было и общности новаго образованія Германіи не изумить всякаго, кто только узнавалъ его хоть немного. Невозможно было, наконецъ, сему новому стремленію не сразиться съ старымъ, эта ошибка значила побѣду Германіи, ибо юное, крѣпкое силами, всегда побѣдитъ дряхлое, изнуренное въ силахъ. Трудно сыскать предметъ въ области ума и вѣдѣнія, котораго не коснулась бы Германская реформа съ половины XVIII и въ началѣ XIX вѣка. Въ *Философіи* Реализмъ Локка и Матеріализмъ Энциклопедистовъ замѣнили разрушающій ихъ Трансцендентализмъ Канта, не ясный, но высокій Идеализмъ Фихте и умиротворяющій, платоническій Идентитетъ Шеллинга. Въ *Исторіи* изслѣдованія Нибура возсоздали истинную лѣтопись Рима и показали примѣръ истинной Критики и Философіи Исторической; Гердеръ проявилъ совершенно новую идею Человѣчества, разсматривая оную какъ основаніе, какъ развитіе идеи Всеобщей Исторіи; Савиньи испровергъ старое начало въ Исторіи Юриспруденціи и провелъ живую идею Римскаго Права черезъ лабиринтъ вѣковъ; Крейцеръ отыскалъ основныя идеи вѣчныхъ символовъ въ Мифологіи Востока и раскрылъ элементы ихъ въ Мифологіи Европейской. *Изученіе Древнихъ* перестало ограничиваться избитымъ пересказомъ однихъ и тѣхъ же словъ, и авторитеты Схоластики уступили наконецъ мѣсто истинному изученію Классической Древности. Переставъ смотрѣть на Классическую Древность, какъ на безусловное извѣстество, переставъ видѣть въ ней неподражаемые exemplaria Graeca, Германцы умѣли понять и передать надлежащимъ образомъ писанія Древнихъ, и въ то же время



понять необходимость изученія *всѣхъ другихъ литературъ и народовъ*. Это пояснило имъ необходимость всеобщности для самобытности, и самобытности для всеобщности. Такимъ образомъ, когда Шлейермахеры, Фоссы, Гегеле изучали и передавали въ истинномъ свѣтѣ Классическую Древность, Гюккъ, Гердеръ, Шлегель, Бенда, Штрекфуссъ и другіе то же дѣлали съ Испанією, Италією, Англією; глубокія изученія были произведены надъ Сѣверомъ и Востокомъ, а самобытность необыкновенная проявлена въ созданіяхъ Германской Литературы. Здѣсь число именъ и созданій приводитъ въ невольное изумленіе; разнообразіе направленій духа Германскаго заставляетъ иногда даже сомнѣваться: неужели все это было испытано и пережито въ столь короткое время? Не говоря уже о безсмертныхъ, вѣковыхъ именахъ Гете, Шиллера, Жанъ-Поля, какое множество именъ по *всѣмъ частямъ Литературы!* Поэзія, Романъ, Исторія освѣщены именами Мюллеровъ, Вернеровъ, Кернеровъ, Бюргеровъ, Тидге, Миллеровъ, Геренговъ, Гоффмановъ и проч... такъ же какъ Философія блещетъ именами Астовъ, Шуберговъ, Стеффенсовъ, Штуцмановъ, а Науки и точныя Знанія именами Вернеровъ, Гумбольдтовъ, Гумфеландовъ, Боде, Ольберсовъ, Фауенгоферовъ и проч.

Замѣтимъ здѣсь *три* слѣдующія обстоятельства, важныя для наблюдателя:

1) Въ то время, какъ началось движеніе умственнаго міра Германіи, послѣдовало и совершенное отдѣленіе его отъ міра дѣйствительнаго, практическаго. И всегда Германія была чужда практики общественной жизни, и всегда не она обобщала въ Европѣ всѣ вѣковыя идеи. Но здѣсь, какъ будто нарочно, послѣдовало дѣленіе самое рѣзкое, самое рѣшительное. Франція совершенно вдалась въ практику общественности; Германія совершенно объединила себя отъ сей практики: она была скалою умственнаго бытія Европы, о которую разбивались всѣ волны неслыханныхъ, политическихъ и общественныхъ переворотовъ. Ученые сей скалы какъ будто вовсе не знали, что дѣлается въ остальной Европѣ.

2) Необыкновенное умственное насилие, въ теченіе полу-столѣтія, должно было наконецъ истощить Германію, и, отразивши умственную дѣятельность свою на Европу, Германія должна была впасть въ усыпленіе. Если всеобщность способствовала къ проявленію идеи о частной самобытности, въ то же время самобытность не могла явиться прежде, пока всеобщность не утомить духа, не доведетъ его до самаго величайшаго объема идеальности, гдѣ онъ долженъ погибнуть, совершенно отторгнутый отъ земли дѣйствительности.

3) Смотра съ сѣй точки зрѣнія, нельзя не удивляться всеобщности, какою обладали Германцы, великости трудовъ, дѣлимости, многообъемлемости знанія ихъ. Все великое сего времени есть что-то *универсальное*, всеобъемлющее: возьмите *Шиллера*, пламеннаго, неземнаго Лирическаго Поэта: онъ въ то же время Трагикъ, Историкъ, Философъ, Романистъ. Разсмотрите самую Драмѹ его: какое разнообразіе направленій въ *Разбойникахъ*, *Коварствѣ и любви*, *Орлеанской дѣвѣ*, *Миссинской невестѣ*, *Валленштейнѣ*, *Вильгельмѣ Теллѣ*! И притомъ, онъ переводитъ *Фауста* и *Макбета*! Это волны необозримаго моря, рѣемая, колеблемая всѣми возможными вѣтрами. Посмотрите на *Шлегеля-Историка*, Поэта, Критика, переводчика Шекспира и Кальдерона; на *Геролафа*-проповѣдника, Философа, Поэта! Наконецъ, остановитесь особенно на символѣ всего Германскаго образованія, Гете, заключившемъ собою даже и хронологически періодъ Германской эпохи — Гете всего лучше покажетъ вамъ идею Германіи: онъ *все* — Классицизмъ и Востокъ, Испанія и Англія, Трагедія и Естествознаніе, Романъ и Журналь, Пѣсня и Критическая статья, Фаустъ и Вильгельмъ Мейстеръ, Вертеръ и Германъ и Доротея, переводчикъ Вольтерова Мугаммеда и стихотвореній Саадія—Гете все заключить въ себѣ, все обнять и все сказалъ.

Изъ сего міра высочайшей всеобщности, идеальности, *вселичности*, Германія впаде въ совершенную частность, практику, народность. Геніи Германіи исчезли; Философія распалась на части; Поэзія запѣла старинную легенду;

Музыка заиграла народную пѣсню; изысканія обратились на древности отчизны. Гете и Уландъ, Гоффманъ и Шолленгауеръ, Шеллингъ и Гегель, Шлегель и Бернъ, Шиллеръ и Гриллапарцеръ, Моцартъ и Шпоръ—неужели это одинъ и тотъ-же міръ, одна и та же Германія? И это случилось въ то время, когда Европа, усмиривъ буищую жизнь горячей Франціи, отдыхала въ политической тишинѣ. Ужасная до новаго, умственного бытія, Франція устремилась на наслѣдіе засыпающей дѣятельности германской, какъ самый расточительный наслѣдникъ.

Тогда, при сей великой субботѣ Германіи и при началѣ возбужденной дѣятельности Франціи—Англія, двадцать лѣтъ чуждая Европѣ, двадцать лѣтъ подверженная континентальной системѣ во всѣхъ отношеніяхъ, не въ одной торговлѣ и промышленности, явилась въ величій поэтическаго обновленія, совершившагося уединенно, отдѣльно, среди всемірной войны Материка и вѣчныхъ волнъ Океана. Она явилась съ новыми созданіями Муровъ, Водсвортовъ, Сушеевъ, Краббовъ, Монгоммери, Борнсовъ, Колериджей, съ практическою критикою своихъ *Обзрѣній*, съ своею Политическою Экономіею. Но всего громче сказались Европѣ два поэтическія отзыва Британіи.

*Одинъ*—весь современность, лира и эпопея современная, вопль безнадежности, кровавая комета новой Поэзии, потрясающій электрическій ударъ. Читатели угадываютъ имя *Байрона*.

*Другой*—железъ Среднихъ Вѣковъ, полнота Прозы, Философія практики, обновитель жизни прошедшаго, гальваническая сила отъ соединенія предметовъ, по видимому, холодныхъ, разнородныхъ,—соединеніе Исторіи и Сказки въ Романъ—*В. Скоттъ*. И все это поверглось въ живую жизнь, въ обобщительную душу Французовъ. Мы не будемъ здѣсь входить въ изложеніе фактовъ того, что произошло чрезъ сіе во Франціи. Отчасти старались уже мы изъяснить современную Исторію Французской Литературы въ статьѣ о Романахъ В. Гюго, о Французскомъ театрѣ, и вообще въ статьяхъ объ Иностранной современной Словесности, какія помѣщались въ Телеграфъ разныхъ го-

довъ. Укажемъ еще здѣсь на статьи критическія и теоретическія, какія были переводимы и почти непрерывно помѣщаемы въ Телеграфъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Читатели видѣли даже мнѣнія самыхъ реформаторовъ Французскихъ—Гюго, Де-Виньи, Издателей *Глобуса Французскаго Обозрѣнія* и проч...

Мы обращаемся къ тремъ послѣднимъ выводамъ, выше сего нами означеннымъ, которые полагаемъ мы въ числѣ *главнѣйшихъ отличительныхъ чертъ реформы въ мирѣ современной намъ Европѣской Литтературы*.

*Первое*, что представляется здѣсь, есть — *уничтоженіи классическихъ теорій и замѣна ихъ новыми поанми*. Въ этомъ согласятся самые упорные, даже Русскіе Классики. Читайте хоть Русскіе учебные курсы, хоть Русскія теоретическія сочиненія. Сочинители ихъ, сами того не замѣчая, подчиняются уже совершенно новому порядку идеи. Сквозь Классицизмъ, сквозь ветхую кучу дряхлыхъ именъ, которыми загораживаютъ они входъ Романтизму, видимъ этотъ Романтизмъ самовластнымъ хозяиномъ въ классическомъ домѣ. Ему еще неловко, неудобно, онъ еще не привыкъ къ новому своему жилью; но, погодите: есть старикъ, который все это уладитъ, и о которомъ Карлъ Унгевариваль: „Насъ двое—я и время“.

*Второе*, что слѣдуетъ изъ перваго: стремленіе осуществить *теорію* въ сообразной съ нею *практикѣ*. Практика сія требуетъ всеобщности познанія, не одного Классицизма, и потомъ возсозданія *национальной народной литтературы*, какъ единственнаго средства сдѣлаться самобытными. Не говоримъ о Германіи, гдѣ этимъ кончилось; объ Англіи, гдѣ этимъ началось; о Франціи, гдѣ это является въ неизмѣримой степени—посмотримъ на двѣ крайнія стороны Европы: *Швецію и Итацію*. Тамъ и здѣсь—Романъ и Романтизмъ; школа Классиковъ падаетъ, новыя идеи народности проявляются Тегнерами, Манцони и многочисленными ихъ спутниками.

Но отчего *третье* отличие современности: *явное стремленіе повсюду къ Лиризму, Роману и Драмѣ?*



Не принимаемъ положенія В. Гюго, будто нашъ вѣкъ есть вѣкъ *Драматическій*, и поелику вѣкъ старости походитъ на младенчество, потому Лиризмъ, отличие вѣка младенчества человѣческаго, долженъ отражаться на нашемъ вѣкѣ, старости Человѣчества: не соглашаемся и съ тѣми, кто думаетъ, будто Романъ есть *современная Эпопея*, и поелику Эпопея и Драма всегда преобладавали и должны преобладать, ибо онѣ суть два высшіе отдѣла творчества человѣческаго, то посему самому преобладаетъ въ нашемъ вѣкѣ (лишенномъ Эпопеи), подлѣ Драмы, Романъ. Все это кажется намъ односторонно и невѣрно. Мы думаемъ, что всѣ вѣка и всегда, всѣ части Поэзии были равносильны, равно существовали и должны равно существовать въ душѣ человѣка. Преимущественность того или другаго, въ то или другое время, суть частности, которыя мы принимаемъ за общность. Нашъ вѣкъ столько же *Драматическій*, сколько *Эпическій* и *Лирический*. Лиризмъ потому столь силенъ въ наше время, что мы начинаемъ новый періодъ, а въ началѣ новой жизни всегда духъ человѣка изливается въ лирическомъ пѣніи. „*У насъ нѣтъ эпоса*“, говорятъ намъ. Нѣтъ Эпопеи *Классической* — согласны; но есть *Эпопея своя*. Явился только теперь эпическій гений, и онъ проявитъ ее въ великомъ созданіи. И чѣмъ же вы почитаете *Фауста* неужели *Драмою*? А созданія Байрона: его *Гяуръ*, *Осада Коринфа*, *Манфредъ*, *Корсаръ*, *Лара* (если и назовемъ *Чайльдъ-Гарольда* элегією, а *Донъ-Жуана* Сатирою? Возьмемъ меньшіе примѣры — *Валлиброда* Мицкевича, *Фрингилоръ-Сагу* Тегнерову: или они Эпопея, или вовсе никогда не было Эпопеи. И что же? Омирова Иліада была рапсодіями, отдѣльными балладами, какъ Оссіанъ есть сборъ балладъ Шотландскихъ, и, какъ въ Испанскихъ Романахъ, является намъ Эпопея высокая. Мы согласны назвать Романъ *Эпопеею изящной прозы*, ибо въ *Прозѣ изящной* есть такія же отдѣленія, какъ и въ *Поэзии собственно*: Лирика — *Ораторство*, Драма — *Исторія*, Эпопеею будетъ *Романъ*. Если наша поэтическая Эпопея является въ смѣшеніи съ Драмою (какъ объяснить это весьма хо-



рошо В. Гюго, указывая на Мильтона и Данте), естественно, что Эпопея прозы, Романъ, переходитъ въ прозаическую Драмѣ, Исторію: вотъ источникъ повсюднаго *Историческаго Романа*. Объясненіе сихъ смѣшеній не заключается ли въ томъ, что мы, утомленные раздѣльностью родовъ, отвлеченностью Эпопеи и Романа отъ Драмѣ и Исторіи, слишкомъ дѣйствительныхъ и положительныхъ, стремимся соединить ихъ, тѣмъ болѣе, что раздѣльность сія ставила Эпопею и Романъ — одну на ходули Классицизма, другой на ходули аханья и пошлой любви, а Драмѣ дѣлала или ничтожною Мелодрамою, или надутою Трагедіею, оставляя Исторіи только сухой рассказъ и риторскія фразы.

Надобно впрочемъ согласиться, что современная намъ литература, столь быстрое развитіе духа человѣческаго въ новыхъ формахъ, должна быть еще весьма неопредѣленною для насъ, теоретически и практически. Краткое изложеніе наше показываетъ, сколь сильный, неслыханный переворотъ произошелъ въ полвѣка, сколь разнообразенъ, разнороденъ былъ сей переворотъ, сколь многихъ вопросовъ рѣшеніе задать онъ грядущему Человѣчеству. Но главныя основанія уже и для насъ обозначены ясно.

Сей-то бурный, многообразный періодъ хлынулъ на нашу Русскую Литературу, послѣ Классицизма Французскаго: сего-то начало представилъ собою въ Поэзии нашей Жуковскій, сего-то *настоящимъ представителемъ въ Русской Поэзии* явился Пушкинъ.

Въ Поэзии Русской, именно, и не болѣе. Пушкинъ поэтъ, не менѣе того онъ поэтъ въ полномъ значеніи сего слова, поэтъ, обладающій дарованіемъ обширнымъ, душою глубоко раздражительною, восторженною, даромъ слова удивительнымъ. Говоря о Державинѣ, мы указали на характеръ Пушкина. Осмѣлимся сказать здѣсь, что самая жизнь Пушкина можетъ подтвердить это, если обозрѣть ее философически. Но что могли мы говорить о Поэтѣ, уже почившемъ сномъ вѣчности, того не можемъ говорить о Поэтѣ живущемъ, и, слѣдственно, должны ограничиться разсмотрѣніемъ только его *Литературной жизни*.

Мы находили въ Державинѣ совершенную противоположность Жуковскому: то же найдемъ, соображая съ Жуковскимъ Пушкина — это двѣ совершенно параллельныя линіи. Напротивъ, сколько найдемъ точекъ, на коихъ Державинъ и Пушкинъ сходятся совершенно!

Вспомните общія различія: одинъ родился въ 1743-мъ, другой въ 1799-мъ году: одинъ былъ въ вѣкъ Екатерины, въ послѣднюю треть XVIII-го столѣтія; другой въ вѣкъ Александра и Николая, въ первую треть XIX-го столѣтія, а между этими двумя третями Исторія положила бездну, величійною въ тысячу лѣтъ. Державинъ увлекся порывами честолубія; обстоятельства дали совѣтъ другое направленіе жизни Пушкина; не забудьте, что о Державинѣ вы говорите, какъ о поэтѣ, кончившемъ совершенно свое поприще; о Пушкинѣ, какъ о поэтѣ, едва достигшемъ зрѣлыхъ часовъ генія своего, тѣхъ лѣтъ однакожъ, когда Державинъ едва только начиналъ. Державинъ вошелъ на поприще Поэзіи малограмотный, съ Одами Ломоносова, теорією Тредьяковскаго. Трагедіями Сумарокова, романами Прево, и черезъ казармы вступилъ въ свѣтъ, и службу; Пушкинъ пришелъ ко времени самаго стремительнаго порыва въ Россію новыхъ идей литературныхъ, когда голосъ Жуковского раздавался уже среди холоднаго міра Классицизма и Карамзинизма, когда толпа молодыхъ дарованій была подвигнута смѣлымъ голосомъ къ новой дѣятельности души. Пушкинъ вступилъ въ свѣтъ, получивъ съ малолѣтства отличное, однакожъ свѣтское образованіе, былъ отвергнутъ свѣтомъ, и почти до тридцати лѣтъ странствовалъ вдали отъ него, вдохновляемый своимъ геніемъ, порываемый, колеблемый всѣми бурями измѣненій міра вѣшняго, и страстей міра внутренняго. Но тотъ и другой, Державинъ и Пушкинъ, *поэты вполне*, съ одинаково-смѣлою, благородною, возвышенною душою, съ одинаково-пламеннымъ сердцемъ, одинаково превышающіе другихъ современниковъ своимъ геніемъ; у обоихъ Поэзія кажется врожденнымъ вдохновешемъ: у Державина не убили ея ни нужды, ни казармы; у Пушкина (что хуже казармъ и нужды) ни свѣтское обра-

зование, ни большой свѣтъ. Если Державинъ былъ полный представитель Русскаго духа своего времени, Пушкинъ долженъ былъ полнымъ представителемъ Русскаго духа нашего времени. Усибѣтъ ли Пушкинъ явиться въ столь же самобытномъ развитіи созданій, какъ явился Державинъ? Узнаетъ ли онъ лучше Державина свое высокое назначеніе? Поидетъ ли онъ далѣе того, на чемъ Державинъ остановился? Далекъ ли онъ означитъ свою самобытностью развитие самобытной Русской Поэзии? Вотъ вопросы, для насъ первыя. Еще двадцать лѣтъ полного бытія, періодъ самой зрѣлой силы можетъ имѣть Пушкинъ въ виду передъ собой. Чего не сдѣлаетъ онъ, и чего нельзя ожидать намъ отъ Пушкина, если только сила его поэтической воли будетъ умѣть отдать себѣ отчетъ... Все, что долженъ дѣлать Пушкинъ, оправдываетъ, какъ намъ кажется, наши блестящія на него надежды, и ту увѣренность, съ какою смотримъ мы на Пушкина, какъ на залогъ великаго въ будущемъ.

Только новая, односторонняя идея Поэзии Жуковского, подкрѣпленная его подражателями и послѣдователями, и вѣвнами съ его голоса, и нѣсколько дарованій отдѣльных, замѣчательныхъ, были отличіемъ на поприщѣ Литтературы, холодной и безцвѣтной, когда явился Пушкинъ. Оцѣните же дарованіе этого поэта, читая *Руслана* и *Ююмилу*. Мысль объ Аріостовой Эпопеѣ въ Русскомъ духѣ, мысль создать Поэму изъ Русскихъ преданій, самое исполненіе сей мысли стихами плѣнительными, когда Поэту не было еще и двадцати лѣтъ—какое начало блестящее, прекрасное, исполненное уюванія! Безспорно: въ *Русланѣ* и *Ююмилѣ* нѣтъ и тѣни народности, и когда потомъ Пушкинъ издалъ сию Поэму съ новымъ введеніемъ \*), то введеніе это рѣши-

---

\*) Въ Лукоморьи дубъ зеленый,  
Златая цѣпь на дубѣ томъ,  
И двемъ, и ночью котъ ученый  
Тамъ ходитъ по цѣпи кругомъ.  
Идетъ на право—пѣснь заводитъ:  
На лѣво—сказку говорить, и т. д.

тельно убило все, что находили Русскаго въ самой поэмѣ. Руссизмъ Поэмы Пушкина была та несчастная, щеголеватая народность, Флоріановскій манеръ, по которому Карамзинъ написалъ *Илью Муромца*, *Наталью Боярскую* и *Марфу Послоницу*, Нарѣжный *Славяникъ* *вечера*, а Жуковский обрусилъ *Тенору*, *Двѣнадцать спящихъ Дѣвъ*, и сочинилъ свою *Марыну рошу*. Не хотите ли понять превосходство прелестной Поэмы Пушкина? забудьте, что она изображаетъ *Русь*; прочитайте, что тогда писали другіе, и что писали критики тогдашніе именно о *Русланѣ* и *Людмилѣ*. Мы такъ уже удалились отъ 1820 года, когда вышла въ свѣтъ первая Поэма Пушкина, такъ разрознились духомъ, направленіемъ, сущностью съ Поэзією, Эстетикою и Критикою тогдашними, что намъ даже трудно теперь стать на тогдашнюю точку зрѣнія, которая можетъ показать весь блескъ дарованій Пушкина, относительно ко времени изданія *Руслана* и *Людмилы*.

Какъ много надобно было силы душевной, и самообытности дарованія, чтобы не увлечься тогдашнимъ Классическимъ громкословіемъ, и не замечаться въ блѣдныхъ подражаніяхъ Жуковскому! Пушкинъ едва носитъ слѣды того и другаго, въ самыхъ первоначальныхъ своихъ созданіяхъ. Но тѣмъ сильнѣе уступилъ онъ потомъ вліянію болѣе могущаго, современнаго ему Европейскаго гения, Байрона.

Байронъ возобладалъ совершенно поэтической душою Пушкина, и это владычество на много времени лишило нашего поэта собственныхъ его вдохновеній. Какъ бы кто ни былъ великъ, но всякій долженъ платить дань своему вѣку. Свѣтское, и съ тѣмъ вмѣстѣ Карамзинское образованіе въ дѣтствѣ, а потомъ подчиненіе Байрону въ юности — вотъ два ига, которые отразились на всей Поэзии Пушкина, на всѣхъ почти его созданіяхъ до нынѣ, а Карамзинизмъ повредилъ даже совершеннѣйшему изъ его созданій — *Борису Годунову*. Особливо прежде не дерзали Пушкинъ выходить изъ волшебнаго круга, очерченнаго современнымъ образованіемъ Россіи окрестъ его дарованія, и только въ послѣднее время успѣваетъ онъ вырив-



ваться изъ него, и осмѣливается расправлять самобытно свои орлиныя крылья, осмѣливается обнимать духомъ своимъ весь обширный переворотъ современной Европейской Литтературы — не въ одномъ Байроновскомъ направленіи сего переворота, какъ прежде односторонно обнималъ его Жуковский въ идеѣ Шиллера, и подражаніи Нѣмецкой и Англійской балладъ.

*Кавказскій Пльщикъ* былъ рѣшительнымъ сколкомъ съ того лица, которое въ испанскихъ чертахъ, грознымъ привидѣніемъ пролетѣло въ Поэзіи Байрона. Разница та, что Байронова Поэзія была самобытна, и хотя односторонно, но обняла весь міръ современнымъ идей, изобразилась въ огромныхъ очеркахъ. Байронъ, создатель *Гяура* и *Абиссиской невесты*, *Донъ - Жуана* и *Чайльдъ - Гарольда*, *Манфредъ* и *Бенно*, *Христіана* и *Шиллонскаго узника*, *Нарен* и *Ослы Коринна*, былъ въ нѣкоторомъ смыслѣ, то же для начала XIX вѣка, что Омиръ для Греціи, Оссіанъ для Шотландіи, Гете для Германіи, Данте для Италіи XIII столѣтія, Шекспиръ для Среднихъ вѣковъ. Пушкинъ явился, напротивъ, какъ подражатель пѣвца Британскаго, былъ юнъ, ограниченъ во всѣхъ отношеніяхъ, и особенно по образованію своему и по общественному своему мѣсту.

Отъ того блѣденъ и ничтоженъ его *Кавказскій Пльщикъ*, нерѣшительны его *Бахчисарайскій фронтисъ* и *Цыганы* и легокъ *Гвсени Омигинъ*, Русскіи снимокъ съ лица *Донъ-Жуанова*, такъ же, какъ *Кавказскій Пльщикъ* и *Алеко* были снимками съ *Чайльдъ - Гарольдова* лица. Все это было вдохновлено Пушкину Байрономъ, и пересказано съ Французскаго перевода прозою - литографическіе эстампы съ прекраснѣйшихъ произведеній живописи.

Гдѣ же заслуги Пушкина? Гдѣ признаки сильныхъ его дарованій? Гдѣ слѣды его самобытности и залоговъ будущаго?

Прежде всего, въ той превышающей всѣхъ другихъ современныхъ поэтовъ Русскихъ степени, на которую сталъ Пушкинъ съ самаго появленія *Рустана* и *Аннылы*. Несправедливо было бы мѣрять Пушкина мѣрою Гете и Байрона. Мы старались показать ложность подобной мѣры



въ отношеніи Державина. Сравните различіе образованія Германін, Британін и Россін. Посмотрите: *гдѣ* живетъ Пушкинъ, и съ кѣмъ живетъ онъ? Такъ же, какъ Жуковскаго, окружаетъ его толпа современниковъ, но — это дѣти передъ нимъ! Сличите съ нимъ Г-дѣ Языкова, Баратынскаго, Хомякова, Князя Вяземскаго, Козлова, Подолнскаго, О. Н. Глинка (какъ поэта), Веневитинова, Муравьева, Дельвига: хотя дарованіямъ всѣхъ ихъ отдаемъ мы полное сознаніе, но никто изъ нихъ, безъ всякаго сравненія, не станетъ даже и близко Пушкина, ни идеями, ни полною выраженіемъ ихъ, ни прелестью стиха, и — рѣшительно ничѣмъ. Далѣе, введеніе новаго элемента *Байронизма* въ Русскую Поэзію, послѣ мечтательности Жуковскаго, долженствовало быть необходимо для души пылкой, свѣжей, и оно сильно способствовало конечному паденію Французскаго Классицизма въ Россіи: этимъ мы обязаны Пушкину. Для него это былъ отрицательный шагъ, назадъ; для Русской Поэзіи — шагъ положительный, впередъ.

Соборазите послѣ сего, какую заслугу оказалъ Пушкинъ выраженію нашей Поэзіи, нашему стиху. Стихъ Русскій гнулся въ рукахъ его, какъ мягкій воскъ въ рукахъ искуснаго ваятеля; онъ плѣлъ у него на всѣ лады, какъ струна на скрипкѣ Паганини. Нигдѣ не является стихъ Пушкина такимъ мелодическимъ, какъ стихъ Жуковскаго, нигдѣ не достигаетъ онъ высоты стиховъ Державина; но за то въ немъ слышна гармонія, составленная изъ силы Державина, нѣжности Озерова, простоты Крылова и музыкальности Жуковскаго. Вся классическая чопорность съ него сбита совершенно. Если Пушкину не суждено влить въ него новой самобытной души, то, по крайней мѣрѣ, вся внѣшность его пересоздана уже вполне и совершенно.

Наконецъ, не смотря на Байронизмъ, и чуждую идею, какими своими богатыми подробностями блещутъ и красуются творенія Пушкина! Разсмотрите ряды картинъ, описаній, переходовъ изъ чувства въ чувство, въ *Кавказскомъ пленникѣ*, *Бахчисарайскомъ фонтанѣ*, *Цыганѣ* и

*Онѣгинъ*. Замѣьте и то, что съ каждымъ шагомъ Пушкинъ становился выше, самобытнѣе, разнообразнѣе, и что единство его генія постепенно прояснялось болѣе и болѣе. Въ *Кавказскомъ плѣнникѣ* онъ еще простая элегія; въ *Бахчисарайскомъ фонтанѣ* онъ становился уже поэтической картиною; въ *Цыганахъ* видна уже мысль. Всего лучше замѣтите вы все это въ *Онѣгинѣ*, прочитавъ одну за другою, сряду, всѣ восемь главъ его. Поэтъ начинаетъ Онѣгина чудною исповѣдью души, какъ будто артистъ звучнымъ, сильнымъ аккордомъ. Но *первая глава* самой Поэмы пестра, безъ тѣней, насмѣшлива, почти лишена Поэзии; *вторая* впадаетъ въ мелкую сатиру; но въ *третьей* — Татьяна есть уже идея поэтическая; *четвертая* облекаетъ ее еще болѣе увлекательными чертами; *пятая* — сонъ Татьяны довершаетъ поэтическое очарованіе; въ *шестой* поэтъ снова впадаетъ въ прежній тонъ насмѣшки, эниграммы, и то же слѣдуетъ въ *седьмой*, но поединокъ Ленскаго съ Онѣгинымъ выкупаетъ все, и — наблюдайте разницу насмѣшливаго взгляда *первой* и *седьмой* главы: тамъ острякъ — здѣсь поэтъ; тамъ холодная эниграмма — здѣсь уже голосъ обманутой души, оскорбленнаго сердца, выражаемый поэтически. Это еще болѣе отличаетъ *восьмую* главу, и послѣднее изображеніе Татьяны показываетъ вамъ, какъ измѣнился, какъ возмужалъ поэтъ семью годами, протекшими отъ изданія первой главы Онѣгина!

Идея народности проявляется наконецъ Пушкинымъ въ *Полтаву*. Его *Русланъ*, *Кавказскій плѣнникъ*, *Алеко*, *Онѣгинъ* были тѣни, которыхъ можете переносить куда угодно. *Мазепа*, *Кочубей*, *Марія*, *Петръ* — созданія Русскія, мѣстныя; еще не вездѣ видѣнъ вѣрный очеркъ, еще прежняя тѣнь Поэзии Пушкина ложится и на сіи лица; еще не вѣренъ и отчетъ въ главной идеѣ Поэмы; но вы видите уже какъ самобытность поэта, такъ и національность его созданій, и можете предугадывать, что изъ него можетъ быть при дальнѣйшемъ порывѣ впередъ.

Не полонъ былъ бы объемъ сочиненій Пушкина, и потерялись бы для насъ примѣты его постепенно большей самобытности и безирреально возраставшей мѣстности и

національности его Поэзіи, если бы мы, кромѣ поэмъ, не пересмотрѣли его мелкихъ стихотвореній. Не говоримъ о *Пулннѣ* — забавной шуткѣ, *Братьяхъ разбойникахъ*, гдѣ отзывается Русь сквозь Байроновскую оболочку; но припомните себѣ три части *Стихотвореній Пушкина*. Здѣсь болѣе 200 пьесъ характеризуютъ поэтическое поприще его съ 1815-го по 1832-й годъ; здѣсь лѣтопись его поэтической жизни и впечатлѣній, отовсюду вѣснявшихся въ его душу, отъ мирной юности Царскосельскаго Лицея до новой Петербургской жизни, во все время странничества его на Кавказѣ, по степямъ Новороссійскимъ, въ долинахъ Арзерума, среди суеты столичной и въ глуши деревни. Не будемъ говорить о пьесахъ ничтожныхъ, или подсказанныхъ разными случаями, ни о мелочахъ, недостойныхъ Пушкина, какъ-то эпиграммахъ на людей, не стоившихъ даже и щелчка, альбомномъ сорѣ, страшныхъ дистихахъ въ *мнимо-оревнемъ* родѣ, переводахъ, которые могъ бы Пушкинъ отдать на драку другимъ, жаждущимъ движенія поэтической воды восторга, хоть бы чужаго (впрочемъ изъ *переводовъ* его нельзя не замѣтить нѣкоторыхъ, какъ-то: подражаній Библии, и особливо *Отрывка изъ Вильсоновой Трагедіи*: они прекрасны). Мы увѣрены, что со временемъ самъ Пушкинъ выброситъ изъ собранія своихъ сочиненій многое, какъ-то: *Задачу*, *Собраніе наскоковъ*, *Дорожная жалоба*, *Послани къ Вельможѣ*—все это не достойно его! Обратите вниманіе на другое, на красоту пьесъ: *Гробъ Анакреона*, *Амуръ и Гименей*, *Торжество Вакха*. *Мечта телю*, *Русалка*, *Домовому*, *Уединеніе*, *Прозерпина*, *Возрожденіе*, *Черная шаль*, *Неренда*, *Дочери Кара-Георгія*, *Война*, *Гробъ юноши*, *Къ Овидію*, *Ч—ву*, *Муза*, *Друзьямъ Гречанкѣ*, *Подражанія Корану*, *Вакхическая пѣсня*, 19-го Октября. *Воспоминаніе*, *Предчувствіе*, *Кавказъ*, *Делибашъ*, *Отвѣтъ анониму*, *Бѣсы*, *Трудъ*, *Узникъ*, *Анчаръ* — пьесъ, писанныхъ въ разное время и столь разнообразныхъ. Но здѣсь еще не вполне узнаете вы поэта; здѣсь онъ еще не выше Баратынскаго, Языкова, Хомякова. Взгляните на *отличительныя* созданія Пушкина. Такими почитаемъ мы пьесы: *Наполеонъ* (пис. 1821 г.), *Демонъ* (1823 г.), *Къ морю*

(1824 г.), *Андрей Шены*, *Отрывокъ изъ Фауста* (объ 1825 г.), *Ангель*, *Поэтъ* (объ 1827 г.), *Чернь* (1828 г.), *Моцартъ и Сальери* (1830 г.). Посмотрите, какъ благородно, величественно преклоняется поэтъ предъ тѣнями двухъ великановъ современныхъ—*Наполеона* и *Байрона*, какъ съ негодованіемъ смотритъ онъ на бездушную *чернь*, не понимающую высокаго изящества поэтическихъ думъ, какъ оправдываетъ онъ забвеніе *поэта*, въ чадѣ мірской суеты; какъ изображаетъ участь незабвенной жертвы Робеспьера! Въ *Демонъ*—полная картина безумнаго ожесточенія души человѣческой, противъ всего возвыщающаго ея высокое и прекрасное; въ *Ангель* — глубоко запавшее въ душу самаго отверженнаго духа зерно неба, и полное презрѣніе ко всему не небесному; наконецъ, въ *Отрывкѣ изъ Фауста* раскрыта темная сторона, тайна, которую съ ужасомъ прочитаетъ въ сердцѣ своемъ каждый человѣкъ; въ *Моцартъ и Сальери* ярко схвачена таинственность созданія гения, приводящая въ отчаяніе обыкновенный умъ, простое дарованіе, всякое человѣческое искусство. Вотъ гдѣ обозначилъ себя Пушкинъ, вотъ гдѣ онъ становится выше современниковъ, вотъ наши залогъ того, что можетъ онъ создать, если, сбросивъ оковы условій, приличій пошлыхъ и суеты, скрытый въ самого себя, захочетъ онъ дать полную свободу своему сильному гению! Почти все приведенія нами пьесы такъ извѣстны Русскимъ читателямъ, что ифть надобности выписывать ихъ: кто ихъ не читалъ, и даже не знаетъ наизусть? Но, можетъ быть, не всякій обращалъ на нихъ полное свое наблюденіе, не всякій понималъ, напримѣръ, то высокое благородство, съ какимъ Пушкинъ привѣтствовалъ тѣнь Наполеона. Еще до сихъ поръ на могилѣ великаго человѣка раздаются вопли близорукаго мщенія; мнимое усердіе къ Отечеству до сихъ поръ бросаетъ еще грязью въ неизблемый истуканъ безсмертнаго; до сихъ поръ, и въ стихахъ, и въ прозѣ, и въ Исторіи, и въ минимпатріотическихъ Романахъ, Наполеона представляютъ намъ какимъ-то Пугачевымъ, или много много, если Тамерланомъ и Аттилою. А Пушкинъ, въ са-



мня минуты Наполеоновои кончины, смѣло говорилъ ему, угадывая голосъ потомства и безсмертіе Наполеона:

Пріосъненъ твоею славой,  
Почій среди пустынныхъ волнъ!  
Великолѣпная могила...  
Надъ урной, гдѣ твой прахъ лежитъ,  
Народовъ ненависть почилъ,  
И лучъ безсмертія горитъ...  
Да будетъ омраченъ позоромъ  
Тотъ малодушный, кто въ сей день  
Безумнымъ возмутитъ укоромъ  
Его развѣчанную тѣнь!  
Хвала! Онъ Русскому народу  
Высокій жребій указалъ,  
И міру вѣчную свободу  
Изъ мрака ссылки завѣщалъ!

Менѣ ли прекрасенъ геній поэта нашего, когда онъ провожаетъ прощаніемъ могучій духъ, Байрона, стоитъ въ думѣ на берегу моря, именуетъ Байрона пѣвцомъ морскихъ волнъ, вызываетъ море, символъ Байрона, взволноваться непогодой, и говоритъ ему—

Онъ былъ, о море! твой пѣвецъ,  
Твой образъ былъ на немъ означенъ,  
Онъ духомъ созданъ былъ твоимъ:  
Какъ ты, могущъ, глубокъ и мраченъ,  
Какъ ты, ничѣмъ неукротимъ!

Поэтъ задумчиво сливаетъ потомъ съ памятью Байрона память Наполеона, летитъ мыслью на дикую скалу среди пустынь моря, къ одному предмету, могущему поразить душу, гробницѣ славы, гдѣ въ мрачный сонъ погрузились величавыя воспоминанія, гдѣ угасалъ, и почилъ среди мученій Наполеонъ... И міръ опустѣлъ въ глазахъ поэта, когда вслѣдъ затѣмъ исчезаетъ другой властитель нашихъ думъ...

...Куда бы нынѣ  
Я путь безпечный стремилъ?  
Одинъ предметъ въ твоей пустынѣ



Мою бы душу поразилъ,  
 Одна скала, гробница славы:  
 Тамъ погружались въ хладный сонъ  
 Воспоминанья величавы —  
 Тамъ угасалъ Наполеонъ!  
 Тамъ онъ почилъ среди мученій...  
 И вслѣдъ за нимъ, какъ бури шумъ,  
 Другой отъ насъ умчался геній.  
 Другой властитель нашихъ думъ —  
 Исчезъ, ослаканный свободой,  
 Остави міру свой вѣнецъ...  
 Міръ опустѣлъ...

Не будемъ разбирать *Анорся Шны*, полной поэмы, гдѣ блескъ стиховъ, и живопись картинъ равны грозному негодованію, потрясающему душу поэта. Но разберите *Демона*. Вотъ пьеса, гдѣ нѣсколькими стихами выражено все, могущее увлечь юную душу — новость впечатлѣній бытія, взоръ дѣвъ, ночное пѣніе соловья и шумъ мрачной дубравы, чувство свободы, славы, любви, и волненіе вдохновенныхъ искусствъ, осѣняющее внезапною тоскою часы надеждъ и наслажденій. Какое искусство: противопоставить всему этому таинныя посѣщенія злобнаго генія, печаль встрѣчи съ нимъ, его *чуждый* взглядъ, улыбку, язвительную рѣчь, вливающую хладный ядъ въ душу, его *исполоническую* клевету, которою *искушаютъ* онъ Провидѣніе, его презрѣніе вдохновенія, его названіе прекрасною мечтою, его *испытаніе* въ любовь и свободу! Вспомните наконецъ заключительныя стихи этой глубокой философи поэтической:

...Ничего во всей природѣ  
 Благословить онъ не хотѣлъ!

Не хотите ли разгадать тайну этого генія злобы? Микель-Анжеловская картина передъ вами: *ненависть* ко всему небесному, *презрѣніе* ко всему земному — и какъ очаровательно выражена эта тайна различія неба и земли! Если вы не поняли ея — истолкованія не пояснятъ ея для васъ.

(Отрывокъ изъ *Фигурки* — Гете могъ бы вмѣстить въ свое

бессмертное созданіе, и его не отличили бы въ ряду картинъ, составляющихъ эту чудную эпопею пѣвца Германскаго. Въ *Моцартъ и Сальери* такая же ужасающая истина, какъ и въ отрывкѣ изъ Фауста. Вспомните только сіи слова Сальери:

Гдѣ-жъ правота, когда священный даръ,  
Когда бессмертный гений—не въ награду  
Любви горящей, самоотверженья,  
Трудовъ, усердія, моленій посланъ—  
И озаряетъ голову безумца,  
Гуляки празднаго? О Моцартъ, Моцартъ!

И это отчаяніе, эту логику бѣшенства страсти, это ограниченное негодованіе дарованія, безсильнаго передъ гениемъ:

Что пользы, если Моцартъ будетъ живъ  
И новой высоты еще достигнетъ?  
Подыметъ ли онъ тѣмъ искусство? Нѣтъ!  
Оно падетъ опять, какъ онъ исчезнетъ:  
Наслѣдника намъ не оставитъ онъ,  
Что пользы въ немъ? Какъ нѣкій Херувимъ,  
Онъ нѣсколько занесъ намъ пѣсенъ райскихъ,  
Чтобъ, возмутивъ безкрылое желанье  
Въ насъ, чадахъ праха, послѣ улетѣть!  
Такъ улетай же—чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше!

Подробный разборъ красотъ и самыхъ выраженій должно предоставить эстетическому чувству—довольно упомянуть о великомъ и прекрасномъ; не будемъ уподобляться старымъ Лагарпамъ, доказывать правилами Риторики изящество, прелесть стихотвореній, о которыхъ мы здѣсь говорили, не станемъ доказывать читателямъ каждаго слова и подсказывать имъ: здѣсь восхищайтесь, здѣсь плачьте, здѣсь радуйтесь, здѣсь печальтесь—тѣмъ болѣе, если угодно вѣрное логическое доказательство—что это увлекло бы насъ далеко за предѣлы нашей статьи.

Скажемъ о нѣсаяхъ совершенно другаго рода, другаго направленія. *Вступленіе* къ Руслану и Людмилѣ и двѣ

пьесы: *Женить* и *Утопленникъ* — дополняютъ то, что мы сказали выше сего о проявленіи въ *Полтавѣ* Пушкина самобытной народности. Наташа, съ ея добродушными словами:

Злодѣй дѣвицу губить:  
Ей праву руку рубить...  
Она глядитъ ему въ лицо —  
„А это съ чьей руки кольцо?“

И этотъ бѣдный мужикъ, который боится земскаго суда болѣе совѣсти — эта живая картина съ природы: *Мртвецъ*, снова плывущій внизъ, за могилой и крестомъ, плывущій долго и, какъ живой, качающійся между волнами рѣки, ночная буря, явленіе утопленника — все это также наше Русское, чисто народное, какъ народны картины народныхъ сказокъ, изображенныя во *Вступленіи* къ *Руслану* и *Людмилѣ*.

Читатели можетъ быть удивятся, что мы ничего не скажемъ здѣсь объ одномъ изъ послѣднихъ сочиненій Пушкина: *Сказка о Царь Салтанѣ*. Имѣя на то свои причины, мы упомянемъ объ ономъ впоследствии. По всему, по времени изданія, и по сущности, *Борисъ Годуновъ* должно почестъ окончательнымъ твореніемъ Пушкина: въ немъ соединены все его достоинства, все недостатки — весь Пушкинъ и вся его Поэзія, каковы онъ и она были доникъ, и являются въ нынѣшнемъ своемъ состояніи. Собразимъ же, приступая къ *Борису Годунову*, предварительно все, что мы говорили здѣсь о Пушкинѣ и его Поэзіи.

Безъ опредѣленія предмета ничто не будетъ опредѣленно. Что дѣлать съ бѣднымъ умомъ человѣческимъ, если онъ безъ отчета Логикѣ шагу порядочно сдѣлать не можетъ, даже разсматривая произведенія поэтическаго восторга! Постараемся, по крайней мѣрѣ, хотя о томъ, чтобы опредѣленія наши не походили на опредѣленія одного извѣстнаго Словаря, гдѣ находите иногда дефиниціи Поэзіи и Любви, почти такого содержанія: Поэзія — способность выражаться мѣрною рѣчью, или стихами и созвучіями, или

рифмами, въ украшенныхъ картинами, описаніями, а также и другими вставочными мѣстами, сочиненіяхъ, коихъ обыкновенная рѣчь не допускаетъ; Любовь, стремленіе душевное, соединенное съ тѣлеснымъ вожделѣніемъ, заставляющее находить въ одной женщинѣ весь совершенства Природы и Человѣка, желать соединиться съ нею законнымъ бракомъ и производить послѣ себя потомство, или воспроизвести себя въ дѣтяхъ. Боясь, что слова наши почтутъ несправедливою шуткою, скажемъ, что немного лучше были многія Русскія критическія статьи о Пушкинѣ; доказательства сего, отчасти, представимъ мы далѣе.

Спрашиваемъ: какой поэтъ Пушкинъ преимущественно? Точно ли онъ выражаетъ собою Европейскую литературную современность, главныя черты коей означили мы въ началѣ нашей статьи? Наконецъ, какъ понимаетъ онъ приложеніе новыхъ идей къ самобытной Русской Поэзіи?

Главное сходство Пушкина съ Державинымъ: онъ поэтъ лирическій. Въ наше время не должно ждать отъ него Одъ торжественныхъ; и самую Одѣ иначе теперь понимаютъ. Державинъ писалъ уже не Оды — собственно; но лиризмъ Пушкина видѣнъ во всѣхъ его поэмахъ, и въ самомъ размѣрѣ, какой онъ всего чаще выбиралъ для своихъ созданій. Если Лиризмъ сливается въ нашъ вѣкъ съ Эпосею и съ Драмою, этотъ современный намъ характеръ Поэзіи есть характеръ Поэзіи Пушкина. Но Лирическая Поэзія — мгновенный пылъ, огонь, вихрь, низшая степень поэтическихъ твореній, ибо она не столь всеобъемлюща, не столь продолжительна, не столь глубока, какъ чистая Эпоса и полная Драма, Байронъ, безспорно, ниже Данте и Шекспира. Чѣмъ? Онъ собственно лирикъ, а Данте эпикъ, Шекспиръ драматикъ. Байронъ молнія—Шекспиръ солнце.

Смѣшаннымъ направленіемъ Лиризма Пушкинъ носитъ уже на себѣ типъ современности. Разсматривая подробно его творенія, окончательно увѣряемся, что Пушкину не чуждо было и есть все, что волновало, двигало, тревожило нашъ разнообразный вѣкъ. Всего болѣе онъ подчинялся могуществу Байрона, но и другія силы Романтизма ярко отражались на немъ: Баллада Испанская, Нѣмецкая,

Поэзия Восточная и Библейская, Эпосъ и Драма Романтическая, разнообразіе Юга и Сѣвера, вдохновляли его Лиризмъ, стремящійся къ Эпосѣ и Драмѣ. Все это, выражая характеръ современности, составляя характеръ Пушкина, должно было напослѣдокъ привести его къ Драмѣ и Роману; но Романъ, какъ прозаическое отдѣленіе, не могъ соответствовать наклонности дарованія Пушкина, и опытъ его въ Романѣ былъ вовсе неудаченъ: мы разумѣемъ здѣсь *Повѣсти* въ прозѣ, изданныя Пушкинымъ подъ именемъ *Булгина*. Другой опытъ романа, видѣнный нами въ одномъ изъ альманаховъ, брошенъ былъ потомъ неоконченный: онъ лучше снисходительныхъ друзей своихъ и поклонниковъ умѣетъ оцѣнять самого себя. И такъ, подобно современности, не удовлетворяемый однимъ Лиризмомъ, и сильно устремившійся къ Эпосѣ, потомъ къ Драмѣ, Пушкинъ послѣ нѣсколькихъ Поэмъ рѣшается создать Драму. — Но, какая же Драма займетъ нашего поэта? *Классическая* невозможна; объ ней и говорить нечего. Обратится ли онъ къ мелкой драматической, *мишанной трагедіи*? Или захочетъ создать Драму эпическую, южнаго происхожденія, которая оживляла мистеріи Кальдерона, и отозвалась въ нѣкоторыхъ твореніяхъ Шиллера (*Орлеанской дѣвѣ*, *Мессинской пѣснѣ*), въ *Фаустѣ* Гетеюмъ, въ фаталистическихъ созданіяхъ Мюльпера и мистическихъ твореніяхъ Вернера, ту Драму, гдѣ тайны судьбы выставляются наружу, на сцену, въ дѣйствіе? Или, наконецъ, осуществить онъ для отечества Драму сѣверную, коей высокій типъ представляетъ Шекспиръ, и которую столь справедливо уподобляютъ статуѣ Лаокоона, гдѣ сила Судьбы выражается только змѣями — страстями человѣческими, и борьбою воли человѣка противъ сихъ змѣй, какъ тайныхъ опредѣленій Судьбы — жизнью человѣческою? И въ сей Драмѣ изобразить ли онъ кипѣніе страстей и рѣшенія судьбы въ подвижности событій, какъ дѣлаютъ это новыя Французы; или осуществить ихъ въ представленіи огромныхъ характеровъ, каковы Макбеты, Отелло, Лиръ, Гамлеты Шекспировы, или, наконецъ, только возсоздастъ вѣрно протекшія со-



бытія въ *Историческихъ* драмахъ, подобныхъ драматической хроникѣ Шекспировыхъ Генриховъ и Ричардовъ? И въ семъ отдѣленіи Драмы будетъ ли онъ только связывать рамою Драмы событія дѣйствительныя, какъ видимъ это въ новыхъ Французскихъ *историческихъ сценахъ*; или будетъ облекать отдѣльнымъ единствомъ полныя части событій, какъ дѣлалъ Шекспиръ, сохраняя притомъ истину Исторіи; или, наконецъ, удаляясь отъ исторіи, представить ихъ въ обманчивомъ свѣтѣ идеаловъ, каковы Гетевъ *Демокъ* или Шиллеровы *Донъ-Карлосъ* и *Валленштейнъ*. — И гдѣ возьметъ онъ краски: въ изобрѣтеніяхъ ли своихъ, или въ Исторіи, и если въ Исторіи, то въ отечественной ли?

Желая рѣшить все сіи вопросы, находимъ, что Пушкинъ рѣшился создать *Драму съверную, Историческую*; что образцомъ его была *Шекспирова Историческая Драма*. Онъ хотѣлъ проявить притомъ самобытное, національное, и взялъ предметъ изъ отечественной Исторіи. Разборъ Драмы Пушкина покажетъ, какъ понимаетъ онъ Теорію Драмы, и вѣрно ли дѣлаетъ приложенія новыхъ идей для самобытности Русской Драмы.

Предварительно нѣсколько словъ о новѣйшей Драмѣ. Утвердивъ мнѣніе, что Драма и въ нашъ вѣкъ необходимо должна существовать, какъ существовала она во все другіе, спрашиваютъ: какая должна быть наша Драма?

Намъ кажется, что это вопросъ совершенно бесполезный. Отвѣтъ на него заключается въ сущности Драмы вообще, въ направленіи дарованій писателя и въ предметѣ, какой избираетъ онъ для своей драмы. Что намъ за дѣло, увлекается ли онъ въ мысль о Судьбѣ Древнихъ, въ фатализмъ Германцевъ, въ духовность мистерій? — Вѣренъ ли онъ выбранному идеалу созданія? Выполняетъ ли онъ изящно свою идею въ развитіи частей? Вотъ вопросы, заключающіе въ себѣ рѣшеніе Критики. Гримальдьеръ потому ничтоженъ, что онъ ложно смотритъ на сущность Драмы: Мюльверъ потому хорошъ, что вѣрно выполняетъ свою основную, хотя и одностороннюю идею. Орлеанская Дѣва, Шиллера, тѣмъ недостаточна, что неумѣстная любовь и

ничтожныя подробности вредятъ величію сей изящной мистеріи, а Вернеровъ *Лютеръ* прекрасенъ, при всѣхъ частныхъ недостаткахъ, если мы станемъ смотрѣть на него, какъ не на Историческую, но на *мистическую* Драму. Шекспирова Драма хороша тѣмъ, что она полна, огромна, соразмѣрна сама себѣ, вѣрна, отчетлива, глубока. Но Шекспирова Драма не годится для насъ—говорятъ теоретики—Мы, новѣйшіе, должны прибавить къ ней все, чего не зналъ Шекспиръ, и что послѣ него узнало Человѣчество. Но измѣнится ли отъ этого сущность Драмъ? Если Человѣчество разочаровалось кое въ чемъ, если оно пояснило для себя кое-что, Поэзія не измѣнилась въ своихъ основаніяхъ. Человѣкъ остался одинъ и тотъ же, только онъ ходитъ иначе, говоритъ иначе, смотритъ иначе. Это дѣло формъ. И развѣ о подробностяхъ кто-нибудь споритъ? Передъ вами всѣ онѣ, всѣ роды, всѣ формы, выраженія, и свобода дается вамъ совершенная! Творите, какъ Шекспиръ, Гете, Шиллеръ, Вернеръ: изобрѣтайте свое направленіе, особенное, самобытное—мы ни въ чемъ не споримъ!

Надобно согласиться, что новая Драма еще не произвела ничего вѣковаго, великаго (исключаемъ Гетево). Безспорно, что и некогда ей было произвести, ибо она еще слишкомъ нова. Но главныя затрудненія едва ли не состоятъ въ томъ, что 1-е, мы слишкомъ много уминчаемъ, не можемъ отстать отъ авторитетовъ, и не столько творимъ, сколько *сочиняемъ*, съ излишней чопорностью глядя на Поэзію; 2-е, что мы увлекаемся крайностями и впадаемъ въ односторонность. Для примѣра перваго, возьмите Гетева *Эгмонта* и Шиллеровы историческія пьесы. Мало было Гете изобразить Эгмонта, какъ онъ былъ, въ величественной простотѣ Исторіи: дѣлаетъ его молодымъ человѣкомъ, героемъ, представляетъ мечтательную Клару, видѣнія славы и свободы, и оттого все становится у него на ходули. Такъ идеальность Макса и Германскій либерализмъ Донъ-Карлоса повредили симъ прекраснымъ созданіямъ Шиллера. Напротивъ, какъ просто, какъ хорошо Шиллеръ въ *Вильгельмъ Телль*—это истинная жизнь, это живая Исторія!

Для примѣра другаго могутъ послужить новыя Французы. Желаніе: слишкомъ строго отдавать отчетъ мѣстности и приводить все въ философскую перспективу—вотъ недостатокъ Девины. Перспектива у него вѣрна, и мелочи, можетъ быть, отчетливы; но простоты жизни нѣтъ и въ огромномъ, правильномъ домѣ его живетъ система, а не человѣкъ.—Стараніе идти на перекоръ старому, личныя отношенія, систематическая мысль смѣшивать смѣшное и высокое, излишній лиризмъ, желаніе странныхъ противоположностей—вотъ недостатки Драмы Гюго. Совсѣмъ не такъ, кажется, дѣлалъ простякъ Шекспиръ. Онъ невѣжда и генин. Системъ и Пинтекъ онъ не знаетъ. Ему попадаетъ курьезная, старинная: *Гисторія о томъ, съ какимъ искусствомъ Амлетъ, бывшій въ послѣдствіи Королемъ Датскимъ, отмстилъ смерть отца своего Говендилла, убитаго Фенгономъ, его дядею, и о другихъ случаяхъ его жизни*. Орлинымъ взоромъ проникаетъ онъ въ сущность идеи, скрытой въ этой сказкѣ; поэтическія подробности представляются ему сами собою; все освѣтилось глубиною его мысли; тутъ есть все: уродливости генія, великое и малое страстей, безобразное и прекрасное. Но и мышъ Гамлетова, и пѣсня Офеліи, и разговоръ могильщиковъ, и монологъ Гамлета—это создано, не сочинено: все это заключалось въ нелѣпой сказкѣ Беллефореста—гений Шекспира только выростилъ вѣковые дубы изъ этихъ ничтожныхъ сѣмянъ. Онъ поливалъ ихъ волшебною водою своей Поэзіи, онъ зарилъ ихъ молніями великой думы своей. Что ему за дѣло до системы и Философіи? Его система въ душѣ, его Философія въ сердцѣ, его тайна въ великой идѣѣ, которую угадалъ его гений. Онъ писалъ, можетъ быть, на какомъ-нибудь обрубокѣ, за кулисами: онъ не справлялся съ психическимъ трактатомъ о душѣ человѣка. Мы не таковы: намъ надобна конторка красного дерева, удобный Вальтеръ, гдѣ могли бы мы сидѣть и размышлять. Если мы пишемъ Скандинавское событіе, мы справимся прежде у Маллета, что онъ пишетъ; поищемъ поэтическихъ красотъ въ Спорро-Стурлезонѣ, прочтемъ Гёте, Шиллера—постараемся блеснуть умомъ. Наша

личность не дастъ намъ покоя, пока не опредѣлитъ предварительно картинъ, противоположностей, яркихъ мыслей, *интереса Драмъ*.

Всего страннѣе такое напряженіе въ *Исторической Драмѣ*. Тутъ вовсе не должно быть пытки нашему воображенію. Вы читаете *Историю*: глубокая идея, составляющая собою узелъ цѣлаго ряда событій, поражаетъ васъ — вы отгадали эту основную, тайную идею, *мысль* этого узла. Если вы вѣрно отгадали ее, то подробности, мѣстности, характеръ вѣка, характеры лицъ, даже языкъ ихъ, сами собою разовьются передъ вами, вы погрѣшите, можетъ быть, Археологически, Хронологически, но отнюдь не эстетически. Надѣлайте намъ такихъ ошибокъ, какихъ надѣдалъ Шекспиръ въ своихъ Трагедіяхъ, взятыхъ изъ Римской *Истории*, какія вставилъ онъ въ 1-ю часть своего *Генриха IV-го* — мы не скажемъ вамъ ни слова: вы проникли основную идею по своему; полно и вѣрно развили эту идею; идея ваша глубока и многообъемлюща: объ остальномъ мы не спрашиваемъ, ибо все подробности, когда онѣ будутъ вѣрны основной идеѣ, будутъ непременно истинны.

Положимъ напротивъ, что вы взяли мелкую идею, или что вы не поняли тайной мысли судьбы въ великихъ событіяхъ. Тогда изучайте, какъ вамъ угодно, мѣстныя подробности: наставляйте противоположенныхъ разительныхъ сценъ; будьте расточительны на лица, какъ самыя отчаянныя Романтикъ; придѣлайте множество вводныхъ, частныхъ мѣстъ, обилуйте отдѣльными красотоми частей — все явится у васъ невѣрно, неудовлетворительно, ложно.

Мысль: создать *Драму Историческую* показываетъ удивительно смѣливый гений Пушкина, ибо онъ не рѣшился на создание *Драмы*, основаніемъ которой была бы мысль, имъ самимъ изобрѣтенная. Болѣе свободный въ развитіи собственной своей идеи, онъ болѣе взялъ бы на отчетъ свой, когда при томъ надобно-бы было ему создавать и характеры, и подробности. Кромѣ того, онъ хотѣлъ явить не только самобытное, но и *национальное*, извлечь для сего элементы изъ своего роднаго, *отечественнаго*, а создавая



свое собственное, вымышленное, онъ могъ удалиться отъ національнаго. Какой-нибудь *Фаустъ*, *Донъ-Жуанъ*, *Монсартъ* (если точно, какъ говорятъ, Пушкинъ имѣлъ въ виду сіи сюжеты для Драмъ) увлекли бы его въ сферу чуждую, и не могли бы положить основанія Романтической Драмѣ въ Россіи.

Выборъ предмета Драмѣ есть также доказательство пропитаннаго гения Пушкина. Мало найдемъ предметовъ, столь поэтическихъ, характеровъ, столь увлекательныхъ, событій разительныхъ, каковы жизнь Бориса Годунова, характеръ его, странная судьба его самого и его семейства. Сообразите притомъ, что на памяти Годунова положено самое счастливое для Поэзіи обстоятельство: неточность, нерѣшительность опредѣленія Историческаго—вотъ сокровище для дарованія смѣлаго, сильнаго! Прибавьте: яркость, дерзость, такъ сказать, съ какою Судьба совершала свои опредѣленія въ жизни Годунова.

Дѣйствительно: въ юности рабъ Грознаго Царя; въ зрѣлости лѣтъ любимецъ и сильный вельможа слабаго сына его, послѣдней отрасли Рюрика: потомъ первый Царь Русскій по избранію, смѣлый, сильный, могущій властитель, достойный начать собою новое царственное поколѣніе, и вдругъ — низвергаемый, губимый Судьбою, въ полгода съ высоты трона бѣдственно низшедшій въ могилу — и отъ кого? какъ? Отъ бродяги, дерзкаго разстриги, отъ ничтожной толпы его сообщниковъ! И какое же могущество губить Бориса въ этомъ врагъ? Имя невиннаго отрока, погнѣшаго за 14 лѣтъ, подъ мечемъ гнуснаго убійцы! Всего непонятнѣе, что безпристрастная Исторія не рѣшается еще назвать Бориса *виновникомъ* этого злодѣяства, не смѣетъ положительно очернить памяти великаго человека проклятымъ названіемъ *цареубійцы*. Сколько тутъ поэзіи, и что созданное воображеніемъ посмѣемъ мы поставить рядомъ съ Исторіею Бориса! Какія богатая краски притомъ: Россія съ своею *царелюбивою, православною* Москвою; Польша, съ своими рыцарскими, наѣздническими правами, съ своимъ суевѣрнымъ Королемъ, и подлѣ нея Казаки — буйная, полудикая толпа, слѣдующая за хоруг-



вами дерзкаго искателя престола и приключеній; накопецъ, тайная судьба Промысла, рѣшающаго участь двухъ великихъ царствъ, и жертва непостижимыхъ рѣшеній его въ участи семейства Борисова .. Повторимъ мысль не новую: никогда фантазія никакого поэта не превзойдетъ поэзи жизни дѣйствительной. И если когда-нибудь это можетъ быть справедливо, то, конечно, въ судьбѣ Бориса Годунова.

Теперь цѣль и выборъ прекрасны. Какъ приступить нашъ Поэтъ къ воссозданію жизни минувшаго, къ проявленію великой мысли, запавшей въ его воображеніе? Передъ нимъ лежитъ чистое поле Романтизма, и ничто не стѣсняетъ его. Оцѣнитъ ли онъ вполне свою идею? Гдѣ поставитъ онъ предѣлы объему своей Драмѣ? Какъ создастъ онъ цѣлое изъ непрерывнаго ряда событій, и на какія точки опиреть онъ *своиство* Своей Драмѣ?

Прочтите листокъ, слѣдующій послѣ заглавнаго листка драмы Пушкина: „*Трагическій оля Россіянь памяти Н. М. Карамзина сей трудъ, гениемъ его вдохновенный, съ благоговѣніемъ и благодарностію посвящаетъ Александръ Пушкинъ*“. И такъ: еще разъ суждено было Пушкину заплатить дань своему воспитанію, образованію своихъ юныхъ лѣтъ, предразсудкамъ, авторитетамъ стараго времени! Еще разъ Классицизмъ, породившій Исторію Карамзина, долженъ былъ восторжествовать надъ сильнымъ представителемъ Романтизма и Европейской современности XIX-го вѣка въ Россіи! Прочитавъ посвященіе, знаемъ напередъ, что мы увидимъ *Карамзинскаго* Годунова: этимъ словомъ рѣшена участь драмы Пушкина. Ему не пособятъ уже ни его великое дарованіе, ни сила языка, какою онъ обладаетъ. Мы увидимъ въ его Драмѣ только борьбу сильнаго гения, блѣдный оттѣнокъ великой идеи, а подробности должны быть непременно ложны и сбивчивы или безцвѣтны. Не пособитъ и широкая рама Романтизма. Ошибки новѣйшихъ Драматиковъ отразятся на Пушкинѣ: онъ самъ на себя надѣлъ цѣпи. Одну изъ неудачныхъ частей *Исторіи государства Россійскаго* составляетъ у Карамзина описаніе царствованій Іоанна Грознаго, Феодора, Бориса, Лжеди-

митрія и Шуйскаго. Не говоримъ о подробностяхъ: онѣ могутъ быть, болѣе или менѣе, вѣрны. Но Карамзинъ безчеловѣчно ошибся въ основныхъ началахъ событій цѣлаго столѣтія, и до такой степени былъ изысканъ въ расположеніи ихъ подробностей, что истина совершенно потухла подъ оптическимъ зеркаломъ его разсказа, и, вмѣсто настоящихъ характеровъ и дѣйствій, у него явились какіе-то призраки.

Прежде всего, Карамзинъ не понялъ (или не хотѣлъ понять—и тѣмъ хуже!) совершеннаго измѣненія въ духѣ народа, и въ отношеніяхъ Русской Удѣльности, какія начались съ Василія Темнаго и кончились Іоанномъ Грознымъ. Василий Темный наложилъ роковую руку на голову гидры Удѣловъ, въ борьбѣ съ Шемякою; Іоаннъ III-й сжалъ крѣпкою рукою разрозненныя части государственнаго тѣла Россіи; смерть внука Шемякина и присоединеніе Рязани къ Москвѣ Василіемъ довершили Исторію Удѣловъ. Князья сдѣлались послѣ того вельможами, власти-тели боярами, Великій Князь Царемъ; политическая борьба съ полей междоусобія перешла въ палаты Царскія. Какъ сильна, какъ дѣятельна долженствовала быть сія новая жизнь! Она и была такова. Посмотрите на партіи Глинскихъ, Телепневыхъ, Шуйскихъ, Бѣльскихъ, Курбскихъ; вслушайтесь въ буйство партіи при смертномъ одрѣ Іоанна, уже побѣдителя Казани, уже 7 лѣтъ самовластителя Россіи, мужа въ полной силѣ возраста, супруга добродѣтельной Анастасіи, и вы узнаете, что сдѣлало сильного, умнаго, хотя и возмущаемаго страстями Іоанна Грознымъ. Онъ ужасенъ. Возставъ съ своего смертнаго одра, онъ также свирѣпо началъ терзать Аристократію, какъ немилосердно дѣдъ и прадѣдъ его терзали Удѣльную систему. Но гибель Новгорода, *шесть эпохъ* казней, и двадцать пять лѣтъ желѣзнаго правленія Іоаннова, убило-ль все это Аристократію Дворскую? Нѣтъ! въ лицѣ Курбскаго, она смѣялась безсильной ярости Іоанна; въ лицѣ Скуратовыхъ, потворствуя страстямъ владыки, какъ прежде, въ лицѣ Адашева, владѣя добрыми его свойствами, она унижалась, рабѣлствовала, и—владѣла царствомъ, тяготѣла

надъ народомъ. Не смѣла она поднять взоровъ своихъ на Царскій тронъ, когда умеръ Грозный, когда 14-ть лѣтъ рукою слабаго Феодора правилъ честолюбивый отважный членъ сей Аристократіи, Борисъ Годуновъ. Она позволяла ему богатѣть, славиться, властвовать; но и сама, какъ туча молніями, богатѣла связями, силою, смутами. Борисъ перехитрилъ всѣхъ — онъ поправилъ ногами Аристократію, онъ сѣлъ на престолъ Царскій; но съ сего часа онъ обрекъ себя на погибель. Что онъ станетъ дѣлать: свирѣпствовать, какъ Іоаннъ? Унижаться, какъ потомъ унижался Шуйскій? Онъ думаетъ сначала привязать къ себѣ мудростью, кротостью, силою — тщетно! Вокругъ него кипятъ волненія, глухія, тревожныя — и Борисъ принимаетъ жалкую систему *по дмѣръ* (*demi-mesures*), самую вредную для прочной власти. Тогда настаетъ минута перелома. — Кто дѣйствитель? Дерзкій смѣльчакъ, назвавшійся убійнымъ сыномъ Грознаго. Это имя могло ли быть страшнымъ Годунову? Нѣтъ! обвиненіе Годунова въ смерти блаженнаго отрока было такъ неопредѣленно, и народъ никогда не посмѣлъ бы судить совѣсти счастливаго Царя своего. Но Польша видѣла политическое средство кинуть планъ раздора въ Россію. Имѣя свои разсчеты, она подкрѣпляла Самозванца. Побѣды заставили бы ее умолкнуть; Духовенство — обоготвительство важное — было притомъ на сторонѣ Борисовой. Чего-же трепеталъ онъ? Что заставило его робѣть, не оставлять Москвы, не являться самому къ народу и войску, при извѣстной своей отважности, и не принимать смѣло вѣшней бури на грудь свою? Аристократія: ее трепеталъ Борисъ, не дерзая въ это время рѣшиться ни на грозныя, ни на милостивыя мѣры; Аристократія заставляла его бояться тѣни, обманывала его, измѣняла ему, возмущала умы, отвлекала отъ Бориса сердца народа. Борисъ ясно видѣлъ, чувствовалъ это, и — не перенесъ: кровь хлынула у него изъ внутренности гѣла, среди великолѣпія Двора, когда онъ взиралъ на униженіе передъ собою тѣхъ, отъ кого долженъ былъ погибнуть онъ самъ и семейство его. Тогда началось и обнаружилось необузданное своеволие Аристократіи: въ немъ по-

гибли жена, сынъ Бориса, потомъ погибъ Самозванецъ, наконецъ погибъ и Шуйскій: оно оставило въ Россіи память *Семибоярщины*, предавало Россію Польшѣ, препятствовало побѣдѣ вѣры и народа, въ лицѣ Минина и Пожарскаго, и въ самомъ избраніи Михаила Романова. среди кликовъ восторга и радости, посѣяло для себя средства для новыхъ дѣйствій. Но мы все орудія въ рукѣ Провидѣнія, и все послужило потомъ ко благу и счастію Россіи.

Такъ должно смотрѣть на политическую завязку жизни Бориса, и рядъ тогдашнихъ событій государственныхъ. Но что же видѣлъ Карамзинъ? Вовсе не обозначивъ измѣненія системы Удѣловъ въ Дворскую Аристократію, онъ описываетъ событія, какъ началъ описывать ихъ съ самаго Рюрика, исчисляетъ погодно происшествія, подбираетъ, гдѣ видитъ худо, похваливаетъ, гдѣ кажется ему хорошо — и только! Но ему надобны средства для Искусства, и—вотъ Грозный является у него театральнымъ тираномъ, Полоніемъ Сумарокова; самыя нелѣпыя клеветы лѣтописей повторяются, чтобы въ Борисѣ непременно представить убійцу Дмитрія Царевича, какъ прежде повторялось все, что клеветалъ на Іоанна Курбскій: цѣль противорѣчій и ошибокъ составляетъ у него описание всѣхъ событій. Для чего это? Для того, чтобы составить разительную картину: мщеніе Божіе за кровь невинную. И вотъ всѣ яркія краски истощены, чтобы явить Бориса сначала сильнымъ, могущимъ, мудрымъ, въ 1-й главѣ XI-го тома *Исторіи Госуд. Россійскаго*. И словно театраль- ный громъ, вдругъ разражается надъ цареубійцею II-я глава того же тома! Будто такъ бываетъ въ жизни и будто такъ было и при Борисѣ? Нѣтъ, совсѣмъ не такъ! Риторика, фразы и сущая пустота и несообразность открываются при самомъ легкомъ взглядѣ Критики на все, что писалъ Карамзинъ о событіяхъ въ Россіи съ 1533-го до 1612-го года....

Какъ могъ Пушкинъ не понять поэзіи той идеи, что *Исторія не смѣетъ утвердительно назвать Бориса цареубійцею*? Что недостоверно для Исторіи, то достоверно для Поэзіи. И что могъ извлечь Пушкинъ, изобразя въ *Драмѣ*



своей тяжкую судьбу человека, который не имѣетъ ни снѣ, ни средствъ свергнуть съ себя обвиненіе передъ людьми и передъ потомствомъ! Клевета безвѣстная, глухо повторяемая народомъ, тѣлѣтъ въ душахъ Аристократовъ, когда имя *Самозванца* отдается изрѣдка въ слухъ Бориса (онъ зналъ объ этомъ за пять лѣтъ до новаго похода Лжедмитрія). Надъ головою его умножаются бѣдствія: Аристократія дѣйствуетъ — легкій слухъ превращается въ явный говоръ — Борисъ губить Романовыхъ, преслѣдуетъ Шуйскихъ — политика Польши обращается на Россію — и что казалось мечтою, дѣлается всесокрушающею дѣйствительностью. Какое великое развитіе тайнъ судьбы, какое обширное раздолье для раскрытія характеровъ, для изображенія Россіи, Польши, Бориса, Самозванца, Аристократіи, народа!

Все это утратилъ Пушкинъ, взявъ идею Карамзина. Остроумно замѣтилъ Критикъ *Европеица*, что содержаніе Драмы Пушкина составляетъ очищеніе преступленія, наложеннаго на совѣсть Бориса убійствомъ царственнаго отрока. Слѣдовательно, вся драма Пушкина есть, только исполненіе приговора, уже подписаннаго Судьбою? Критикъ *Европеица* обращаетъ это въ особенную похвалу Пушкину. Мы поговоримъ далѣе, можно ли было на сей идеѣ основать Трагедію. Теперь посмотримъ, какъ развилъ Карамзинскую идею Пушкинъ.

Замѣьте сначала, въ какую нерѣшительность поставила она нашего поэта. Онъ создаетъ *Драму* — все видятъ это, и самъ онъ знаетъ, но онъ не смѣетъ назвать ее *Драмою*, и говоритъ просто: *Борисъ Годуновъ*. Это похоже на дѣтскую игру — ребенокъ закрываетъ лицо руками и думаетъ, что онъ спрятался. Пушкинъ и не дѣлитъ Драмы своей на дѣйствія: двадцать два сплошныя явленія заключаютъ въ себѣ событія съ Февраля 1593-го до Іюня 1605-го года, въ теченіе семи слишкомъ лѣтъ, начинаясь избраніемъ Бориса на царство, оканчиваясь смертію сына Борисова, и провозглашеніемъ Царя Дмитрія: новая странность; но въ сторону мелочи — будемъ смотрѣть на что-нибудь важное.



Драма начинается разговоромъ Бояръ Шуйскаго и Воронинскаго. Шуйскій открываетъ своему собесѣднику, что Борисъ былъ убійцею Димитрія Царевича, и подсмѣивается надъ упорствомъ Бориса принять вѣнецъ Царскій. Объявление на Красной площади: еще разъ собраться народу, и снова идти уговаривать Бориса. — Въ третьей сценѣ является Борисъ, уже принявшій престолъ, и клянется право править Россіею.

Промежутокъ — *пяти лѣтъ*. — Вводная сцена: Инокъ лѣтописецъ и Отрепьевъ служба его, будущій Самозванецъ, еще робкій, еще не дерзающій на умыселъ, бесѣдуютъ въ кельѣ Чудова монастыря. Сны, вѣщающіе грядущее, тревожатъ юнаго служку. Инокъ подробно рассказываетъ ему повѣсть о убіеніи Царевича, которой Отрепьевъ *не знаетъ до тѣхъ поръ!* Инокъ смѣло называетъ Годунова убійцею.

Остатокъ Драмы, отъ сего мѣста, заключаетъ въ себѣ времени два года. Весь сей остатокъ дѣлится на *четыре* части.

Двѣ заключительныя сцены составляютъ особенный эпилогъ. Не произвольно выдумываемъ мы сіе раздѣленіе драмы Пушкина; оно является само собою.

Отд. I. *Умыселъ и бѣгство Самозванца*. Сцена Патріарха, которому доносятъ о бѣгствѣ Отрепьева, уже дерзко называвшаго себя Царевичемъ Димитріемъ, спасеннымъ отъ умысловъ Годунова. Патріархъ не рѣшается однакожь тревожить Царя извѣстіемъ объ этомъ. Сцена во Дворцѣ: Борисъ печалится, груститъ и высказываетъ самъ себѣ упреки своей совѣсти за убіеніе невиннаго Царевича. — Дѣйствіе переносится на Литовскую границу, гдѣ хитрою уловкою Самозванецъ спасается отъ царскихъ приставовъ. Слѣдовательно—Борисъ *уже знаетъ объ немъ*, уже беретъ сильныя предосторожности.

Отд. II. *Слухи объ успѣхахъ Самозванца и страхъ Бориса*. Пиръ въ домѣ Шуйскаго. Хозяинъ, оставшись наединѣ съ Пушкинымъ, искреннимъ другомъ своимъ, разговариваетъ о слухахъ изъ Польши: тамъ уже принимаютъ, чествуютъ Самозванца. Бояре страшатся смятеній и вы-

сказываютъ другъ другу взаимныя жалобы на правленіе Бориса. — Сцена во Дворцѣ: Борисъ хочетъ насладиться бесѣдою съ сыномъ и дочерью; но является главный шпіонъ его, Семень Годуновъ, съ докладомъ о пирѣ Шуйскаго и голицъ, прѣхавшемъ изъ Польши къ Пушкину. Шуйскій предвидѣлъ это — онъ самъ пришелъ донести обо всемъ. Борисъ ужасается (неужели онъ не знаетъ всей мѣры опасности?) и требуетъ удостовѣренія отъ Шуйскаго о томъ, точно ли Царевичъ былъ убитъ въ Угличѣ? Шуйскій начинаетъ рассказывать ему всѣ подробности: но рассказъ этотъ приводитъ въ трепетъ Бориса. Онъ видитъ, что на него идетъ точно Самозванецъ, и велитъ только усилить предосторожности.

Отд. III. *Дѣйствіе Самозванца въ Подольскъ и походы.* Иезуитъ и Самозванецъ оканчиваютъ какой-то разговоръ: приходъ Русскихъ изгнанниковъ, измѣнниковъ, Казаковъ, Поляковъ, готовыхъ идти съ Самозванцемъ; Самозванецъ принимаетъ ихъ; какой-то поэтъ подноситъ ему стихи. — Вводная сцена на балѣ у Мишска: Марина обольщаетъ Собоя Самозванца, и назначаетъ ему свиданіе ночью, въ саду. Большая вводная сцена сего свиданія: желая узнать, его ли самого, или только *имя* Царевича любить въ немъ Марина, Самозванецъ открываетъ ей свою тайну. Нерѣшительное слѣдствіе сего объясненія. Сцена перехода черезъ границу Русскую Самозванца и его сообщниковъ.

Отд. IV. *Успѣхи Самозванца и гибель Бориса. Дѣйствіе въ Москвѣ и разныхъ мѣстахъ Россіи.* Совѣтъ Бориса: онъ отправляетъ противъ Самозванца войско. Патріархъ совѣтуетъ принести въ Москву тѣло убіеннаго Царевича, и тѣмъ уличить Самозванца. Но это снова смутило совѣтъ Бориса. — Битва подъ Новгородомъ Сѣверскимъ. — Сцена Юродиваго, который *еще разъ* напоминаетъ Борису о смерти Царевича. — Двѣ различныя сцены похода Самозванца въ Россію: представленіе плѣнника предъ Самозванцемъ, и ночлегъ въ лѣсу, послѣ разбитія Самозванца, гдѣ онъ показываетъ свое удивительное хладнокровіе — Разговоръ Басманова съ Борисомъ, изъявляющимъ ему полную довѣренность. Борисъ идетъ послѣ сего принять

на аудієнціи гостей Нѣмецкихъ; Басмановъ остается одинъ; слышно смятеніе—Бориса выносятъ умирающаго: онъ велитъ оставить себя наединѣ съ сыномъ, и даетъ ему послѣднія наставленія.—Дѣйствіе въ ставкѣ Басманова: присланные отъ Самозванца уговариваютъ его измѣнить юному Феодору; Басмановъ колеблется.

*Эпизодъ.* Гонимы Самозванца являются въ Москвѣ, на Лобномъ мѣстѣ, уговариваютъ и возмущаютъ народъ. Толпы буйствуютъ, стремятся низвергнуть Феодора.—Послѣдняя сцена: Феодоръ, сестра и мать его въ заключеніи: Бояре идутъ къ нимъ; слышны шумъ и вопль; Бояре выходятъ, и объявляютъ народу, что Феодоръ и мать его отравили себя ядомъ.

Если разсматривать сцены, каждую отдѣльно, то большая часть изъ нихъ прекрасны—нѣкоторыя особливо отдѣланы полно, мастерски. Таковы: Инокъ Пименъ и Самозванецъ; монахи на Литовской границѣ; Рѣчь Патріарха въ совѣтѣ; Марина и Самозванецъ ночью въ саду; битва подъ Новгородомъ Сѣверскимъ; Юродивый и обѣ сцены эпизода. За то другія слабы, ничтожны; таковы: самая первая; также сцена, гдѣ Борисъ избирается на царство, та, гдѣ онъ потомъ груститъ; сюда же отнесемъ пиръ у Шуйскаго и приходъ Шуйскаго къ Борису послѣ того; всего несоотвѣтственнѣе сцена кончины Борисовой. Но такой отдѣльный разборъ сценъ будетъ всегда неопредѣлителенъ и ни къ чему не поведетъ. Притомъ, что одному нравится, то не нравится другому. Для примѣра, скажемъ, что мы видали многихъ, которые въ восторгѣ отъ сцены Курбскаго при переходѣ черезъ границу; намъ кажется, напротивъ, что это слишкомъ натянуто, изысканно, и не въ духъ времени. Другіе осуждаютъ сцену сраженія, гдѣ Маржеретъ и Розень говорятъ по-Французски и по-Нѣмецки: намъ кажется, что ничего не можетъ быть выразительнѣе и естественнѣе этой сцены. Не будемъ входить и въ мелкую критику выраженій. Все это, разборъ явленій и словъ, должно слѣдовать за разборомъ основаній идеи и развитія оной, и когда сии двѣ части неудовлетворительны, то красота подробностей плохая помощь поэту; при удо-

влетворительности ихъ мы готовы простить все частныя ошибки и погрѣшности.

Но общее ли мнѣніе всехъ есть то, что когда вы прочитаете Драму Пушкина, у васъ остается въ памяти множество чего-то хорошаго, прекраснаго, но несвязнаго, въ отрывкахъ, такъ, что ни въ чемъ не можете вы дать себѣ полнаго отчета? Вотъ голосъ простаго чувства всякаго читателя.

Входя критически въ подробности, соображая цѣлое и части, идею и исполненіе, Исторію и Драму, вы увѣритесь, что все это совершенно справедливо, и происходитъ:

1-е. Отъ бѣдности идеи, которая не позволила поэту развить ни характеровъ, ни подробностей, когда Драма только и живетъ ими.

2-е. Отъ несправедливаго понятія объ Исторической, или вообще Романтической Драмѣ. Судя по Драмѣ Пушкина, все отличіе ея отъ Классической Драмѣ состоитъ въ безсвязной пестротѣ явленій и прыжкахъ отъ одного предмета къ другому. Но это невѣрно: Романтическая Драма имѣетъ свои строгія правила и свой порядокъ дѣйствій, который, какъ замѣчаетъ Девиньи, можетъ быть, еще тяжелѣе Классическаго. Минимая легкость Романтизма есть свобода, данная ея условіемъ—выкупить ее болѣею отчетливостью.

Мы уже говорили о томъ, какъ много потерялъ Пушкинъ, оставивъ самую поэтическую сторону жизни Годунова — неопредѣленность обвиненія въ смерти Царевича, забывъ при этомъ истинную причину его паденія и успѣховъ Самозванца—буйную Русскую Аристократію, забывъ и политическія отношенія Польши къ Россіи—онъ, естественно, долженъ былъ потеряться въ планѣ и развитіи его. Если съ перваго явленія намъ сказали тайну Бориса, что сдѣлалась вся Драма Пушкина? *Le dernier jour d'un condamné* (*Послѣдній день приговореннаго къ смерти*). Въмѣсто того, чтобы изъ жребія Годунова извлечь ужасную борьбу Человѣка съ Судьбою, мы видимъ только приготовленія его къ казни, и слышимъ только стонъ умирающаго преступника. И въ этомъ размѣрѣ Поэтъ могъ бы теорить



обширно, свободно, могущественно, если бы раздвинуть предѣлы, далъ болѣе жизни и мѣры дѣйствию. Положимъ, что Пушкинъ создалъ бы *два* драмы. *Одну*, гдѣ показалъ бы намъ ненасытнаго честолюбца, его стремленіе къ трону, его злодѣйство, цареубійство, ужасъ симъ произведенный, тѣнь Царя въ лицѣ слабаго Феодора, рядомъ съ нимъ добродѣтельную сестру Бориса, и, кончивъ восшествіемъ на престолъ Бориса, въ *другой* драмѣ изобразилъ бы намъ честолюбца достигшимъ престола, славнымъ, могущимъ, почти тестемъ Королевскаго сына, готовымъ благодворить, быть великодушнымъ при удачѣ и въ счастіи. Вдругъ персть Судебъ кладетъ на него печать проклятiя. Въ то время, когда Природа затворяетъ нѣдра изобилію земли, когда казны Царской недостаетъ на окупленіе бѣдствій народа, нарѣченный зять злодѣя умираетъ. Тутъ страсти людскія кипятъ въ народѣ разбоями и буйствомъ, въ боярствѣ смутю и интригою. И среди ихъ проникаетъ слухъ о Димитріи — уже давно тревожившій душу цареубійцы. Онъ трепещетъ, губитъ тайно близкихъ враговъ, не смѣя однакожь рѣшиться на грозное мщеніе. Имя *Димитрія* передается въ Польшу: честолюбіе вельможъ, политика Польскаго Короля, несутъ эту бурю въ Россію. Она падаетъ на голову Бориса, и передъ ней исчезаютъ послѣднія любовь народа, смиренное лукавство Бояръ, счастіе и умъ Годунова—гибель и измѣна на полѣ битвъ, гибель и измѣна въ чертогахъ его, и — тогда только страшное сознаніе излетаетъ изъ собственныхъ устъ его—признаніе цареубійства! Намъ кажется, что, выразивъ такимъ образомъ въ обширной драмѣ мысль свою, поэтъ явился бы самообытнымъ создателемъ, и изумилъ бы насъ тѣмъ величіемъ, какое изумляетъ въ самомъ несовершенномъ объемѣ подобной мысли, въ *Мессинской невестѣ*, Шиллера, или *Очищеніи* (Die Schuld) Мюльнера.

Но что мы видимъ въ Драмѣ Пушкина? Борисъ, лицо намъ незнакомое, съ робкою совѣстью, съ унылою грустью, съ терзаніемъ души, является вдругъ, мимоходомъ, на минуту, принять вѣнецъ, и пять лѣтъ послѣ того пролетѣло безъ дѣйствiя! Другая сцена: Борисъ груститъ, какъ не-



опытный юноша, какъ будто въ 20 лѣтъ правленія, при Феодорѣ и лично, онъ не зналъ ни вѣнца, ни бояръ, ни народа? Онъ приходитъ потомъ еще разъ полюбоваться на дѣтей, что-то разыгрывается въ немъ, но едва успѣлъ ему Шуйскій напомнить о царевичѣ, Борисъ бѣжитъ со сцены. Опять является онъ мудрымъ Царемъ, въ думѣ своей — неосторожный Патріархъ напоминаетъ о смерти Царевича, и Борисъ *потыится*, и тотчасъ удаляется. Вдругъ видимъ мы его выходящаго изъ Собора, гдѣ проклинали Самозванца: Юродивый ему на встрѣчу, съ прежнимъ, извѣстнымъ упрекомъ, и Борисъ не радъ ничему. Но вотъ *полноценная* сцена: только что разговорился Борисъ о своихъ великихъ намѣреніяхъ, какъ спѣшитъ за кулисы и оттуда выносятъ его проговорить 65 стиховъ *политическаго* завѣщанія сыну. Это ли Борисъ *Историческій*? И вообще таковъ ли долженъ быть страшный преступникъ, въ которомъ заключается сущность цѣлой Драмы?

Характеръ Самозванца едва-ли вѣрнѣе и естественнѣе Борисова; но, по крайней мѣрѣ, въ немъ есть жизнь, по крайней мѣрѣ, онъ удалъ, буренъ, порывистъ. Мечтатель въ сценѣ съ Пименомъ, онъ ловко отдѣлывается въ корчмѣ, щегольски отличается у Вишневецкаго и Мнишека, страстенъ у фонтана, и точный искатель приключеній въ трехъ сценахъ: переходъ черезъ границу, допросъ плѣнника, ночлегъ послѣ разбитія. Совсѣмъ *не таковъ* былъ Самозванецъ Историческій, сколько можемъ мы представить его себѣ: но и созданный Пушкинымъ, влѣдствие мысли его, какъ исполнитель кары за преступленіе Бориса, онъ — можетъ похвастаться сноснымъ.

При ошибкѣ въ двухъ главныхъ характерахъ, гдѣ же Польша, гдѣ Боярство Русское, гдѣ народъ, гдѣ подробности событий? Все это скрыто за кулисами. Только Шуйскій непрерывно вертится около Бориса, стережетъ Москву, проговаривается Воротынскому, отпирается отъ этого, пируетъ, неосторожно заговаривается съ Пушкинымъ, доноситъ на него, пугаетъ Бориса, поправляетъ неосторожность Патріарха, берется уговаривать народъ. Такую же роль играетъ у Самозванца неизбѣжный Пушкинъ (кото-

рый, по Исторіи, только присланъ былъ въ Москву послѣ смерти Бориса, съ письмами Самозванца къ народу). И Шуйскій и Пушкинъ наконецъ исчезаютъ; другіе во все время только безмолвствуютъ въ совѣтѣ, на пиру, или, сказавъ по нѣскольکو словъ, мелькаютъ мимо: Мстиславскіе, Романовы, Салтыковы и прочіе, внослѣдствіи столь важныя лица, по своему вліянію, не оттѣнены никакими красками. Самый Басмановъ только въ одной сценѣ кажется не тѣнью, а живымъ человѣкомъ. Полюпу, Іезуитовъ, Пановъ, шляхту Польскую, важное участіе всего этого въ дѣлѣ Самозванца, находимъ только въ двухъ небольшихъ, мимолетныхъ явленіяхъ, не представляющихъ никакого характеристическаго отличія мѣста и времени. Марина отцвѣчена сильно, но безъ пользы, и мы готовы спросить: что слѣдуетъ изъ яркаго ея очерка?

Будучи столь неудовлетворителенъ въ отношеніи *Исторической* правды, Борисъ Годуновъ долженствуетъ быть также неудовлетворителенъ и въ *Драматическомъ* изыскаствѣ, ибо, уклонясь отъ Исторіи, поэтъ не замѣнитъ сего уклоненія ничѣмъ фантастическимъ. Нѣтъ единства ни въ дѣйствіи, ни въ развитіи частей, ни въ проявленіи характеровъ; нѣтъ жизни въ подробностяхъ: все совершается за глазами зрителя и читателей; едва дѣйствіе хочетъ развернуться, едва дѣйствующіе знакомятся съ нами, какъ все опять исчезаетъ, и мы не знаемъ ни дѣйствія, ни лицъ, пока они не придутъ вновь и не разскажутъ намъ, что сдѣлалось, пока они скрывались отъ насъ за кулисами.

Изъяснять здѣсь, что Романтическая Драма основывается на строгомъ единствѣ дѣйствія, не только дастъ обширныя средства развитію подробности и характеры въ дѣйствіи, но и требуетъ непремѣнно сего развитія; что она имѣетъ свои вѣрныя, неразрушимые законы, было бы излишне: неужели думаютъ, что, допуская въ дѣйствіе даже цѣлую жизнь человѣка отъ рожденія до смерти его, она становится черезъ то безпорядочнымъ смѣшеніемъ различныхъ явленій? Напротивъ: она гибнетъ безъ единства; она составляетъ изъ цѣлой жизни и изъ толпы дѣйствующихъ нѣчто *единое и чистое*. Въ ней нѣтъ только *Классическихкихъ*

*сочиняет* и условій, которыя безобразили бы истину и жизнь; она только составляетъ противоположность Классической Драмѣ тѣмъ, что Классическая говоритъ — Романтическая живетъ, Классическая рассказываетъ — Романтическая дѣйствуетъ; та выставляетъ образчики и прячется — эта разстилаетъ все вполнѣ, и сама является на сценѣ. Не думаемъ, чтобы Пушкинъ хотѣлъ нанизать только *Историческія сцены*; въ семь случаевъ, его сочиненіе, сжатое, краткое, еще меньше выдерживаетъ судъ Критики: нѣтъ! онъ хотѣлъ создать *Драму*, и въ этомъ отношеніи должно смотрѣть на его Бориса Годунова.

Вмѣсто всякихъ объясненій Романтической Драмѣ, и изложеній теоретическихъ, мы рѣшаемся представить здѣсь практическій примѣръ ея, взятый изъ Шекспира. Его драма: *Король Ричардъ II* (King Richard II) имѣетъ нѣкоторое сходство въ положеніи дѣйствующихъ лицъ съ сочиненіемъ Пушкина. Такъ же, какъ Годуновъ, сильный Ричардъ самовластно управляетъ Англіею; бѣдный изгнанникъ возстаетъ противъ него, и въ нѣсколько мѣсяцевъ Ричардъ былъ низвергнутъ и умерщвленъ, а противникъ его началъ царствовать подъ именемъ Генриха IV-го.

Въ порядкѣ событій, Шекспиръ слѣдовалъ совершенно Исторіи: прочтите Юма, Ливгарда; событія сии чрезвычайно просты: изумляетесь, не зная драмы Шекспира, и спрашиваете — можно ли извлечь изъ нихъ что-либо драматическое? Но гениіи поэта умѣлъ изобразить сии событія въ очаровательныхъ драматическихъ картинахъ, умѣлъ найти въ нихъ и единство, и характеры, и подробности.

Ричардъ II-й вступилъ на престолъ въ 1377-мъ году, будучи одиннадцати лѣтъ. Англіею управляли дяди Ричарда во время его несовершеннолѣтія, ограничивали власть его, даже оскорбляли лично его самого. Событія были довольно бурны, пока самъ Ричардъ не вступилъ въ управленіе, въ 1399 году. Народъ любилъ юнаго Короля; все казалось тихо и благополучно; но вскорѣ характеръ Ричарда измѣнился: онъ обременилъ народъ, покусился на права его, жестоко мстилъ врагамъ своимъ, безчеловѣчно умертвилъ старика дядю своего, Герцога Глостер-

скаго. Сынъ другого его дяди Герцога Ланкастерскаго, Генрихъ Болингброкъ, былъ обвиненъ въ порицаніи Короля. Онъ утверждалъ, что это злобная клевета, и вызывалъ обвинителя своего, Герцога Норфолькскаго, на *Божьи суды*. Когда оба соперника, равно опасные Королю, сошлись для поединка, Король объявить имъ обоимъ изгнаніе. Отецъ Болингброка скончался отъ горести; Король захватилъ все его наследственное имѣніе. Онъ отправился потомъ укрощать утѣшенную имъ Ирландію, и въ это время Болингброкъ явился въ Англію, будто бы за требованіемъ своего наследства. Отсюду стеклись его сообщники; народъ пристать къ нему; Правитель Англіи въ отсутствіе Ричарда, Герцога Йоркскій, третій дядя Короля, принужденъ былъ уступить. Ричардъ, съ притворною почестью принятый Болингброкомъ, по возвращеніи своемъ изъ Ирландіи, былъ объявленъ плѣнникомъ, и когда побѣдитель и плѣнный Король прибыли вмѣстѣ въ Лондонъ, сила Болингброка заставила Парламентъ возобновить дѣло о убійствѣ Герцога Глостерскаго, обвинить, низвергнуть Ричарда, и отдать корону Болингброку. Тутъ открылся заговоръ Герцога Авмерльскаго, сына Герцога Йоркскаго, въ пользу Ричарда — казнь была участію заговорщиковъ (кромѣ Герцога Авмерльскаго); Ричардъ, возбуждавшій опасеніе, былъ измѣнически умерщвленъ въ темницѣ. Что сдѣлалъ поэтъ? Онъ взялъ для своей Драмы только два послѣдніе года жизни Ричарда. Вотъ очеркъ его творенія:

*Дѣйствіе I.* Торжественное обвиненіе между Болингброкомъ и Норфолькомъ, и опредѣленіе поединка. — Сцена между отцомъ Болингброка и герцогинею Глостерскою. — Посудинокъ, во всемъ его величій; но едва начать онъ, Король прекращаетъ его, и объявляетъ изгнаніе соперникамъ; тщетно молитъ его о пощадѣ отецъ Болингброка. Трогательное прощаніе родныхъ. — Ричардъ готовится въ Ирландію; онъ торжествуетъ, слыша о тяжелой болѣзни Герцога Ланкастерскаго.

*Дѣйствіе II.* Смертный одръ Герцога Ланкастерскаго. Герцогъ Йоркскій. Король и Королева являются къ нему:



дерзкія насмѣшки Ричарда. Смерть и отнятіе имѣнія Герцога Ланкастерскаго. Король отправляется въ Ирландію. Сцена вельможъ, передающихся Болингброку, при первомъ слухѣ появленія его въ Англіи. Горесть Королевы. Герцогъ Йоркскій идетъ на Болингброка. — Свиданіе и сцена между нимъ, Болингброкомъ и Лордами измѣнниками. Безсиліе его противиться Болингброку. — Салсбюри, начальникъ Ричардовыхъ войскъ, видитъ, какъ всѣ они разбѣгаются отъ него.

*Дѣйствіе III.* Сцена между Болингброкомъ и захваченными имъ вельможами Ричарда. — Ричардъ и Герцогъ Авмерльскій являются въ Англію. — Войско Болингброка окружаетъ крѣпость Флинтъ, гдѣ скрылся Ричардъ, увидѣвъ, что всѣ войска его разбѣжались. Переговоры съ нимъ и необходимость Короля уступить сопернику. — Сцена Королевы, при извѣстіи объ этомъ.

*Дѣйствіе IV.* Парламентъ. Судъ надъ убійцами Герцога Глостерскаго. Герцогъ Йоркскій приноситъ отрѣченіе Ричарда: споры, явленіе самого Ричарда, его отрѣченіе личное — Смятеніе, жалость, имъ возбужденныя. Генрихъ принимаетъ корону.

*Дѣйствіе V.* Прощаніе Ричарда при разлукѣ съ Королевою. — Сцена между Герцогомъ и Герцогинею Йоркскими: отецъ открываетъ умыселъ сына противъ Генриха. Раскаяніе, слабость виновнаго. Отецъ снѣвши обвинить его, мать проситъ за него. — Явленіе его передъ королемъ. — Злые прислужники, изъясняющіе слова Короля о Ричардѣ: Have I no friend' will rid me of this living fear (неужели нѣтъ у меня друга, который избавилъ бы меня отъ этого живаго страха)? — Они бѣгутъ въ темницу Ричарда. — Сцена въ темницѣ и убіеніе Ричарда. Торжествующій Генрихъ. Къ нему приносятъ гробъ Ричарда. Негодованіе Генриха и упреки его убійцамъ.

Не знаете, чему болѣе удивляться въ этомъ превосходномъ созданіи: искусству ли, съ какимъ извлечено единство дѣйствія. Драмѣ: связи ли подробностей, величественно, богато раскрытыхъ поэтомъ, вѣрности ли, съ какою



слѣдоваль Поэтъ Исторіи\*), или простотѣ его созданія, и глубокому познанію характеровъ, угаданныхъ Поэтомъ въ сухой лѣтописи? Нѣсколько словъ о *характерахъ*: они должны были быть точно таковы, какъ изобразилъ ихъ Шекспиръ: легкомысленный, гордый, жестокій по прихоти, не по душѣ, потомъ упавшій духомъ Ричардъ; хладнокровный, величественный въ самомъ преступленіи, увлеченный успѣхомъ, смѣсь добра и зла, Боллингброкъ; слабый, вѣрный обязанности, полагающій добродѣтель въ исполненіи словъ Властителя, Герцогъ Йоркскій, не отступающій отъ Ричарда, пока вѣнецъ былъ на головѣ его, потомъ столь же преданный Генриху; Герцогъ Авмерльскій, пылкій, добрый, но ничтожный; Герцогиня Йоркская—истинная женщина и мать; Королева—трогательная жертва бѣдствій; Норфолькъ, Нортумберландъ, Салисбюри, Архіепископъ Кантербурійскій, Экстонъ—каждый съ своимъ рѣзкимъ типомъ, всѣ отбѣненныя ярко, сильно, живые, движимые Историкъ можетъ изучать Шекспирову Драму, чтобы послѣ того лучше понимать Юма и лѣтописцевъ Англійскихъ! Какія разительныя положенія, какіе неожиданные переходы страстей и отношеній, какое искусство внушить состраданіе, поселить ужасъ, увлечь читателя и зрителя въ положеніе дѣйствующаго лица... По общему суду критиковъ, это еще *не лучшая* изъ Историческихъ Драмъ Шекспира.

Впрочемъ мы не для того выставлемъ здѣсь Шекспира, чтобы по его гению осудить нашего Поэта: уродливый мужикъ этотъ, въ продолженіе 20 годовъ, написалъ 40 пьесъ, и въ теченіе многихъ лѣтъ ежегодно выставлялъ по драмѣ, а эти драмы были—*Ромео и Юлія, Гамлетъ, Ричардъ II-й*, и т. п., съ прибавкою еще каждое лѣто по одной Комедіи. Но мы говоримъ о Шекспировомъ Ричардѣ для поясненія словъ нашихъ, что *Борисъ Годуновъ* не выдерживаетъ суда

\*) Только одно отступленіе сдѣлать Шекспиръ: представилъ Королеву, супругу Ричарда; но его первая супруга уже умерла въ это время, и онъ былъ только обрученъ съ молодѣющею Изабеллою, Французскою Принцессою, но свадьба отложена была до ея совершеннолѣтія.

Критики, разсматриваемый, какъ Драматическое созданіе, и примѣръ Шекспира надобенъ былъ намъ для опредѣленія, что и какъ извлекается изъ чего-нибудь подобнаго великій Драматическій гений.

Для большаго поясненія, мы укажемъ здѣсь еще на твореніе, мало извѣстное Русскимъ читателямъ. Въ бумагахъ Шиллера, послѣ смерти его, найденъ былъ полный планъ Трагедіи: *Димитрій Самозванецъ*, и нѣсколько сценъ, уже написанныхъ. Намъ кажется, весьма любопытно слѣдить здѣсь, какую идею и какъ образовать изъ Исторіи Бориса и Самозванца Шиллеръ, безъ сомнѣнія, самый Драматическій гений новой Поэзіи. Завязку его Драмы составляетъ *Самозванецъ собственно*. Шиллеръ преображаетъ многое по своему: но—повѣрять ли? Въ его Драмѣ найдемъ мы болѣе даже Исторической правды, нежели въ Драмѣ Пушкина. Отчего? Поэтъ угадалъ основную идею событій; подробности его поэтически полны, стройны, разительны, великолѣпны и частныя невѣрности исчезаютъ для насъ въ истинѣ Поэзіи. Конечно, не должно искать мѣстности, національности въ Шиллеровомъ сочиненіи, но судите объ немъ, какъ о поэтическомъ созданіи, и оно невольно изумитъ васъ. Вотъ очеркъ его сочиненій. *Дѣйствіе I*: Сеймъ въ Краковѣ. Самозванецъ проситъ защиты Короля и Рѣчи Посполитой, какъ сынъ Іоанна, у котораго огнять престолъ хищникъ, покушавшійся на самую жизнь его въ младенчествѣ; но Провидѣніе спасло Димитрія, и онъ вѣрнѣе, что Іоаннъ былъ отецъ его. Смятеніе Сейма; раздоръ партій. Сапѣга, другъ Бориса, разрушаетъ сеймъ своимъ veto. Но король позволяетъ принять участие въ предпріятіи Димитрія Мишеску и другимъ. Честолюбивая Марина составляетъ душу сообщниковъ Димитрія. Она жаждетъ престола, какъ другіе жаждутъ славы, користи, приключеній.

*Дѣйствіе II*: Отдаленный монастырь, гдѣ скрывается отъ свѣта монахиня Марфа, бывшая супруга Грознаго, мать истиннаго Димитрія. Бѣдный рыбакъ приноситъ въ обитель вѣсти о появленіи Димитрія въ Польшѣ. Изумленіе, радость, ужасъ Марфы: она готова сомнѣваться въ смерти

своего сына; она готова назвать сыномъ чужаго чело-  
вѣка, если видитъ въ немъ мстителя своему злодѣю. Явля-  
ется Архіерей, присланный отъ Бориса, чтобы потребо-  
вать отъ нея обличенія Самозванца: Марфа отказывается,  
и изъ глуши обители поражаетъ ужасомъ гордаго Царя  
на престолѣ. Сцена перехода Самозванца черезъ границу  
Россіи: передъ нимъ разстилаются раздольныя Русскія  
страны: радость воиска, грусть Дмитрія, при мысли, что  
война опустошитъ сіи прекрасныя области. Возмущеніе  
въ деревнѣ, гдѣ жители пристають къ Дмитрію.

Къ сожалѣнію, здѣсь оканчиваются неполныя сцены II-го  
дѣйствія. Остальное Шиллеръ успѣлъ только изложить  
краткими замѣтками. Вотъ какъ хотѣлъ онъ продолжать  
и окончить свою драму.

Станъ Дмитрія. Онъ разбитъ: но Борисъ не смѣетъ  
двинуться на него послѣ побѣды, видя дурное расположе-  
ніе войскъ своихъ. Дмитрій готовъ предаться отчаянію.  
Казакъ его бунтуетъ. Станъ Бориса. Удаленіе Бориса въ  
Москву (куда бросился онъ искать подкрѣпленія войску  
и утушить измѣну) производитъ безпорядки въ его лагерь.  
Салтыковъ измѣняетъ.—Борисъ деспотствуетъ въ Москвѣ.  
Не смотря на вѣрность многихъ Бояръ, онъ страшится  
общаго бунта. Сцена между имъ и Архіереемъ (какая? не-  
извѣстна). Отвсюду приходятъ пагубныя вѣсти: Бояре бѣ-  
гутъ къ Дмитрію, города сдаются, народъ бунтуетъ,  
войско почти все переходитъ къ Самозванцу. Сцена между  
Борисомъ и Ксенією. „Какъ отецъ (выписываемъ здѣсь  
вполнѣ собственныя слова Шиллера), Борисъ долженъ  
возбуждать состраданіе: въ разговорѣ съ дочерью онъ  
открываетъ ей всю свою душу. Онъ восшелъ на престолъ  
преступными средствами, но бывши Царемъ, онъ испол-  
нялъ свои великія обязанности: онъ отецъ своего народа,  
и думаетъ только о благѣ его. Если недовѣрчивъ, строгъ,  
даже свирѣпъ, то это только для личной своей безопас-  
ности. Своимъ умомъ онъ столько же превышаетъ все  
его окружающее, сколько и своимъ саномъ. Продолжи-  
тельное наслажденіе величіемъ, привычка повелѣвать, са-  
мовластіе его правленія—такъ увеличили его честолюбіе,

что безъ трона онъ не дорожитъ жизнью, не можетъ существовать. Онъ не обольщаетъ себя слѣдствіемъ настоящихъ событій, но хочетъ остаться Царемъ до послѣдней минуты, и не унижается, ибо онъ рѣшился умереть. Онъ сусвѣрно вѣритъ предчувствіямъ, и что прежде показалось бы ему незначительнымъ и неважнымъ, какое-нибудь частное событіе почтетъ онъ голосомъ Судьбы, и оно рѣшитъ жребій его. За нѣсколько времени передъ смертью, характеръ его переменяется. Спокойно слушаетъ онъ самыя несчастныя вѣсти, стыдится глѣба, какой оказывалъ прежде, спрашиваетъ у мѣстниковъ всѣ подробности, и награждаетъ ихъ. Когда видитъ онъ событіе, по мнѣнію его, предвѣщающее ему окончательное рѣшеніе судьбы его, онъ удаляется молча, хладнокровно, рѣшительно. На минуту является онъ еще въ платьѣ монаха; отправляетъ дочь свою въ монастырь, думая, что сыну его, невинному дитяти, нечего опасаться. Онъ принимаетъ ядъ, и скрывается въ свои уединенныя чертоги умереть тихо и одиноко. Эти слова Шиллера не показываютъ ли, какъ глубоко, какъ поэтически понималъ и хотѣлъ онъ изобразить Бориса, не смотря на свои ошибки Историческія. Если бы Шиллеръ зналъ еще поэзію истинныхъ событій, какую прелесть и силу получила бы его Драма!

Романовъ является съ войскомъ. Онъ любитъ Ксенію, и хочетъ остаться вѣрнымъ потомству Бориса. Онъ спѣшитъ къ войскамъ, собраннымъ противъ Димитрія. Бояре и народъ бунтуютъ въ Москвѣ; Ксенія и Феодоръ въ оковахъ; послы отправлены къ Димитрію. Измѣны и притворное великодушіе довершаютъ торжество Димитрія. Онъ посылаетъ за инокинею Марою; тутъ является неизвѣстный человѣкъ — убійца истиннаго Царевича, и открываетъ ему, что онъ Самозванецъ. Ужасъ, изумленіе, отчаяніе Димитрія. Въ бѣшенствѣ, онъ убиваетъ страннаго своего обличителя. Борьба его съ самимъ собою; рѣшеніе — продолжать прежнюю роль; но спокойствіе, счастье его исчезли: не стало прежняго Димитрія, самоувѣреннаго, сильнаго, пламеннаго. Свиданіе съ Марою: съ ужасомъ видитъ она въ немъ — отвратительнаго Самозванца! Молчаніе и при-



творство; мрачное, зловѣщее что-то въ самыхъ горжествахъ, какими знаменуется вступленіе Димитрія въ Москву.

Романовъ въ темницѣ. Ксенія успѣваетъ скрыться у Мары; Димитрій видитъ ее и влюбляется въ нее. Онъ уже Царь; но его помощники чужеземцы; совѣсть терзаетъ его; бунство поляковъ оскорбляетъ народъ; нарушение Димитріемъ обычая производить ненависть Димитрій хотѣлъ бы отказаться отъ Марины, но это невозможно — Димитрій видитъ бездну, на которой стоитъ тронъ его. Марина въ Москвѣ. Притворство и коварство взаимное. Ксенія отравлена ядомъ по повелѣнію Марины. Печаль, отчаяніе Димитрія; но великолѣпная свадьба уже готова. Едва отступивъ отъ брачнаго алтаря, Марина унижаетъ Димитрія своимъ презрѣніемъ, объявляя ему, что ей давно извѣстно было самозванство, и что не самъ онъ, не любовь его, но только престолъ Московскій обольщали ее. Шуйскій предводительствуетъ между тѣмъ заговоромъ; бунтъ въ Москвѣ; смерть Димитрія (мы не упоминаемъ здѣсь объ эпизодѣ Романова, и Лодонски и Казиміра, вставочныхъ лицъ).

Разсматривая этотъ планъ Шиллера, неконченный, не-обработанный, едва наброшенный, согласимся, что, какъ Поэтъ Драматическій, Шиллеръ хотѣлъ создать нѣчто великое, превосходное; что онъ глубоко проникать въ возможность страстей; что онъ успѣлъ дать дѣятельную жизнь своему созданію. Его Димитрій Самозванецъ сталъ бы выше Бориса Годунова, созданнаго нашимъ Поэтомъ ..

Но оставимъ всѣ сравненія и обратимся къ рѣшительному выводу о сочиненіи Пушкина. Мы сказали, что *Бориса Годунова* должно почесть окончательнымъ твореніемъ Пушкина, до *нынѣшняго времени*; что въ немъ соединены всѣ его достоинства, всѣ недостатки, весь Пушкинъ, и вся его Поэзія, каковы онъ и она *были донынѣ*, и являются въ *нынѣшнемъ* своемъ состояніи. Когда вышелъ *Борисъ Годуновъ*, мы замѣтили, что онъ есть новый шагъ нашего Поэта впередъ; что Пушкинъ, разсматриваемый какъ *русскій лингвистифантъ*, является въ немъ съ новымъ



блескомъ: по духу *Гербенштейна* и, какъ современный Драматистъ XIX вѣка, онъ далеко не достигаетъ совершенства, коюго могъ достигнуть. Мы разсмотрѣли теперь подробно Бориса Годунова и указали на нѣкоторыя основанія и образцы Романтической Драмы — остается повѣрить справедливость прежнихъ нашихъ выводовъ симъ разсмотрѣнiемъ и указанiемъ \*).

*Изъ „Московского Телеграфа“.*

---

\*) Продолженiе статьи въ слѣдующихъ номерахъ „Московского Телеграфа“ не оказалось.

Сводъ по поводу драматическаго режисера 1883 года, помѣщенный въ „Московскомъ Телеграфѣ“ состоялся въ „Русскомъ Институтѣ“, № 34, стр. 270—271 по „Литературному Олѣгиву“ тамъ же, № 69, стр. 546—547 („Домикъ въ Коломенѣ“).

Сводъ статей Литературы 1883 года, вѣнчающiй отношенiе вообще къ библиографическому изданiю „Скопченскъ Н. Яковлевъ“, стр. 11—22 („Литературное“). По поводу Н. А. Осиповича тамъ же, стр. 115—116 („Къ началу А. С. Пшеницы тамъ же, стр. 204—207 „Послѣдствiя А. С. Пшеницы“).

*Примѣч. В. Зелинскаго.*

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

именъ и предметовъ, относящихся къ литературѣ.

- „Абидосская Певѣста“, Байрона. 206.  
 Аксаковъ, С. 42.  
 „A mademoiselle \*\*\*“, просившей меня прислать ей романъ А. С. Пушкина: „Евгеній Онѣгинъ“, стихотвореніе Б. Р. 42.  
 „Амуръ и Гименей“. 209.  
 „Ангель“. 210.  
 „Андрей Шенье“. 183, 187, 210, 212.  
 „Анчаръ“. 184, 190, 209.  
 Апулей. 29.  
 Аретинъ. 29.  
 Аристотель. 135.  
 Аристофанъ. 29.  
 Аріостъ. 25, 29, 204.  
 „А. С. Пушкину“, посланіе Н. Катенина. 171.  
 „А. С. Пушкину при прочтеніи его сказки о царѣ Салтанѣ“, Н. Гнѣдича. 171.  
 Астъ. 197.  
 Байронъ. 2, 4, 9, 14, 16, 24, 26, 29, 31, 32, 83, 106, 107, 155, 161, 176—179, 181—183, 185, 199, 201, 205, 206, 209,—211, 215.  
 Баратынскій. 87, 207, 209.  
 „Барышня-Крестьянка“. 136, 139.  
 Батюшковъ. 50, 155, 175.  
 Бауръ-Лорміанъ. 195.  
 „Бахчисарайскій Фонтанъ“. 10, 26, 41, 107, 109, 206—208, Бенда. 197.  
 Бевъ-Джонсонъ. 135.  
 „Беппо“, Байрона. 206.  
 Берне. 29, 199.  
 Боде. 197.  
 Бомонъ, Франсисъ. 135.  
 „Борисъ Годуновъ“. 28, 42—136, 139, 148, 150, 163—170, 193—242.  
 Борнсъ. 199.  
 „Бородинская Годовщина“. 153, 162.  
 „Братья-Разбойники“. 104, 209.  
 „Бѣсы“. 183, 187, 209.  
 Булгаринъ. 174—185, 191.  
 Бюргеръ. 197.  
 „Вакхическая Пѣсня“. 183, 187, 209.  
 „Валленродъ“, Мицкевича. 201.  
 „Валленштейнъ“, Шиллера. 198, 217.  
 Вандикъ. 109.  
 Веневитиновъ. 207.  
 Вернеръ. 197, 216, 218.  
 „Вертеръ“, Гёте. 198.  
 Виландъ. 29.  
 „Вильгельмъ Мейстеръ“, Гёте. 198.  
 „Вильгельмъ Телль“, Шиллера. 198, 218.  
 Вильсонъ. 209.

- де-Виньи, А. 133, 200, 219, 230.  
 Вите. 107.  
 Водевортъ. 199.  
 „Возрожденіе“. 209.  
 „Война“. 183, 188, 209.  
 Вольтеръ. 29, 47, 108, 198.  
 „Воспоминаніе“. 183, 188, 209.  
 „Выстрѣлъ“. 136, 139.  
 „Вѣстникъ Европы“. 13, 19, 21, 22, 27, 28.  
 Вяземскій, П. А. кн. 41, 207.  
 „Галатея“. 7—13, 42.  
 „Гамлетъ“, Шекспира. 237.  
 „Ганимедель“, В. Тешлякова. 157.  
 Гегель. 199.  
 Геерсень. 197.  
 Гейне. 197.  
 „Генрихъ IV“, Шекспира. 220.  
 Гердеръ. 101, 107, 196,—198.  
 „Германъ и Доротея“, Гете. 198.  
 Гёте. 106, 107, 155, 162, 163, 177—179, 197—199, 206, 212, 216—219.  
 „Гирлянда“. 130, 136.  
 Глинка, С. (Мечтатель). 46—48.  
 Глинка, О. Н. 207.  
 „Глобусъ Французскаго Обозрѣнія“. 200.  
 Гнѣдичъ, Н. 171.  
 Гогартъ. 38.  
 Гомеръ. 15, 107, 201, 206.  
 Гораций. 188.  
 „Горе отъ Ума“, Грибоѣдова. 18.  
 „Городъ пышный“. 183, 188.  
 Гофманъ. 197, 199.  
 „Графъ Нулинь“. 104, 209.  
 Грѣзь. 183.  
 „Гречянкъ“. 209.  
 Гримальпарцеръ. 199, 217.  
 „Гробовщикъ“. 136, 139.  
 „Гробъ Анакреона“. 209.  
 „Гробъ Юноши“. 209.  
 Гумбольдтъ. 197.  
 Гуфеландъ. 197.  
 Гюго, В. 106, 199,—202, 219. | „Гяуръ“, Байрона. 201, 206.  
 „Дамскій Журналъ“. 26, 42, 44—48, 185—193.  
 Дантъ. 29, 106, 202, 206, 215.  
 „Двѣнадцать спящихъ цѣвъ“, Жуковскаго. 205.  
 „19-го Октября“. 209.  
 Делавинъ, Казимиръ. 33, 34.  
 „Делибашъ“. 209.  
 Делиль. 195.  
 Дельвигъ. 207.  
 „Демонъ“. 182, 183, 188, 209.  
 Державинъ. 36, 155, 175, 176, 186, 190, 195, 202—204, 207, 215.  
 „Димитрій Самозванецъ“, Шиллера. 238.  
 „Димитрій Самозванецъ“. 28, 36.  
 Дмитриевъ, М. А. 195.  
 Домбаль. 85.  
 „Домикъ въ Коломнѣ“. 242.  
 „Домовому“. 188, 209.  
 „Донъ-Жуанъ“, Байрона. 139, 201, 206.  
 „Донъ-Карлосъ“ Шиллера. 217.  
 „Дорожныя Жалобы“. 209.  
 „Дочери Кара-Георгія“. 209.  
 Дракъ. 135.  
 „Древо Яда“. 184, 190.  
 „Друзьямъ“. 209.  
 „Евгеній Вельскій“. 3, 13, 22, 24.  
 „Евгеній Онегинъ“. 1—42, 106, 107, 109, 119, 139—150, 161, 170—174, 193, 206, 208, 242.  
 „Европеецъ“. 164—170, 226.  
 „Еще о Борисѣ Годуновѣ, стихотвореніи А. С. Пушкина“, Н. Ср. Камашева. 104—120.  
 Жанъ-Поль. 197.  
 „Желаніе Славы“. 183, 188.  
 „Женихъ“. 214.  
 Жуковский. 32, 49, 50, 83, 155, 175, 193, 195, 202—207.  
 „Загадка“. 209.

- „Замѣчанія на сочиненіе А. С. Пушкина: *Борисъ Годуновъ*“, В. Плакенина. 48—83.  
 „Земледѣльческій Журналъ“. 85.  
 „Иванъ Выжигинъ“ Булгарина. 28.  
 „Иліада“. 135, 182, 201.  
 „Илья Муромецъ“, Карамзина. 205.  
 Ирвингъ, В. 138, 139.  
 „Исторія Государства Россійскаго“, Карамзина. 22, 103, 222, 225.  
 „Кавказскій Плѣнникъ“. 106, 107, 109, 206—208.  
 „Кавказъ“, Пушкина. 158, 209.  
 „Кавказъ“, В. Тенякова. 155.  
 „Казбекъ“. 151.  
 Кальдеронъ. 198, 216.  
 Камашевъ, П. Ср. 104—120.  
 Камденъ. 135.  
 Кантемиръ. 155.  
 Кантъ. 196.  
 Карамзинъ. 43, 45, 49, 94, 96, 106, 107, 112, 132, 162, 195, 203, 205, 222, 223, 225, 226.  
 Катенинъ, П. 171.  
 Кернеръ. 197.  
 „Киргизъ-Кайсакъ“. 48.  
 Кирѣевскій, П. В. 107.  
 „Клеветникамъ Россіи“. 153.  
 Клопштокъ. 26.  
 „Коварство и Любовь“, Шиллера. 96, 198.  
 Козловъ. 207.  
 Колериджъ. 199.  
 „Колокольчикъ“. 105, 139.  
 „Король Ричардъ II“, Шекспира. 234, 237.  
 „Корсаръ“, Байрона. 201.  
 Краббъ. 199.  
 Крейцеръ. 196.  
 „Кромвель“. 107.  
 Крыловъ. 25, 50, 175—177, 186, 190.  
 „Къ Вафиу“. 188.  
 „Къ Козлову“. 183, 188.  
 „Къ Морю“. 183, 188, 209.  
 „Къ нянѣ А. С. П-а“, стих. Языкова. 242.  
 „Къ Овидію“. 183, 188, 209.  
 „Къ Прелестницѣ“. 183, 188.  
 „Къ Цыганамъ“. 152.  
 „Къ Ч-ву“. 183, 188, 209.  
 Лабрюеръ. 3.  
 Лагарпъ. 85, 167, 213.  
 „Лара“, Байрона. 201.  
 Лафонтенъ. 177.  
 Лашоссе. 45.  
 Левшинъ. 15.  
 „Ленора“, Жуковского. 205.  
 „Лингардъ“. 234.  
 „Листокъ“. 131—133.  
 „Литературныя Прибавленія къ Русскому Инвалиду“. 139, 170, 242.  
 „Литературная Газета“. 5, 6, 41, 42, 139.  
 Локкъ. 196.  
 Ломоносовъ. 49, 155, 195, 203.  
 Лонгинъ. 46.  
 „Лѣтописи отечественной литературы“. 145—161.  
 „Лютеръ“. Вернера. 218.  
 „Макбетъ“, Шекспира. 168, 198.  
 Маллетъ. 219.  
 Малонъ. 135.  
 „Манфредъ“, Байрона. 169, 201, 206.  
 Манцони. 200.  
 „Марфа Посадница“, Карамзина. 205.  
 „Марьяна Роша“, Жуковского. 205.  
 Массингеръ. 135.  
 Менцель. 162.  
 „Мессенія“, Казимира Делавиня. 33.  
 „Мессинская Невѣста“, Шиллера. 169, 198, 216, 231.  
 „Мессіада“, Клопштока. 26.

- „Метель“. 136, 139.  
 Метатель (С. Глинки). 46 48.  
 „Мечтателю“. 209  
 Милень-Ангело. 44, 212.  
 Мильеръ. 197.  
 Милльва. 195.  
 Мильтопъ. 202.  
 Мицкевичъ. 201.  
 Монгомерри. 199  
 Монтокъ. 46  
 „Московский Вѣстникъ“. 10, 42.  
 „Московскій Телеграфъ“. 1—5, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 40, 42, 43, 88, 89, 108, 131, 132, 137—139, 141—145, 171—174, 190, 193—212  
 Моцартъ. 178, 199.  
 „Моцартъ и Сальери“. 153, 162, 163, 170, 184, 190, 210, 213.  
 „Мугамедъ“, Вольтера. 198.  
 „Муза“. 209.  
 Муромцевъ-Апостолъ. П. М. 41.  
 Муравьевъ 207.  
 Муръ. 199  
 Мюльнеръ 169, 197, 216, 217, 231.  
 Навеллингъ. П. 19 41, 83 104  
 Надоумко. 132.  
 Наполеонъ. 4, 17, 28, 33, 178, 210, 211.  
 „Наполеонъ“. 150, 183, 188, 209.  
 „На прыщикъ Делія“. 35.  
 Нарѣжный. 205.  
 „На смерьлянии А. С. Пушкина“, стих. Языкова. 242.  
 „Наслаждайся, Бодрская дочь“, Карамзинъ. 205.  
 „Наташа“. 164.  
 „Некрологъ“, В. Л. Пушкина. 42.  
 „Нелюбимые Вечера“. 107.  
 „Передача“. 209.  
 Писуръ. 41, 196  
 „Письмо о собраніи насѣкомыхъ“. 42.  
 Оервъ. 155, 165, 207  
 Ольберсъ. 197.  
 „Орлеанская Дѣва“, Шиллера. 198, 216.  
 Орловъ. 132  
 „Орфо Коринто“, Байрона 201, 206.  
 „Осипова“, П. А. 242.  
 Оссіанъ. 178, 201, 206.  
 „Отвѣтъ Анониму“. 209.  
 „Отрывокъ изъ Вильсоновой Трагедіи“. 209.  
 „Отрывокъ изъ Фауста“. 210, 212, 213.  
 „Ошлеивіе“, Мюльнера 231.  
 Паганнини. 207.  
 „Парта“, Байрона. 206.  
 „Паритетскій Мыслекъ“, 84.  
 Паскаль. 48.  
 Пильнай. 177.  
 Пирронъ. 29.  
 „Пиръ во время чумы“. 153, 162  
 „Письма о русской литературѣ“, Булгарина. 174, 185.  
 „Письмо къ издателю „Московского Вѣстника“, статья С. Аксакова. 42.  
 Плакени, В. 48 83, 105.  
 Плюшаръ. 136.  
 „Повѣсти Бѣлины“. 136—139, 170, 216.  
 „Поглощенное свѣтило“. 183, 188.  
 Подолвискій. 207.  
 „Подаривши Корну“, 209.  
 „Поденникъ“. 42.  
 „Попавъ“. 7, 13, 42, 106, 107, 109, 139, 208, 214.  
 „Посланіе къ Вельможѣ“. 162, 189, 209.  
 „Посланіе къ князю Волынову“. 184, 189.  
 „Посланіе къ Лидию“, 183, 188.  
 „Позвъ“. 210.  
 Прево. 203.  
 „Прелюдія“. 209



- „Прозерпина“. 209.  
 „Прометей“, Эсхила. 170.  
 „Пичка“. 183, 188.  
 „Пустышникъ и Медвѣдь“, Крылова. 25.  
 „Путешествіе по Тавриѣ“, Н. М. Мурашева-Апостола. 41.  
 Пушкинъ, В. Л. 42.  
 „Пѣнь о вѣнцѣ Слѣтъ“. 183, 187.  
 „Пѣнь о подлѣ Игоревомъ“. 186, 187, 189, 190, 192.  
 „Радуга“. 24.  
 „Разсѣяникъ“. Шиллера. 198.  
 „Разговоръ о Борнѣ Годуновѣ“. 120—136.  
 Гасинъ. 165.  
 „Растерзанное Сердце“, В. Ирвинга. 139.  
 Робеспьеръ. 210.  
 Робертъ, баронъ. 162, 164.  
 „Ромео и Юлія“, Шекспира. 237.  
 Россини. 178, 183.  
 „Россиада“, Хераскова. 87.  
 „Русалка“. 183, 187, 209.  
 „Русскія Пиратки“. 42, 139, 140, 161, 162, 170.  
 „Русланъ и Лютмила“. 7, 13, 14, 19, 22, 23, 25, 29, 83, 87, 106, 107, 154, 161, 204—206, 208, 213.  
 Саадій. 198.  
 Савинъ. 196.  
 „С.-Петербургскій Вѣстникъ“. 139.  
 Свифтъ. 29.  
 „Сказка о царѣ Саламанѣ“. 154, 161, 164, 171, 214.  
 Скарронъ. 29.  
 Скоттъ, В. 91, 107, 139, 199.  
 „Славянскіе Вечера“. Нарѣжнаго. 205.  
 Смирдинъ. 131, 136, 171.  
 „Собраніе Пасѣкомыхъ“. 42, 209.  
 Сперро Стурлесонъ. 219.  
 „Станционный Смотритель“. 136, 139.  
 Стеффеясъ. 197.  
 Суворовъ. 188.  
 Сумароковъ. 195, 203, 225.  
 Сущей. 199.  
 „Сверига Пчела“. 10, 13—19, 21, 23, 24, 26, 34, 36, 40, 48, 133—137, 140, 141, 147, 162, 170, 190.  
 „Смертный Архивъ“. 174, 185, 186, 188, 190.  
 „Стефанъ Меркурій“. 42, 105, 139.  
 „Сверига Цвѣты“. 171, 184.  
 Скуаръ. 47.  
 „Сынъ Отечества“. 48, 104, 105, 174, 185, 186, 188, 190.  
 Теттеръ. 200, 201.  
 „Телескопъ“. 83, 108, 132, 145—161.  
 Теняковъ, В. 145, 155, 156, 159, 160.  
 Теренцій. 135.  
 Тидге. 197.  
 Тиль. 197.  
 Тренѣковский. 155, 195, 203.  
 „Тригорское“, стих. П. Языкова. 242.  
 „Триколя“, Виле. 107.  
 „Трунъ“. 209.  
 „Торжество Вахъ“. 209.  
 „Уединеніе“. 183, 188, 209.  
 „Узникъ“. 209.  
 „Уландъ“. 199.  
 „Утопленникъ“. 214.  
 Фауеншюферъ. 197.  
 „Фауель“, Гете. 169, 198, 201, 216.  
 „Федра“, Расина. 198.  
 Фихте. 196.  
 Флетчеръ, Джонъ. 135.  
 Флоріанъ. 205.  
 Фоссъ. 197.  
 Фридрихъ Великій. 178.  
 „Фридрихъ Сага“, Тегнера. 201.  
 „Христіанъ“, Байрона. 206.

- Хомяковъ. 207, 209.  
Цезарь. 146 188.  
„Цыгане“. 104, 107, 206, 207, 208.  
Чальмерсъ. 135.  
Чапманъ. 135.  
„Чайльдъ - Гарольдъ“, Байрона.  
201, 206.  
„Черная Шаль“. 27, 209.  
„Чернь“. 210.  
„Чудный Домъ“, В. Теплякова. 159.  
Шаликовъ, К. 44 46.  
Шекспиръ. 2, 29, 83, 91, 106, 107,  
113, 122, 131, 135, 155, 163,  
167—169, 178, 198, 206, 215—  
220, 234, 237, 238.  
Шеллингъ. 107, 196, 199.  
Шиллеръ. 96, 131, 177—179,  
195, 197—199, 206, 216—  
219, 231, 238—241.  
„Шильонскій Узникъ“, Байрона.  
206.  
Шпрелевъ. 30.  
Шлегель. 107, 167, 168, 197—  
199.  
Шлейермахеръ 197.  
Шнейдеръ. 109.  
Шопенгауэръ. 199.  
Шпоръ. 199.  
Штрекфуссъ. 197.  
Штудманъ. 197.  
Шубертъ. 197.  
„Эгмонтъ“, Гете. 217, 218.  
Эзопъ 177.  
Эсхиль. 170.  
„Эхо“. 139, 184, 190.  
Юмъ. 234.  
Языковъ. 207, 209, 242.

# СПИСОКЪ КНИГЪ, СОСТАВЛЕННЫХЪ И ИЗДАННЫХЪ

В. А. Зелинскимъ.

---

## 1. Пособія по изученію русскаго языка:

1. **Справочникъ по русскому правописанію, съ приложеніемъ орфографическаго словаря и полнаго списка коренныхъ и производныхъ словъ, въ которыхъ пишется буква Ѣ.** Составленъ по „Руководству“ Академіи Наукъ. Выпускъ I. Изд. 9-е. М. 1901 г. Ц. 50 к.

**Примѣчаніе.** Эта книга, выдержавшая въ короткое время девять изданій, содержитъ въ себѣ всѣ случаи правописанія словъ. Она состоитъ изъ орфографическихъ правилъ, орфографическаго словаря и списка всѣхъ словъ съ буквою ѣ. Изложеніе ея алфавитное, — почему она полезна даже незнакомымъ съ грамматикой. Справляться по ней очень просто. А именно: при помощи приложеннаго „Указателя“, открывается страница на букву, которая служить предметомъ затрудненія въ какомъ либо словѣ, и тутъ въ указанномъ § читается отвѣтъ. Легкость и быстрота справки упрощается еще тѣмъ, что справляться можно и подъ буквами, которыя слѣдуетъ писать въ данномъ случаѣ, и подъ буквами, которыя только предполагаются въ томъ же случаѣ, а равно и подъ буквой, начинающей данное слово. Какъ, напр., написать: извозчикъ, извощикъ, извозчикъ, извощикъ или извощикъ? Справляйтесь подъ любой изъ сомнительныхъ буквъ: з, с, ч, щ, а также и въ орфографическомъ словарѣ подъ буквой и — вездѣ получите отвѣтъ. По отзывамъ преподавателей русскаго языка, эта книга весьма полезна учащимся при исполненіи ими письменныхъ работъ не только дома, но и въ классѣ, такъ какъ при небольшомъ навыкѣ, приобретающемся менѣе чѣмъ въ часѣ, справка по ней дѣлается весьма быстро.

2. **Справочникъ по русскому правописанію.** Выпускъ II. Указатель (систематическій и алфавитный) при разстановкѣ знаковъ препинанія. Изд. 3-е. М. 1903 г. Ц. 50 к.

3. **Справочникъ по русскому правописанію.** Выпускъ III. Корнесловъ русскаго языка. Изд. 3-е. М. 1905 г. Ц. 50 к.

4. **Справочникъ по русскому правописанію.** Выпускъ IV. Правописаніе, этимологическое происхожденіе и объясненіе иностранныхъ словъ, наиболѣе употребляющихся въ русскомъ литературномъ языкѣ. М. 1898 г. Ц. 50 к.

5. Грамматическій задачникъ для письменныхъ и устныхъ упражненій по русскому языку. Припособленъ къ элементарной грамматикѣ К. Говорова. Изд. 5-е. М. 1902 г. Ц. 25 к.

6. Вступительный курсъ зрительнаго диктанта. Книжки для элементарныхъ, орфографическихъ упражненій (составъ ея).

7. Зрительный диктантъ. Самодиктованіе и самоисправленіе. Новая система практическаго самоизученія русскаго правописанія. Часть первая. Изд. 14-е. М. 1906 г. Ц. 50 к.

Задачи и цѣли „Зрительнаго диктанта“. Удовлетворяя всѣмъ требованіямъ, какія обыкновенно предъявляются къ сборникамъ для систематическихъ диктовокъ со слуха, это русское издѣліе, въ то же время, имѣетъ еще слѣдующія особенности: 1) оно представляетъ собою непрерывное, ежедневное, практическое орфографическое упражненіе; 2) кромѣ постепеннаго изученія орфографіи, тутъ еще понуто укрѣпляются въ кѣдомъ школѣ диктанта основныя случаи правописанія съ соответствующими разъясненіями; 3) особеннымъ способомъ дѣлается развивать орфографическую память и укрѣплять зрительныя навыки правописанія; 4) система руководствъ, будучи основана на повѣреніи метоски, призуриваетъ къ отсутствію ошибокъ, а не заставляетъ учащихся просто дѣлать ихъ, а потомъ уже исправлять; 5) дается возможность изучать правописаніе самостоятельно, безъ помощи учителя; 6) по учебнику можно работать безъ помощи и помощи; 7) можно работать собою, при этомъ только грамматику и правописаніе; 8) можно въ рукахъ это руководство, каждый отецъ, мать, репетиторъ, гувернеръ и т. д., не будучи специалистомъ, могутъ легко съ самоорфографіей, такъ и метоской, при этомъ, съ успѣхомъ могутъ руководить и контролировать дѣла въ школахъ по орфографіи; 9) почему-либо отстающимъ въ школѣ отъ товарищей и вообще неувереннымъ въ орфографіи ученикамъ, съ помощью этого руководства, посредствомъ самостоятельности, можно и скоро справиться съ орфографическимъ дѣломъ и прочими навыками правописанія; 10) эта книга сама готова для людей, самоотлично готовящихся къ какому-либо экзамену, а еще больше — для самоучекъ; 11) въ школѣ, гдѣ учитель приходится заниматься одновременно съ двумя — тремя классами, по этой книгѣ весьма удобно назначать каждому классу свою самостоятельную работу, читая по русскому языку; 12) при веденіи обученія орфографіи по этому руководству, проверка учащихся можетъ производиться во много разъ легче и скорѣе, чѣмъ при обыкновенномъ способѣ диктовки; 13) эта книга имѣетъ въ себѣ всѣ три способа самоорфографіи, а именно: самоорфографію, самоорфографію и писаніе заученнаго наизусть.

8. Зрительный диктантъ. Часть вторая. Знаки препинанія. Изданіе 8-е. М. 1905 г. Ц. 40 к.

9. Справочный словарь буквы Ѣ. Полный списокъ коренныхъ и пропущенныхъ буквъ, пишущихся чертой Ѣ. Изд. 4-е. М. 1902 г. Ц. 25 к.

10. Таблицы для письменнаго грамматическаго разбора. № 1. Части рѣчи. № 2. Составъ словъ. № 3. Имя существительное. № 4. Глаголъ. Цѣна каждой таблицы — 2 к. Распространены.

11. Хрестоматія для объяснительнаго чтенія. Дополненіе къ книгѣ: „Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію“. Ц. 25 к.

12. Объяснительный словарь болѣе употребительныхъ въ руской литературѣ и рѣчи иностранныхъ словъ. Составленъ примѣнительно къ грамматикѣ. М. 1901 г. Ц. 50 к. (Содержаніе этой книги то же, что и 1-го выпуска „Справочника по русскому правописанію“).



13. Краткій алфавитный справочникъ по русскому правописанію. Опытъ группировки орфографическихъ правилъ въ порядкѣ русскаго алфавита. М. 1901 г. Ц. 25 к.

## II. Руководства по преподаванію русскаго языка:

(Методическая хрестоматія для обученія русскому языку).

14. а) Обученіе грамотѣ по звуковому способу. Сборникъ методическихъ разъясненій, указаній, приемовъ и примѣрныхъ уроковъ по обученію грамотѣ, разработанныхъ извѣстными педагогами. Изд. 4-е. М. 1905 г. Цѣна 1 р.

15. б) Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію, разработанные извѣстными русскими педагогами. Изд. 5-е. М. 1906 г. Цѣна 1 р.

16. в) Методическія указанія и образцовые уроки по преподаванію русской элементарной грамматики. Сводъ методическихъ разъясненій и примѣрныхъ грамматическихъ уроковъ, разработанныхъ извѣстными русскими педагогами. Изд. 4-е. М. 1904 г. Ц. 1 р.

*Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія всѣ три предыдущія книги допущены въ учительскія библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній.*

## III. Пособія по исторіи русской литературы:

17. Собраніе критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева. Два выпуска. Ц. 6 р. 1-й выпускъ, 5-е изд., — 2 р., а второй, состоящій изъ 2-хъ частей, 4-е изд., — 4 р.

18. Критическій комментарий къ сочиненіямъ Ф. М. Достоевскаго. Сборникъ критическихъ статей. Четыре части. Первая три части изд. 4-е, а четвертая часть изд. 3-е. Цѣна каждой части 2 р.

19. Сборникъ критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ. Три части. Первая часть—изд. 3-е, а 2-я и 3-я—изд. 2-е. Ц. по 1 р. за часть.

20. Русская критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Семь частей. Ц. по 1 р. за часть (1-я, 2-я и 3-я части вышли 3-мъ изд., а всѣ прочія части 2-мъ изданіемъ).

21. Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Толстого. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Восемь частей. Ц. 8 р. (1-я, 2-я и 3-я части вышли 3-мъ изданіемъ, а 4-я, 5-я, 6-я и 7-я части вышли 2-мъ изданіемъ).



22. Русская критическая литература о произведеніяхъ Н. В. Го-  
голя. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей.  
Три части. Цѣна по 1 р. за часть. (1-я и 2-я часть вышли 3-мъ  
изданіемъ, а 3-я часть—2-мъ изданіемъ).

23. Критическіе разборы романа Тургенева: „Отцы и Дѣти“. Ц. 40 к.

24. Критическіе разборы романа Л. Н. Толстого: „Война и Миръ“. Ц. 3 р.

25. Критическіе комментаріи къ сочиненіямъ А. Н. Островскаго. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Пять частей. 1-я часть изданіе 3-е, а остальные части—2-е. Ц. по 1 р. за часть.

26. Критическіе разборы „Дворянскаго Гнѣзда“ и „Наканунъ“—Тургенева. Перепечатано безъ измѣненій изъ „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева“. М. 1903 г. Ц. 80 к.

27. Сборникъ критическихъ статей о сочиненіяхъ М. Ю. Лермонтова. 2 части. Изд. 2-е. Каждая часть по 1 р.

28. А. С. Пушкинъ въ разборѣ В. Г. Бѣлинскаго. Отдѣльный оттискъ изъ „Русской критической литературы о произведеніяхъ А. С. Пушкина“. Ц. 2 р.

29. Критическіе разборы „Записокъ Охотника“—Тургенева Ц. 40 к.

30. Критическіе разборы романа „Новъ“—Тургенева. Ц. 70 к.

31. Критическіе разборы повѣсти „Рудинъ“—Тургенева. Ц. 40 к.

32. Критическіе разборы романа Тургенева „Дымъ“. Ц. 40 к.

---

Складъ изданій В. ЗЕЛИНСКАГО: Москва, Патріаршіе пруды,  
д. Михайлова.

Цѣны книгамъ показаны безъ пересылки. Пересылка по дѣйствительной почтовой стоимости. Небольшія суммы можно посылать почтовыми марками въ заказныхъ письмахъ.

---





